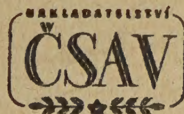
ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD
SLOVANSKÝ ÚSTAV

SLAVIA

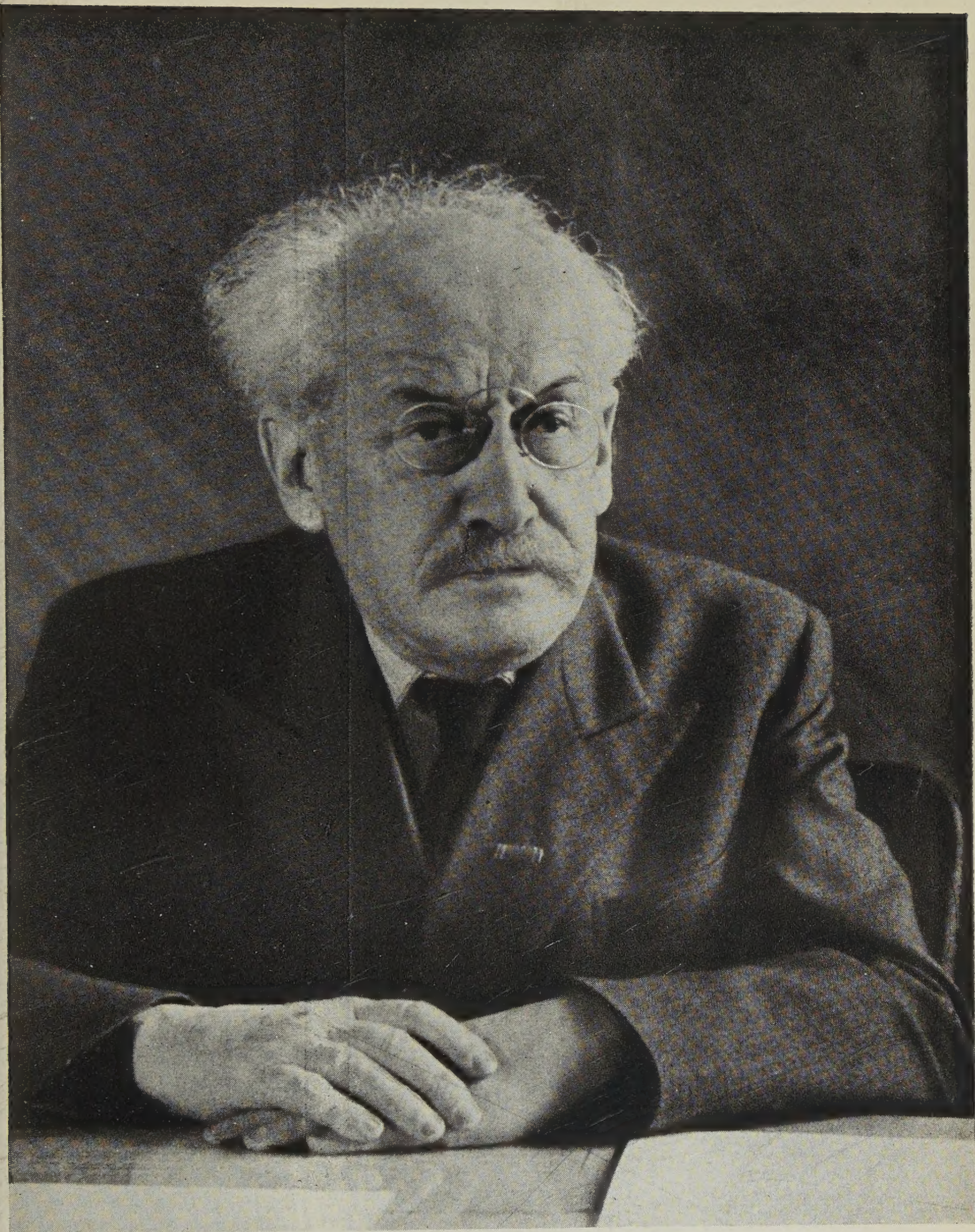
časopis pro slovanskou filologii



Ročník XXII PRAHA 1953 Sešit 1

OBSAH

СОДЕРЖАНИЕ



ZDENĚK NEJEDLÝ

PRESIDENT ČESKOSLOVENSKÉ AKADEMIE VĚD

К истории славяноведения до XVIII века

Otiskujeme stať, kterou Zdeněk Nejedlý uveřejnil původně v časopise Istorik marksist (1941) kniga 2 (90), 81—94, a která byla dosud československé vědecké veřejnosti téměř nedostupná. Tato práce, podávající v hlavních rysech přehodnocující obraz staršího období dějin slavistiky, je jedním z dokladů velkého úsilí o nový kritický rozvoj slavistiky, které akademik Nejedlý vyvíjel za svého válečného pobytu v Moskvě. Uvádíme tuto práci znovu u příležitosti jeho pětasedmdesátých narozenin. *Redakce*

Обновить славяноведение, или славистику, как еще иначе называлась эта научная дисциплина, является одной из актуальных задач, стоящих перед советской исторической наукой. При Институте истории Академии наук СССР создан в 1939 г. особый сектор славяноведения, а на историческом факультете Московского государственного ордена Ленина университета имени М. В. Ломоносова учреждена особая кафедра истории западных и южных славян. Само собой разумеется, что советская историческая наука не преследует цель восстановить ту славистику, которая существовала до Октябрьской социалистической революции.

Уже тот факт, что эта дисциплина после Октябрьской революции в советской науке была оставлена, доказывает, что наблюдались глубокие противоречия между советской действительностью и той славистикой, которая культивировалась в дореволюционное время.

Полный отказ от изучения истории и культуры славянских народов вполне справедливо считается одной из крупных ошибок в числе многих, допущенных Покровским и его «школой». И здесь сказался вред «упрощенства» исторических проблем, приведший Покровского к полному отрицанию целой научной дисциплины. Но, с другой стороны, ошибка не была бы возможной, если бы не было некоторых предпосылок, обусловливавших эту ошибку. Главная из них заключалась в неоспоримой реакционности большинства дореволюционных славистов.

Славянская филология возникла как часть общей системы филологической науки. Славистика, однако, сразу стала играть и политическую роль. Конечно, и другие национальные филологии имели свое политическое значение: германистика содействовала усилению самосознания немецкой пробуждающейся буржуазии, ориенталистика была

использована в интересах колониальной политики Францией и Англией. Славистика же не только усиливала национальное сознание буржуазии отдельных славянских народов, но одновременно являлась носительницей идей панславизма, идей политического и культурного объединения всех славянских народов под гегемонией русского самодержавия, являвшегося главным оплотом всей европейской реакции в XIX веке. Идеями панславизма проникнуты работы русских славистов. Ту же программу в своей основе, правда с различными вариантами, имело и большинство славистов XIX века. Естественно, что славистика стала опорой, столпом реакции. Славистика с такой ориентацией, понятно, в советской науке была совершенно не мыслима — в этом отношении оппозиция против нее после Октябрьской социалистической революции была вполне основательна.

Однако реакционность старой славистики вытекала не из самого факта изучения славянских народов, но из того, что она была ориентирована на царскую Россию как на самую могущественную, в течение долгого периода единственную самостоятельную политическую славянскую силу. Падение царской России и возникновение СССР должны были знаменовать и в славистике крупный революционный переворот. Но, вместо того, чтобы взять на себя труд осуществить этот переворот в славяноведении и повести славистику по новому пути, советские историки на первых порах просто-напросто забросили эту область.

Это было неправильным решением: не бросать, не отступать, не молчать надо было, а, наоборот, с еще большей энергией браться за работу. Преодолевать, превозмогать препятствия — таков всегда и во всем единственный и правильный путь Ленина и Сталина. И это является теперь боевой задачей советского славяноведения. Ни в коем случае не забрасывать этой научной дисциплины, но с еще большей энергией приниматься за работу, повести ее по марксистскому пути.

Но, прежде чем приняться за работу, следует познакомиться с развитием науки о славянских народах в прошлом, чтобы учесть наше наследство в этой области.

До возникновения в XVIII в. буржуазной славянской филологии отсутствовала научная система в изучении прошлого вообще и в изучении культуры славянских народов, как не было ее и в изучении иных народов, кроме классического древнего мира. Все, что появилось под названием славяноведения, было больше предисторией этой науки чем подлинной историей. Но и эта предистория значительна и важна. Многое из того, что потом составляло главную проблематику славяноведения, проявилось здесь остро и ясно. Я хочу ввиду этого остановиться и на раннем периоде истории славяноведения. Тем более, что буржуазное славяноведение XIX в. совершенно игнорировало этот период, а если обращалось к нему, то только для того, чтобы затушевать то, что ему не подходило.

Первые шаги славяноведения

Первые наши источники по истории славян: Плиний, Тацит, Птолемей — говорят о славянах как об одном народе и называют их одним именем, правда, не всегда одинаковым. Таким же образом о славянах говорят византийские писатели и франкские летописцы в IX веке. Некоторое исключение представляют Иордан и Прокопий, различающие славян и антов. Это можно объяснить сравнительно поздним выступлением славян на исторической арене и в особенности их значительно более поздними сношениями с римским и греческим миром.

Сознание родства между собой и отличия от других, неславянских народов всегда, однако, сохранялось у самых славянских народов. Классическим доказательством этого является «Повесть временных лет» Нестора. В ней, на самой заре историографии славянских народов, мы уже в первых главах находим подробное для того времени рассуждение о славянах как об едином целом. Автор знает славянские народы (моравов и чехов, белых хорватов и сербов, поляков, русских славян, лютичей, поморян, корутан) и заявляет: «По мнозех же времянех сели суть Словени по Дунаеви, где есть ныне Оугорьска земля и Болгарьска. От тех Словен разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седша на котором месте; яко пришедше седоша на реце имянем Марава, и прозвашася Морава, а друзии Чеси нарекошася, а се ти же Словени Хровате Белии, и Серебь и Хорутане Волхом бо нашедшем на Словени на Дунайския, и седшем в них и насилящем им, Словени же ови пришедше седоша на Висле, и прозвашася Ляхове, а от тех Ляхов прозвашася Поляне, Ляхове друзии Лутичи, ини Мазовшане, или Поморяне, такоже и ти Словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася Поляне, а друзии Древляне зане седоша в лесе, а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася Дреговичи (нини седоша на Двине и нарекошася Полочане) речьки ради, яже втечеть в Двину, имянем Полота, от сея прозвашася Полочане. Словени же седоша около езера Илмеря, (и) прозвашася своим имянем и сделаша град и нарекоша и Новгород, а друзии седоша по Десне и по Сели и по Суле, и нарекоша Север (и) тако разидеся Словеньский язык, темже и грамота прозвася Словеньская».[1]

То же самое мы находим у историков и других славянских народов. И польский автор хроники Мартин Галл знает, что поляки говорят по-славянски, и называет Польшу «северной частью славянской земли».[2] А ведь Галл был по происхождению иностранец и не был заинтересован в подчеркивании славянского происхождения поляков. Но эти сведения были среди поляков, по всей вероятности, так распространены, что и он считал необходимым привести их в своем труде.

---

[1]) Полное собрание летописей. Т. I. Вып. 1, стр. 5—6.

[2]) Равным образом и краковский епископ Матеуш в середине XII в. считает Русь, Польшу и Чехию частями «Славонии».

Первый автор чешской хроники Косма об этом ничего не говорит (он придерживался чисто западной ориентации), но о славянстве чехов знает так называемый Кристиан, автор легенды о чешских святых IX и X вв. и автор *Passio s. Adalberti martyris* — памятника начала XI века.

Следы осознания родства мы находим в этот период у славянских народов и другими путями. На это указывает прежде всего и общая топографическая номенклатура, например название «сербохорват». Эту двойню мы находим в области Польши (белые хорваты, а на запад от них — лужицкие сербы), в Чехии (хорваты восточной Чехии и сербы или пшоване, — на запад от них) и до сих пор у южных славян. Чешский автор хроники Далимил, в начале XIV в. вообще выводит славян из области «с сербским языком». Самый первоначальный обобщающий термин «славянин» удержался у славян в качестве обозначения отдельных славянских народов: до сих пор так именуются словаки и южнославянские словенцы, каковые названия являются только вариантами первоначального общего названия «славянин» (славянин в западнославянских языках — Slovan). При этом характерно, что это слово как название народа удержалось как раз у тех народов, которые никогда (по крайней мере в прошлом) не создали своего государства, но жили до самого последнего времени только как народ в другом государстве, как например словаки в Венгрии, словенцы в Австрии. Ввиду этого они не приобрели специального названия, но называются и дальше первоначальным общим именем, только диалектически видоизмененным.

На сохранение сознания родства имела влияние также история крещения славянских народов. Кирилл и Мефодий в церквах славянских народов с самого начала считались апостолами не только мораван и чехов, но всего славянства, так как ведь они и сами пришли из славянского юга и воспитали учеников, которые распространяли их учение среди иных славянских народов. При этом не только учение, но и язык и первые славянские сочинения, созданные ими, жили в литургии и в письменности большинства славянских народов и, таким образом, тоже напоминали о прежней их общей истории. По этому вопросу как у русских, так и у поляков, чехов и югославян накопилось огромное количество ценной и малоценной литературы.

В последующие столетия народная фантазия создает миф об общем происхождении славянских народов. Чешский летописец XIV в. Далимил в легенде к праотцу Чеху, о котором рассказывала древняя чешская повесть, добавил также Леха, праотца поляков, и сделал его братом Чеха. В том же столетии польский летописец Богухвал к этим двум братьям прибавил еще третьего брата — Руса. Эта повесть не только удержалась до наших дней у всех славянских народов как основная часть национальной истории, но получила и дальнейшее развитие: под ее влиянием в начале XVIII в. югославянин Каварин в югославянской повести заставляет трех братьев-далматинцев (сам Каварин происходил

из Сплита) отправиться на север и там основать три государства: чешское, русское и польское. Здесь уже все главные славянские народы собраны вместе, причем находятся в близком родстве, представлены как родные братья.

Однако это сознание общего происхождения не было в состоянии воспрепятствовать острым недружелюбным столкновениям между отдельными славянскими народами. Уже в самом начале своей истории славянские племена не только совместно выступают против врагов, но и борются между собою. Известна почти не прерывавшаяся борьба между феодальным польским государством и государством киевским. Еще более яростная борьба, борьба на истребление, происходила между польским и чешским государствами. Сначала возникло чешское государство (при Болеславе I и Болеславе II), а поляки, если и не были полностью ему подчинены, то находились в сильной зависимости от него. Но лишь только чешское государство стало слабеть от возникших после смерти Болеслава II беспорядков, польский король Болеслав Храбрый вторгся в Чехию; и в результате этого вторжения Чехия сильно ослабла. После смерти Болеслава Храброго в Польше опять начались беспорядки и чешский князь Бржетислав I не только захватил у Польши перед тем занятую ею Моравию, но, проникнув далеко в глубь Польши, разорил ее и захватил большую добычу пленными и имуществом.

В таких случаях, конечно, сознание «славянского родства» использовалось как фактор, содействовавший экспансии государств. Это противоречие — с одной стороны, действительное сознание родства у самых народов, ведущее к сближению этих народов, а с другой — использование этого родства господствующими классами для разжигания ненависти между народами — являлось в течение нескольких столетий главной основой всей так называемой славянской политики. И славяноведение, вырастая на основе этой политики, служило не столько сближению славянских народов между собою, сколько подчинению одного народа другим. Это лучше всего нам показывает дальнейшее развитие взаимоотношений между славянскими народами и отвечающее этим взаимоотношениям славяноведение.

Буржуазная оппозиция XIV, XV и XVI веков

Вместе с развитием буржуазной оппозиции в XIV—XVI вв. и ростом буржуазного самосознания идея славянского единства получает определенную классовую, буржуазную основу. В первую очередь буржуазия выставляет свои требования в области языка: феодальной (церковной) латыни буржуазия противопоставляет национальный язык — язык, на котором говорили буржуазия и народ. Ввиду этого всюду вместе с ростом буржуазной оппозиции идет и возрождение национального языка, причем главным средством этого возрождения является перевод библии

на народный язык. Национальный язык, таким образом, решительно противопоставляется латыни, как привилегированному языку церкви, и в глазах средневекового общества получает значительно более высокую функцию, нежели до того имел народный язык. Вместе с тем наступает и значительно более быстрое и более интенсивное развитие национальных языков. Так происходило в свое время дело во Франции (Прованс) и в Англии; так происходило, и притом в более сильной и более осознанной форме, в Чехии. Ян Гус стал теоретиком и реформатором народного языка. Он создал новую орфографию и пропагандировал употребление местных чешских слов, противопоставляя их вкравшимся в язык нечешским словам. Гуситство завоевало чешскому языку первенство в государственной и общественной жизни, в церкви и в литературе.

Но вместе с тем старое, удержавшееся в народе осознание славянского единства получает у гуситов противоцерковный и противофеодальный характер. Много чехов, в особенности мелкого дворянства (земанов), воевало в рядах поляков, боровшихся против Ордена немецких рыцарей. Сам Жижка, впоследствии вождь таборитов, был среди этих чехов, и победа у Грюнвальда в 1410 г., где Орден потерпел поражение, была в известной мере и делом чехов.

Известный друг Гуса и главный пропагандист гуситства заграницей Иероним Пражский обращался со своей пропагандой прежде всего к славянам. Он отправился в Краков, а оттуда — дальше, в Литву, к украинцам и белоруссам, дошел до самого Витебска, всюду распространяя гуситские взгляды; он имел большой успех у народа и встречал постоянно отпор со стороны польского духовенства.

Чем радикальнее было гуситское движение, тем более революционна была его славянская тенденция. Пражская буржуазия в своем манифесте 1420 года, призывающем к обороне родины против крестового похода западных феодалов, чисто националистически вспоминает печальную судьбу полабских славян, погибших от гнета немецких феодалов: «Немцы без всяких причин ополчились против нашего языка. И как поступили они с нашим языком на Рейне, в Мишне, в Пруссии, изгнав его оттуда, так они намерены учинить и с нами и занять места изгнанных». Жижка и вообще табориты говорят иначе: «славянский народ» в их заявлениях обозначает всегда народ, воставший против феодализма, а отнюдь не народ, только говорящий на славянском языке. Говорящий на этом языке, но находящийся на стороне церкви и феодалов чех или славянин является «отщепенцем», человеком, изменившим восставшему народу, и Жижка таких «отщепенцев» уничтожает независимо от того, на каком языке они говорят.

Когда бюргеры Праги в 1422 году против немецкого императора Сигизмунда вызвали в качестве претендентов на чешский престол польского короля Владислава и литовского князя Витольда, эти последние

послали в Прагу своего племянника Сигизмунда Корибута с войском, в которое вошло много «русняков» — бедных украинских крестьян из области Львова, особенно жестоко эксплоатировавшихся панами. Услышав о войнах таборитов против панов, они толпами вступали в войско, которое должно было идти в Чехию. Больше двух тысяч их пришло в 1422 г. в Чехию. Когда же переговоры о престоле окончились неудачей и польский король Владислав хотел использовать «русняков» для интервенции против гуситов, они не послушались его приказаний, и хотя польский король проклинал, просил, клялся, они примкнули к гуситам, причем к их самому радикальному крылу — таборитам — и составили наиболее важную часть таборитского войска. Был у них и свой вождь, князь Фридрих, потомок Романа Галицкого, который в 1426 году стал таборитским гетманом. То же сталось и с вышеупомянутым Сигизмундом Корибутом: когда его попытались отозвать в Польшу, он вернулся в Чехию и стал таборитским гетманом.

После поражения таборитских войск в Чехии в 1434 г., когда отряды (роты) таборитов овладели Словакией, еще более усилился приток к ним пополнений, состоявших из словаков и «русняков» из Угорской Руси и из Галиции. В конце концов это войско, изгнаное из Венгрии, исчезло в конце XV века, затерявшись где-то на славянском востоке, осевши, повидимому, в появившихся тогда казацких братствах, состав которых был такой же крестьянско-военный, как и таборитских братств.

Даже официальная Польша несмотря на всю свою ненависть к еретическим мятежным гуситам подпадала под их влияние. Ректор Краковского университета Якуб Паркош провел реформу польской орфографии. В литературе чешское влияние было так сильно, что, например, духовные польские песни XV века были даже не переводами, а простой транскрипцией чешских гуситских песен. Чешский язык был тогда широко распространен в различных кругах общества в Польше и Литве. Распространяется также и проповедуемая гуситами идея родства славян, ее признает даже такой яростный ненавистник гуситов, как Ян Длугош, и его продолжатель — Бернард Ваповский. В своих трудах по истории Польши они вынуждены признать некую национальную общность поляков с еретиками-чехами. Поляки, чехи, русские, болгары, хорваты, сербы и босняки, говорит Ваповский, являются людьми «одного языка и одной крови» — славянами.

Народную славянскую политику таборитов продолжали «чешские братья» — мирные наследники боевых таборитов. «Чешские братья», как и табориты, поддерживают связь с народными слоями поляков, украинцев и белоруссов. Мартин Кабатник, посланный таборитами, чтобы найти и в других местах (кроме Чехии) «правую» церковь, т. е. церковь, не зараженную идеями римской феодальной церкви, отправился прежде всего в Галицию, а оттуда пошел и дальше по славянским землям. Так же и впоследствии, когда «чешским братьям» пришлось бежать из Чехии,

они в первую очередь ушли в Польшу. Здесь они образовали общину и организовали собственную типографию, где печатали прекрасные книги.

На юге также растет буржуазно-националистическое славянское самосознание. Среди югославян был создан тогда значительный буржуазный центр — Дубровник. Это была республика, возникшая на основе торговли с чужими странами. В ней решающую роль играли купцы. Они уже с конца XIII в. были в своем большинстве сербами, пришедшими сюда из соседних сербских областей. И здесь поэтому дело доходит до языковой реформы: из различных сербских и хорватских диалектов дубровницкое мещанство создает свой литературный язык. Этим языком пользуются в связи с возрастающим национальным самосознанием и в международных сношениях. Дубровник вел переписку на сербском языке с Венгрией, Турцией и далекой Москвой и завоевал этому языку такое широкое признание, что даже турецкий султан издавал в то время грамоты на сербском языке.

Немецкая реформация содействовала укреплению оппозиционного антифеодального движения буржуазии у славянских народов, ибо эти народы, в особенности чехи, не чувствовали себя больше изолированными. Со стороны немецкой реформации чехи получили признание и одобрение за их прежнюю оппозиционную борьбу. Известны слова Лютера о Гусе. Но особенно часто цитировались слова, написанные Меланхтоном его ученику, «чешскому брату» Мартину Абдону: «Славянский народ в течение многих веков владел и еще владеет большей частью Европы и Азии. И здесь около нас — в Польше, в Чехии и в Моравии — великолепно украшается своим искусством, правом, религией, управлением, судами, бранным искусством, цветами рыцарства». С большой гордостью чешские гуситы повторяли эти, правда, типичные оппортунистические слова (оппортунистом был и сам Меланхтон), но все же слова признания их заслуг, высказанные знаменитым реформатором.

Поэтому большой ошибкой было со стороны русских славистов XIX в., что они не только не поняли и не признали революционного значения всех этих явлений в славянском мире, но, наоборот, старались все эти факты и явления объяснить по возможности как явления самые невинные, лишенные политического значения. Так, К. Я. Грот объясняет славянский тон в гуситстве филологически: влиянием церковно-славянского языка в пражском, так называемом «Славянском монастыре», где незадолго до того Карл IV ввел славянскую литургию. Это якобы научило гуситов осознать родство чешского языка с церковно-славянским, а тем самым и вообще со славянами. Но ведь монахи «Славянского монастыря» не были славянами: это были западные бенедиктинцы, служившие славянскую литургию только как интересный вариант римской литургии (равным образом Карл IV ввел в другом пражском минастыре амброзианскую или миланскую литургию). Да мы и не знаем ни о какой

связи гуситов со «Славянским монастырем» или даже об их интересе к нему. Не знаем также и об их интересе к церковно-славянскому языку.

Равным образом неправильным было стремление русского славяноведения свести гуситство к простому оживлению якобы утаенного в Чехии и скрывавшегося в подполье православия (Гильфердинг и другие). Эти стремления дореволюционной русской славистики были фальшивой и реакционной попыткой низвести бунтарское гуситское движение и революционную антифеодальную основу гуситской идеи о братстве славянских народов к простому событию церковно-православной жизни. Ввиду этого задачей советского славяноведения при изучении гуситских движений является вскрыть их революционные стороны, показать крупное классовое противоречие, проявившееся здесь между растущей буржуазией с одной стороны и светской и церковно-феодальной аристократией — с другой.

Славяноведение в XVI веке

В XIV и XV вв. не встречается еще собственной литературы о славянах, а потому нет еще и славяноведения в настоящем смысле этого слова. Но основание для возникновения и развития такой науки уже было положено, как это стало ясным сразу в XVI в., когда вместе с реформацией и тесно с ней связанным гуманизмом появилась новая наука. Эта наука сначала крепнет и растет под влиянием и по образцу античной науки, как единственной антитезы, которую можно было противопоставить феодально-церковной науке. Но потом она овладевает уже и самостоятельно современным ей миром и проникает в этот мир по мере того, как проникала в него и овладевала им сама буржуазия. Тогда и проблема родства между отдельными славянскими народами становится научной проблемой и появляется первая научная литература по вопросам о славянстве.

Прежде всего подверглись изучению, в соответствии с определенным продвижением вперед буржуазной оппозиции, языки славянских народов, в первую очередь в области лексики, в стремлении указать словарное богатство и тем самым равноценность славянских языков с другими языками. В этом отношении первым пионером был чешский гуманист Сигмунд Грубый из Елени (Gelenius),[3]) издавший в 1537 г. в Базеле *Lexikon symphonum*, в котором впервые параллельно с латинскими, греческими и немецкими словами поместил и славянские (чешские) слова.

Второй выдающийся чешский гуманист, глава «чешских братьев», типичный деятель реформации, Ян Благослав, не только написал первую грамматику чешского языка (Gramatyka česká, 1571), но в ней

[3]) Елен — gelen — олень.

приводит параллели из других славянских языков. Кроме прочего он записал и тем сохранил самую старую запись украинской песни — «Дунаю, Дунаю, чему смутен течешь?» — о воеводе Стефане. Благослав записал ее в Пряшевском крае, в Закарпатской Руси.

Третий чешский филолог, также протестант, Матоуш Бенешовский (Philonomus), кроме чешской грамматики (Gramatyka česká, 1577), издал в 1587 г. «Книжку объясненных чешских слов, откуда берут свое начало, т. е. каков их смысл», которая является первым сравнительным славянским словарем, ибо в ней Бенешовский сравнивает чешские слова с инославянскими, главным образом с русскими.

У других славянских народов, поскольку и к ним проникла реформация, также разрабатывается эта наука. У поляков после Мончинского, который в 1564 г. издал латино-польский словарь, следует прежде всего назвать Петра Статори, по происхождению француза, который, как кальвинист, скрылся от преследования в Польше и здесь в духе новой, реформационной и гуманистической науки написал первую грамматику польского языка (Polonicae grammaticae institutio, 1568). Еще больше сделано в этой области у югославян. Словенские протестанты создали совершенно новый, с того времени утвердившийся словенский язык. Путь к этому проложил своим сочинением «Abecedarium und der klein Katechismus» (1550) воспитанный в протестантском Тюбингине Примус Трубар, но еще большее значение в этом отношении имеет издание одним из главных распространителей реформации среди словенцев, основателем словенской литературы, Адамом Богоричем своей первой грамматики словенского языка (Arcticae horubae successivae de latino-carniolana literatura), вышедшей в центре лютеранского движения — Виттемберге — в 1584 году. Богорич дает в своей книге сравнительную грамматику славянских языков, на что указывает и само, по гуманистической манере, многословное название книги — *Unde moscoviticae, rutenicae* (повидимому, украинский — *З. Н.*), *polonicae, boemicae et lusatiae linguae cum dalmatica et croatica cognatio facile deprehenditur*», — с объяснением кирилловского, глаголического, «московского» и «рутенского» письма. Это заслуживает особого внимания: Богорич не только вспомнил о почти забытых лужичанах, но и поставил их язык как равноценный рядом с другими славянскими языками. После него Фаустус Вранчич издал в 1595 г. первый хорватский сравнительный словарь (было привлечено 5 языков).

История славянских народов тогда также уже разрабатывалась, сначала, правда, только в форме истории отдельных народов, причем об их общении с другими народами упоминалось только в связи с историей своего собственного народа. Так, чех Мартин Кутен, который во время своих поездок познакомился с французским, немецким и итальянским научным миром, написал и в 1539 г. издал *Kronika o založení země české* (Хроника об основании чешской земли), где он первый из чеш-

ских историографов приводит данные из античных источников о дославянских обитателях Чехии. У поляков аналогичное явление мы находим у Мартина Бельского, автора первой хроники, написанной по-польски, — *Kronyka wszytkiego świata* (Хроника всего мира) (1550), а также у Мартина Кромера в его знаменитом произведении (переведенном на польский и немецкий языки) — *De origine et rebus gestis Polonorum*, изданном в 1555 г., и, наконец, больше всего у кальвинского проповедника Станислава Сарницкого в его *Annales sive de origine et rebus gestis Polonorum et Lithuanorum libri octo* (Анналы или о происхождении и действиях поляков и литовцев) (1587), где польская история изложена в связи с историей других славян. Наконец, югославянин Мауро Орбини написал первую историю всего славянства (*Il regno degli Slavi*) (вышла в Пезаро в 1601 г.), где сначала изложил начальную историю славян (Орбини причисляет к ним иллирийцев, вандалов, готов, аланов и аваров), но также и дальнейшую историю чехов, поляков, полабских славян, русских и, конечно, больше всего югославян. Орбини черпал материал из самых разнообразных источников: византийских, венецианских, немецких, — а также у славянских писателей: у чешского хроникера Гайка, вышеупомянутого Кромера и др. Таким образом, Орбини стал основателем общей славянской историографии.

Так буржуазный гуманизм XVI в. вызвал к жизни новую науку — о славянах, — которая стала развиваться в гуманистическом направлении. Уже тогда славянскую буржуазию больше всего поражало громадное число славян, это сильно укрепляло ее самоуверенность. Хорват Бартоломие Георгиевич в своем популярном сочинении о турках, вышедшем в 1544 г. и переведенном на польский и чешский языки, первый отметил, что на славянском языке говорят в Хорватии, Далмации, Сербии, России, Валахии, Чехии и Польше и что также и турки ввиду этого принуждены пользоваться славянским языком. Далее, год спустя, в 1545 г., Т. А. Андрашевич в своем трактате *Ad optimatos Poloniae admonitio* доказывал, что славянский язык превосходит языки остальных народов, ибо простирается от Ледовитого океана до Адриатического моря, от реки Лабы до Черного моря. Из поляков то же самое провозглашал Лукаш Горницкий в своем знаменитом *Dworzanin polski* (Польский дворянин), вышедшем в 1566 году: «Все эти языки — польский, чешский, русский, хорватский, боснийский, сербский, рацкий (в южной Венгрии), болгарский и остальные — были прежде единым языком, как был и един народ славянский».

Польские историки Бельский и Кромер с гордостью отмечали огромное пространство, занимаемое славянами, а чех Бенешовский в *Книжке*, изданной в 1587 г., писал: «Чешский язык охватывает не только самую чешскую страну, но существует больше чем сто стран, в которых говорят на нашем славянском языке: чешская, моравская, силезская, лужицкая, первая польская, вторая польская страна, мазурская, под-

лесская, первая русская, Белая русь, волынская, киевская, северская, кашубская страна и многие в польском королевстве, потом многие края в Московском княжестве, и у сербского народа, находящегося под властью турок, тоже много таких стран, а также в королевстве венгерском и королевстве далматском, хорватском, болгарском, славонском, босненском». Словенец Богорич в предисловии к своей грамматике, изданной в 1584 г., пишет: «Не полагаю словом „славянский“ обозначать какой-то незначительный край, укрытый узкими границами ограниченный народ, но именую и понимаю под этим названием се края и людей, где они по-славянски говорят, или где слова имеют одинаковое значение, так что ясно заметно, что эти люди находятся в каком-то братстве и родстве со славянским языком». В следующем столетии это положение практически доказал другой словенец, Вальвасор (1689), в своем сочинении *Die Ehre des Herzogtums Krain*. В доказательство большой распространенности и родства славянских языков он привел *Отче нам* на 13 славянских языках: кирилловском, болгарском, далматском, хорватском, славонском, чешском, польском, вандальском (!), лужицком, московском, хорутанском, новоземском и валашском. В XVI веке хорват Врanчич в своем словаре (1595) упоминает, что славянские наречия широко распространены в Европе и Азии — «от Адриатического моря до неизвестных северных окраин». Так что нет большего народа и более распространенного языка на свете чем славянский. Наконец, историк Орбини в предисловии к своему труду говорит, что писал свое произведение с тем, чтобы указать, как обширны славянские государства, в какое время они возникли а развились, а также, — как славяне всегда были знамениты и славны.

В то время возникает и объяснение слова «славянин» от «слава» (Богорич) — этимология, так часто повторяемая и в последующих столетиях. Поэты также начинают увлекаться такими соблазнительными для славянской буржуазии представлениями. В Польше отец польской поэзии XVI в. Микулаш Рей (тоже кальвинист), говоря о поэтических произведениях своего младшего современника, знаменитого Яна Кохановского, считает их достойными посвящению «Богине славянской». Хорватский поэт Иван Гундулич (из Дубровника), воспевая поляков в их борьбе против турок, отмечает все, что он только мог найти в славянах хорошего, чтобы сделать их славными. Его продолжатель, Юнино Палмотич, тоже родом из Дубровника, в своей пьесе «Глас» показывает славу славян, по гуманистской манере, в разных олицетворениях. Это продолжалось до самого XVIII в., когда Андрия Качич-Миошич перевел славянскую историю с ученой прозы в популярную у югославян форму исторических песен, добившись в этой работе очень большого успеха. Его *Письмарица* стала народным произведением и вышла более чем в 20 изданиях. Также и Н. Джорджич (из Дубровника) воспевал в это время многочисленность славянства, занимающего, по его словам, огром-

ное пространство от Адриатического до Ледовитого моря, а на восток — до границ Китая.

Так продвигающаяся вперед буржуазия славянских народов была воодушевлена сознанием, что существуют ей родственные славные и могущественные народы. Она рассматривала этот факт как рост своей собственной силы.

Контрреформация

Уже в XVI в. в славянских странах, как и во всех других, растет отпор против все возрастающей мощи буржуазии и ее стремления принять участие в политической жизни: в Польше шляхта лишила города их политических прав; в Чехии монархи из рода Габсбургов, стремясь к сохранению старых порядков, конфискуют у городов их богатства и отнимают у них политические права. Главным орудием этой реакции против буржуазии всюду является *католицизм*.

Католическая церковь опиралась в первую очередь на францисканцев и иезуитов. Их же услугами пользовался и абсолютизм.

Францисканцы в этой борьбе играли значительную роль, особенно у югославян. Желая положить конец влиянию протестантов в югославянских странах, католическая церковь старалась создать здесь свое славяноведение. С этой целью в Рим был вызван в 1623 г. ученый югославянин-францисканец Рафаэл Левакович, и ему было поручено организовать издание католической «славянской» литературы. Левакович в этой области сделал очень много: он первый начал проповедовать «иллиризм», т. е. принадлежность югославянских племен отнюдь не к славянам, а к «иллирам», чтобы тем самым оторвать славянские племена от православной России. Он с большим рвением начал издавать глаголические книги, которые до него издавали протестанты (Трубар и др.). Он издавал их в духе контрреформации, так, чтобы их можно было использовать и для католической пропаганды среди русских (тогда в Рим как раз приехал холмский епископ Терлецкий для ведения переговоров об унии с Римом). Ввиду этого он допускал в своих книгах и русизмы. Кроме того он в 1629 г. издал учебник глаголического письма (*Azbukividniak slovinskij*) и написал сочинение о старославянском языке (*Dialogus de antiquorum Illyricorum lingua*), а также сочинение по истории южных славян в связи с историей иных славянских народов (*Historia universalis gentis illyricae*). Это сочинение осталось в рукописи.

На севере, в Польше, с той же целью повели наступление иезуиты. Они не удовлетворились изданием книг, а использовали славянские идеи для политической экспансии католицизма. Именно они первые начали проповедовать политический панславизм, т. е. объединение славян в единую великую славянскую державу. Идея эта возникла раньше. Уже в начале XIV в. Петр Житавский во время объединения чешского и польского государств под властью Вацлава II отмечал славянское родство

обоих этих государств. Также некоторые буржуазные слависты XVI в., описывая многочисленность славян, приходили к мысли, какое огромное значение могли бы приобрести славяне, если бы они объединились. Так, чех Матоуш Бенешовский, посвящая свою *Чешскую грамматику* (1577) Рудольфу II, доказывал, что тот, уделяя больше внимания чешскому языку, мог бы достичь господства и над остальными славянскими народами. А поляк Сарницкий в уже упомянутых *Анналах* (1587) говорит о «славянской конфедерации», главными посредниками которой были бы поляки, как народ, якобы занимающий в истории славян самое первое и самое значительное место.

Польский контрреформационный католицизм превратил эти неясные идеи в политический план. Глава польского католицизма гнезненский архиепископ Станислав Карнковский — всемогущий иерарх в Польше и «молот еретиков» — обращал внимание короля Сигизмунда III на то, что власть, которую тот имеет в своих руках (над славянами), знаменует власть над народом, простирающимся по всему миру: в Азии, в Европе и в Африке. И Сигизмунд попытался во время московской интервенции в 1612 г. осуществить этот план: расширить «славянское», т. е. польское, владычество над восточными славянами и вместе с тем обращением в католичество этой огромной области на востоке дать католической церкви компенсацию за потерю германских народов, отпавших от нее во время реформации.

Вот почему польское славяноведение того времени так воинственно. Францисканец Войцех Демболенцкий, который принял деятельное участие в войне против «еретиков», хотя еретики эти были славянами, доказывал в своем сочинении *Wywód jedynowładnego państwa świata* (1633), что славянские языки самые распространенные и самые древние, а из славянских языков самым древним и самым главным является польский язык.

К этой же группе принадлежит украинский славяновед Мелетий Смотрицкий. Будучи сначала православным, он принадлежал к сторонникам князя Константина Острожского, ярого противника Рима и унии с Римом. Но затем Смотрицкий, получивший воспитание в Вильне, у иезуитов, изменил свои позиции. Правда, по возвращении домой он писал против Рима и против унии, даже стал православным иерархом, но внутренне он склонялся все больше и больше к иезуитам и одновременно к полякам. Впоследствии Смотрицкий стал униатом, а по-польски говорил и писал так, что его прозвали «польским Цицероном». Он автор *Грамматики* (вышла в 1618 г. в Вильне), которая долгое время считалась лучшей книгой в своей области и даже после его смерти (1633) переиздавалась в течение всего XVII и еще в XVIII веке. По грамматике Смотрицкого обучался Ломоносов. Это была книга польско-иезуитская, имевшая назначение с помощью церковно-славянского языка и его авторитета поглощать живые славянские языки. Это лучше всего видно на

примере Сербии, где под ее влиянием возник такой уродливый язык, что он надолго задержал в своем развитии сербскую литературу.

Юрий Крижанич (1615—1683) — единственное до сих пор живое имя из всех этих контрреформационных славистов. За ним осталось прозвание «первого слависта», так как он писал действительно научные работы о славянских народах. Называют его также «первым панславистом», хотя панславистами были и вышепоименованные поляки. Но Крижанич был первым панславистом русской ориентации и тем самым панславистом в том смысле, как понимали в XIX столетии. Но и он вышел из той же среды, что и вышеуказанные польские панслависты: из католическо-контрреформационного круга. Хотя он был родом хорват, но воспитание получил в самых центрах римского католицизма: в Вене, Болонье и Риме. Став священником, Крижанич решил посвятить себя католическому миссионерству. Тогда как раз (1657) приехало во Флоренцию русское посольство, и это обратило внимание Крижанича в сторону России. Он был перед тем в Царьграде, стремясь там работать в пользу соединения греческой и римской церквей. Ввиду этого в 1658 г. Крижанич отправился в Россию и ехал через Вену, Венгрию, Львов и Украину, зорко наблюдая за жизнью встречающихся ему по дороге народов. Во Львове он задержался на 3 месяца, занимаясь изучением польской литературы и истории, а на Украине он вмешался в происходившую там борьбу между Выговским и Юрием Хмельницким, стал на сторону Хмельницкого и горячо агитировал за московскую ориентацию казаков. Описание его путешествия — *Putnopopisanie od Lewowa do Moskwi* — имеет большую научную ценность.

Главное значение имеют его работы, написанные в России. В Москве, куда прибыл Крижанич в 1661 г., он долго не прожил. За «глупое слово», которое он якобы сказал «некоему господину», он был выслан из Москвы в Сибирь (Тобольск), «быть ему там у государственных дел, у каких пристойно». Он пробыл в изгнании целых 15 лет. Там он написал свои доныне знаменитые и ценные произведения: *Политичные думы*, изданные в 1850 г. под заглавием *Русское государство в половине XVII в.*, *De providentia dei*, изданная в 1860 г. под заглавием *О промысле*, а также *Граматично изказание об русском језыке*, изданное в 1848 году.[4]) Его грамматика русского языка написана так, что Шафарик говорил о ней с восторгом.

Нас, однако, больше всего занимает панславизм Крижанича. Этот панславизм выступает в его языке: Крижанич пишет значительную часть своих сочинений по-латыни и по-хорватски, но наряду с латинскими буквами он одновременно пользуется и русскими: в самую речь его вплетены многие русские слова. Свою грамматику он писал так, чтобы

[4]) В задачу моей статьи не входит разбор этих сочинений (см. о них работу В. И. Пичета, *Ю. Крижанич*, 1914).

его язык понимали все славяне. Он прежде всего стремится оградить славянские народы от чужих влияний: славянские языки, по его мнению, испорчены иностранщиной, необходимо объединить славянские народы между собой, и главной силой, которая в состоянии это осуществить, он считает Россию. Все другие славяне, говорит Крижанич, живут под чужим владычеством; русские — «единственный независимый организационный элемент славянского мира». Он пишет царевичу Федору Алексеевичу и предостерегает его от иностранцев, взывая к нему, чтобы он заботился о других славянах и стал главою их всех. В этом отношении Крижанич, как видно, стоит на точке зрения, прямо противоположной той, на которой стояли польские иезуитские панслависты.

Но все же и он является католическо-контрреформационным панславистом. Он считает абсолютистскую монархию единственно правильной, «божьим» созданием. Поэтому если Крижанич критикует самодержавие иногда очень остро, то критикует лишь за то, что ему не нравится грубость этой монархии в России. Это, пишет Крижанич, не монархия, а «людодерство».

Будучи освобожден из ссылки, Крижанич уехал в 1677 г. в Вильно и после четырехлетнего пребывания у тамошних доминиканцев отправился в Рим, на свою настоящую родину. Умер он в Вене во время осады ее турками в 1683 году.

Мы видим, как славяноведением XVII века овладел воинственный католицизм. Поляк-протестант Андрей Венгерский написал в то время *Libri IV Slavoniae reformatae continentes historiam ecclesiae* (вышло в 1650 г.), где выражает радость, что реформация раньше всех возникла у славян. Но это было слабым утешением для автора, который был вынужден издавать свое сочинение в эмиграции (в Амстердаме). Равным образом грустное впечатление производят восторженные воспоминания другого протестанта — чеха Яна Амоса Коменского — о былой славе чешской реформации, когда не только чешская реформатская церковь, но и сама Чехия были уничтожены при содействии воинственного католицизма.

Довольно печальной была судьба словацкого лютеранина Даниила Крмана, который в начале XVIII в. стоял во главе посольства, отправившегося к шведскому королю Карлу XII просить о защите протестантов. Он написал *Rudimenta grammaticae slavicae* и *De Slavorum Origine*, прославляющие славян, но не мог найти никого, кто бы напечатал эти сочинения, и умер в тюрьме. Наряду с этим каким же резким контрастом звучит помещенное в предисловии к грамматике ученика Коменского — Матоуша Сеченского — такое «славянское» замечание: «Наш язык особенный, древний, славянский, который является плодовитой матерью других языков в мире: чешский, хорватский, русский, польский и моравский, болгарский, сербский происходят от него, происходят от него и другие».

Голос католических чехов после белогорской катастрофы совершенно замирает среди мощных голосов польских и иных католиков. В Чехии воинствующие иезуиты пытались уничтожить сознание общности славянских народов, как и национальное самосознание чехов. Стремление сохранить национальную самостоятельность народа и уберечь хотя бы чешский язык проявляется ввиде доказательств его близости к другим славянским языкам. Так, Вацлав Роза, автор известной своим испорченным чешским языком чешской грамматики — *Čechořečnost seu Gramatica linguae bohemicae,* — вышедшей в 1672 г., рекомендует учиться чешскому языку и замечает, что язык этот не только изящен и выразителен, но и полезен, так как человек может с его помощью договориться со всем миром. Иезуит Богуслав Бальбин, выступая против своих товарищей по ордену в известной *Апологии чешского языка* (1672), называет этот язык славянским. Но это было лишь обороной, а не нападением.

Век просвещения. Накануне революции

Даже в эпоху наибольшего размаха контрреформации наука, выросшая в XIV в. из потребностей и стремлений буржуазии, не исчезла. Невзирая на реакционные тенденции контрреформации особенно сильно развиваются техника и тесно с ней связанные естественные науки. В гуманитарных науках проявляется стремление к большей научной конкретности и точности, в историографии возникает так называемая критическая школа. Теперь история — не только повествование, но и исследование, основанное на источниках; они подвергаются анализу и критическому изучению. Закладываются основы критического славяноведения. В Чехии, задушенной контрреформацией, упомянутый выше иезуит Богуслав Бальбин (1621—1688) издает *Miscellanea historica regni Bohemiae* — собрание свидетельств, выбранных из различных источников, относящихся к отдельным областям чешской истории.

В этом направлении особенно выделились югославяне, у которых контрреформация протекала в более мирной форме. В XVI в. далматинец Ян Луцич (1509—1579) написал свой прекрасный труд — *De regno Dalmatiae et Croatiae,* — напечатанный в Амстердаме в 1666 году. Хорват Юра Раткай пишет и издает не менее известный труд — *Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae* (1652); хорват Павло Витезович (1650—1713) начинает по этим вопросам острую борьбу с загребскими иезуитами. При этом он пошел так далеко, что историю Хорватии написал на своем родном языке — *Kronika aliti spomen svega svieta vikov*. Когда в 1696 г. вышла первая часть его труда, иезуиты донесли на него императору как на бунтовщика; автор был подвергнут жестоким преследованиям и лишен всего имущества, а печатание этого труда было закончено лишь много лет спустя после его смерти — в 1744 году. В последствии иезуит Микулаш Ловренчич изу-

родовал этот труд тем, что дал ему новое название, новое введение и клерикальное посвящение и так издал его в 1772 г. под своим именем.

У словенцев появляется не менее известный, прекрасный труд Яна Вайкарты Вальвазора (1641—1693) — *Die Ehre des Herzogtums Krain* (Любляна, 1689, новое издание 1877—1879), труд, которому автор посвятил всю свою жизнь и на который истратил все свое имущество.

Это новое направление в исследовании истории славянских народов проникает и в мировую науку. Заслуга в этом принадлежит прежде всего югославянам. Уроженец Дубровника Ансельмо Бандури (1671—1743), приехав в Париж, стал работать над вновь открытой там дисциплиной — византологией, начавшей развиваться главным образом благодаря труду Х. Д. Дюканжа — *Historia byzantina* (1680). Став членом французской академии наук, Бандури сотрудничает в монументальном издании источников по истории Византии — *Corpus scriptorum historiae Byzantinae,* начатом в 1645 г., и самостоятельно написал *Imperium Orientale* (1711) — сочинение, являющееся одним из основных произведений всей дальнейшей византологии, а вместе с тем и славяноведения. Итальянец Даниел Фарлати (1690—1773) заинтересовался научной работой в Далмации. Там действовал миссионер-иезуит Филиппо Ричепути, который начал собирать материал по истории «иллирийской церкви» (церковный историк Югославии); Фарлати помогал Ричепути в его работе, а после его смерти (1742) продолжал эту работу, а в 1751 г. начал в Венеции издавать монументальный труд — *Illyricum sacrum.* Он издал 4 громадных фолианта этого труда, в котором изложил историю Салоны, Сплита, Дубровника и создал иллирийскую мартирологию (дальнейшие 4 тома издал после его смерти Колети).

Наконец, Иосиф Симон Ассемани (1687—1768), сириец по происхождению, прославившийся своей находкой — *Codex glagoliticus Assemani* (купил он его в 1736 г. у православного монаха в Иерусалиме), — исследователь истории Востока, издал, как первую часть *Kalendaria ecclesiae universae,* шесть томов *Slavica ecclesiao sive Graeco — Moscha* (Мосха — Москва) (1755 и дальше), посвященную изображению жизни славянских святых.

Но все это было новой историей лишь по форме, отнюдь не по духу. Все эти исследования, наоборот, отражали влияние контрреформации. Бандури был бенедиктинец, Фарлати — иезуит, Ассемани — библиотекарь ватиканской библиотеки. Но тогда же, на границе XVII и XVIII вв., возникает, по существу, новое славяноведение; зачинателем его был не кто иной, как Г. В. Лейбниц (1646—1716), которого очень интересовал вопрос о взаимном родстве языков (справедливо его называют отцом сравнительного языкознания). Лейбниц обратил внимание и на славянские языки, в частности на язык полабских славян. Узнав, что недалеко от Ганновера, где он жил, удержался еще народ, говорящий на славянском языке, — потомки древлян в Люнебургской области, —

он попросил пастора одной из деревень, Г. Ф. Митгофа, составить словарь этого языка с примерами ввиде отдельных выражений (1691). Лейбниц продолжал интересоваться славянскими языками и в дальнейшем (см. его *Collectanea etymologica II*. Гл. VI. Ганновер, 1717), можно считать, что он положил основание изучению языка полабских славян. Под его влиянием шведский филолог Спарвенфельд издает тогда *Lexicon slaveno-latinum*, а англичанин Г. В. Людольф — русскую грамматику (Оксфорд, 1696).

Однако для дальнейшего развития славяноведения были более важны те сношения, которые по этому вопросу с Лейбницем были у Петра Великого. В России до того времени проявлялся очень небольшой интерес к другим славянским народам, правильнее сказать, его совсем не было. Правда, в Москве охотно повторяли то, что Нестор говорит о начале славян, но это рассматривалось больше как сказка о делах давно минувших дней чем настоящая история, которой следует заниматься. «Славянскими» были единственно церковнославянский язык и литература, главным образом церковная. Но это, скорее, отвлекало внимание от славянства, чем привлекало к нему. Слово «славянский» стало тождественным слову «православный». Наименование высшей школы, учрежденной в 1687 г. в Москве, — Славяно-греко-латинское училище — имело только это церконвое значение.

Только на Украине, благодаря постоянной связи с другими славянами на западе и с русскими на востоке, дело обстояло несколько иначе. Отсюда и первый опыт написания на Украине истории России — *Синопсис* Иннокентия Гизела (1674) — имеет более широкие рамки в славянском вопросе. При изображении русских древних времен вставлены главы о славянах, об их происхождении, религии и обычаях, а в обзоре истории обращено внимание на Украину, а тем самым на запад (на Польшу), равно как и на Русь. Но это — все, что можно привести как исключение из того общего правила, что в России слово «славянский» обозначало «православный».

Первой задачей ввиду этого было освободить «славянство» из этого церковного плена. Это и провел Петр Великий, пользуясь советами Лейбница.

В мою задачу не входит проследить развитие славяноведения в самой России: это большая и самостоятельная тема. Однако, принимая во внимание то влияние, которое пробужденная Россия имела на славянские народы, особенно в политическом отношении, нельзя пройти мимо этого вопроса. Как известно, сам Петр I интересовался изучением истории. Он приказал собрать памятные книги и грамоты отовсюду, в первую очередь из монастырей, и тем положил основание первым русским архивам. Кроме того он дал задание Федору Поликарпову написать русскую историю. Тогда же член дипломатического корпуса Илья Алексеевич Манкиев по своей инициативе, но будучи побуждаем тем же

царским пожеланием, написал *Ядро российской истории* — сочинение, пользовавшееся успехом еще в конце XVIII в.; оно было издано в 1784 г. и переиздано в 1795 и 1799 годах.

Главнейшим фактором в этой области было основание Академии наук, которая должна была заниматься, помимо иного, и русской историей. А изучение русской истории было невозможно без решения общих славянских вопросов. И действительно, мы видим, что один из первых академиков, Г. Байер (1694—1738), приглашенный в Академию из Кенигсберга как специалист по истории, языку и древностям восточных народов, пишет *De origine et priscis sedibus Scytharum* (1728), *De Cimmeriis* и другие работы, имеющие значение и для истории славян, а кроме того работы по истории России, выходящие за рамки изучения истории собственно России, *Geographia Russiae ex Constantino Porphyrogenneta*, *Geographia Russiae ex scriptoribus septentrionalibus*, а также *De Varagis*, положившую основание так наз. школе норманистов.

Вскоре после него Г. Ф. Мюллер (1705—1783) пишет ряд работ, имеющих довольно широкое значение. Таков известный его труд *Происхождение народа и имени российского*, изданный после долгих споров в 1768 г. под заглавием *Origines Rossiae*, в котором подняты вопросы, касающиеся истории славянства вообще. Наконец, третий, знаменитый академик А. Л. Шлецер (1735—1809), приглашенный в Академию Мюллером, своими взглядами на славянские древности оказал влияние на западных историков, в том числе и на самого основателя славистики уже в новом ее значении, приобретенном ею в XIX в., — на Добровского.

Работы русских академиков и историков, хотя были ограничены собственной русской историей, открывали новые и новые области и из славянского прошлого. Такое значение в развитии славяноведения имеет В. Н. Татищев (1686—1750) своей *Историей Российской*, составленной на основе первоисточников, и великий М. В. Ломоносов (1711—1765) своей *Историей России*, проницательно освещающей начало русского народа, а после них М. М. Щербатов (1733—1790), который повлиял своей *Историей Российской* и на историков XIX в., и, наконец, А. И. Мусин-Пушкин (1744—1817), открывший и издавший редчайшие памятники русского прошлого: *Русскую Правду* (1792), *Поучение Владимира Мономаха* (1793). *Слово о полку Игореве* (1800) и старейшую рукопись Лаврентьевской летописи. Деятельность русских академиков-историков создала эпоху в области славяноведения и у других славянских народов.

Наконец, в лице И. И. Болтина (1735—1792) эта историография нашла и своего критика: его *Критические примечания* дают критический разбор русской истории Щербакова и француза Леклерка. По инициативе Екатерины II Академия в конце XVIII в. начала издавать *Сравнительный словарь всех языков и наречий* (1787—1789) — труд фунда-

ментального значения не только для изучения русского языка, но и вообще для славистики.

Не менее важно отметить общее направление науки в России этого времени. Как вся петровская и екатеринская Россия, так и тогдашняя наука была наукой эпохи Просвещения. Первые иностранцы-академики были людьми западного просвещения (Мюллер и после него Шлецер). Такими же были и местные русские академики, воспитанные петровской эпохой, таким был и князь Щербатов, который из своего государства, как он его нарисовал в *Путешествии в землю офирскую*, исключает духовенство и допускает там только религию разума, без всяких церковных обрядов.

Но самую большую роль в этом направлении играл распространенный тогда культ Вольтера. Тон задавала Екатерина II, переписывавшаяся с Вольтером до конца его жизни. Переписывались с Вольтером и другие представители русского просвещения. Среди корреспондентов Вольтера мы видим «представителя муз» и руководителя Московского университета И. И. Шувалова, Вольтеру подражает в литературе А. П. Сумароков и др. Его влияние проникает и в русскую историографию, особенно тогда, когда сам Вольтер решил написать сочинение по русской истории *Histoire de l'empire de Russie sous le Pierre le Grand*. Это было крупным событием. Самый знаменитый писатель того времени принялся за писание русской истории. Все было предоставлено к услугам Вольтера: Мюллер ему готовил материал, помогали ему и Ломоносов и другие. Из всех вышеупомянутых историков единственно только Болтин не является представителем науки западного просвещения, только он прославляет допетровский период как лучший и подлинно русский период в истории России.

Однако в преобладающем большинстве это просвещение является аристократическим просвещением, которое ничего общего с революционным течением буржуазных энциклопедистов XVIII в. не имеет. Общим для обоих течений является лишь оппозиция церковности, выступление против контрреформационной духовной ограниченности, которая тогда начинает вредить уже и самим аристократам.

Вместе с тем в России распространяются знания и о других славянских народах. В 1772 г. в Петербурге выходит русский перевод сочинения Орбини *Il regno degli Slavi* (оригинал вышел в 1601 г.), а в конце столетия профессором истории и статистики в Петербургской академии становится серб Григорий Тербоич (1766—1811), первый югославянин в русской Академии наук, последователь Лейбница. Он писал на сербском языке.

Подобное движение в историографии наряду с Россией наблюдается и у других славянских народов, правда, несколько позднее второй половины XVIII века. Оно принимает различные формы в соответствии

с ситуацией у этих славянских народов, но, по существу, и здесь это — движение просвещения. Для поляков характерным является стремление организовать научные институты вне Польши. Князь Иосиф Александр Яблоновский основал в 1768 году в Лейпциге *Societas Jablonoviana* — научное общество изучения польской и вообще славянской истории и языка — и издал в 1770 и 1775 гг. свои *Vindiciae Lechi et Czechi,* а также работу *L'empire des Sarmates,* в которой доказывает, что славяне происходят от сармат. Несколько позже Юзеф Максимильян Оссолинский, поселившись в австрийской Галиции, взял на себя заботы о развитии там польской науки. При его содействии учреждаются кафедры во Львовском университете и начинается систематическое собирание рукописей и книг, имеющих отношение к польской, украинской и русской — вообще к славянской истории, в результате чего возникла знаменитая библиотека, а потом и до сих пор существующий научный институт «Оссолинеум» во Львове. Наконец, третий, польский шляхтиц Ян Потоцкий объезжал славянские страны и сам стал как бы походным научным исследовательским институтом. Он обследовал славянский Восток и славянский Запад, проник даже к лужичанам, тогда почти совершенно забытым (*Voyage dans quelques parties de la Basse Saxe pour les recherches des antiquités Slaves,* 1795) и в результате своих путешествий и исследований написал большие труды о славянах: *Recherches sur la Sarmatie,* 1788, 5 томов; *Essai sur l'histoire universelle et recherches sur la Sarmatie,* 1789—1792, 2 тома; *Chroniques, mémoires et recherches pour servir à l'histoire de tous les peuples slaves,* 1793; *Fragments historiques et géographiques sur la Scythie, la Sarmatie et les Slaves,* 1796, 4 тома; *Histoire primitive des peuples de la Russie,* 1802 — наряду с другими сочинениями о Кавказе, Турции, Египте и Марокко.

Однако в это время польскими исследователями не только собирался материал, но началась и критическая разработка польской и вообще славянской истории и тоже по-новому, в духе эпохи Просвещения. Адам Станислав Нарушевич (1733—1796), хотя был воспитан у иезуитов и сам был иезуитом в Вильне, создал в своей *Historia narodu polskiego* (1780—1786) первую критическую историю Польши с использованием источников и их критикой в духе эпохи Просвещения и свойственного ей демократизма, направленного против дворянских привилегий и произвола. Самуил Богумил Линде (1771—1847), по отцу швед, получивший образование в Лейпциге, потом сотрудник Оссолинского, своим словарем *Słownik języka polskiego* (1807—1814, 6 томов) положил основание научному польскому языкознанию, принимающему во внимание в одинаковой мере и языки других славянских народов. Хранитель и исследователь польских коронных метрик Скороход Винцентий Маевский (1764—1835) посвятил свой труд вопросу о происхождении славян (*O Słowianach i ich pobratymcach,* 1816), которое он на основании родства языка, мифологии и права возводил к индусам (см. также

другие его сочинения: *Rozkład i treść dzieła o początku licznych słowiańskich narodów*, 1818, *Gramatyka mowy starożytnych Skythów*, 1828).

Профессор Краковского университета Юрий Самуил Бандтке (1769—1835) обогатил польскую науку XVIII столетия рядом трудов о языке, литературе и истории Польши — *Dzieje narodu polskiego*, 1810 и др. Кроме того им написаны специальные работы по истории польского крестьянства: *Über den Bauernstand in Polen* (1802); *Verzeichnis der alten Lastendienste des polnischen Landsmannes* (1805).

Историография югославян в XVIII в. сделала дальнейшие успехи. Далматский монах ордена св. Франциска Себастиано Дольчи (Sladić, 1699—1777) издал *Monumenti storici della provincia di Ragusa* (1744), *De Illyricae linguae vetustate et amplitudine* (1754) и ценную *Fasti literarii Ragusini* (1767). Филолог и археолог Климент Грубишич (1733—1773) написал в том же духе *Trattato delle origini ed analogie della lingua slavonica* (осталось в рукописи) и издал *In originem et historiam alphabeti glagolitici disquisitio* (1766), где объясняет связь всех славянских шрифтов. Наряду с ними появляются и другие исследователи, больше ориентировавшиеся на немецкую науку. Из них назовем археолога и нумизматика профессора Будапештского университета хорвата Матия Петара Катанчича (1758—1825) и словенца Ивана Жига Поповича (1705—1774). Последний, будучи профессором Венского университета, посвятил свои работы словенскому языку, составил грамматику и словарь словенского языка, но вместе с тем внимательно изучал и другие славянские языки.

Ученые эпохи Просвещения появляются также и среди южных славян, главным образом у словенцев. Ученик известного австрийского ученого Зонненфельза словенец Антон Лингардт (1756—1795) написал до сих пор еще не потерявшую своей ценности работу *Versuch einer Geschichte von Krain und der übrigen südlichen Slaven Oesterreichs* (1788) и перевел на словенский язык знаменитую комедию Бомарше *Свадьба Фигаро*. Словенцем является и Каспар Ройко (1744—1819) — автор знаменитого сочинения *Geschichte der grossen Kirchenversammlung zu Konstanz*, являющегося первым ударом историографии эпохи Просвещения по контрреформационной трактовке чешского реформатора Гуса. Книга Ройко потрясла тогда весь ученый мир своей смелостью. Среди последователей того же направления, что и Ройко, выделялся один из видных словенских национальных борцов — Валентин Водник (1758—1819). Он был поэтом, но составил также учебник *Geschichte des Herzogstums Krain* (1809).

Православные югославяне стремятся теперь по-новому осветить историю своих народов. Их стремление в этом отношении тем более любопытно, что в главе этого движения стоит болгарин — первый болгарин, выступивший в области славянской историографии. Это был известный монах Афонского монастыря, а потом игумен Хиландарского

монастыря Паисий. К нему на Афон в 1758 г. приехал себр Иоанн Раич (1726—1801), который получил богословское образование в Киеве и Москве, а потом снова с Балкан вернулся в Россию, чтобы здесь написать историю сербов. Беседы Раича с Паисием навели последнего на мысль написать историю болгар. Паисий использовал сочинения Орбини и Барониа, а также местные болгарские народные рассказы и в 1762 г. закончил сочинение *История славено-болгарска о народах и о царех и о святых болгарских*. Этот исторический труд распространялся в многочисленных рукописях (издан он был впервые только в 1883 г.) и оказал у себя на родине такое сильное влияние, что его выход считается началом национального возрождения болгар. В этом сочинении высказывается мысль, до того появлявшаяся очень редко, что болгары также являются славянами, как и русские, как и славяне в Прибалтике и на Адриатическом море.

Не меньший успех имела и *История разных славянских народов, наипаче болгар, хорватов и сербов* Раича. Эта малокритическая работа долгое время являлась основным сочинением по истории балканских славян (вышла в Вене в 1794—1795 гг. в 4 томах).

Наконец, у чехов, из всех славян подвергавшихся наибольшим гонениям со стороны контрреформации, обнаружилось сильное движение к идеям просветительства.

С тем же самым движением встречаемся мы и у словаков. И у них появляется тогда первый настоящий историк словак Матей Бел (1684—1749) — автор многотомного труда *Notitia Hungariae Novae historicogeographica*, изданного в 1735—1742 гг. в Вене в 4 томах. В этом труде собран богатый материал о венгерских и словацких жупах, и таким образом, здесь уже была дана основа для написания особой словацкой истории. Бел написал также сочинение о чешском языке — *Ortographia bohemico-slavica* (1742). Кроме того им написано введение к грамматике Павла Долежала, который сначала был суконщиком, а потом учителем в Братиславе и написал лучшую чешскую грамматику того времени — *Grammatica slavico-bohemica* (1746). В этом предисловии Бел восхваляет красоту чешского языка и характеризует славянский язык, как один из самых древних и самых распространенных языков.

В конце XVIII в. Юрий Папанек (1738—1802), тоже словак, издает *De regno regibusque Slavorum* (1780) — сочинение, посвященное истории славян. Это сочинение так понравилось, что в 1793 г. из него были сделаны отдельные выборки, и в таком виде оно получило широкое распространение *(Compendiata historia gentis Slavae)*.

У чехов тогда же зародилась наука, которая до сих пор является основой как всей чешской историографии, так и всего славяноведения. Во главе этой новой историографии стоит Геласиус Добнер (1719—1790). Его главным трудом является издание самой популярной до того времени контрреформационной чешской хроники Вацлава Гаека

(XVI в.). Это издание сопровождалось подробным критическим комментарием, прямо уничтожающим идеи этого ярого фальсификатора чешской истории (*Annales Bohemorum 1762—1786,* 6 томов). Добнер начал издавать подлинные и надежные источники чешской истории (*Monumenta historica Bohemiae 1764—1785,* 6 томов) и написал ряд критических работ: опроверг старый миф о Чехе и Лехе, как праотцах чехов и поляков, выяснил вопрос о начале христианства в Чехии (кирилло-мефодиевский вопрос) и т. д.

Другому выдающемуся чешскому историку того времени, Францишку Пубичке (1722—1807), принадлежит бесспорная заслуга издания систематической и подробной истории Чехии до XVII в. *Chronologische Geschichte Böhmens,* 1770—1807, 11 томов. Третий из выдающихся чешских историков того времени, Франтишек Мартин Пельцел (1734—1801), пишет большие монографии из чешской истории: *Kaiser Karl IV,* 1781, 2 тома; *Lebensgeschichte des Königs Wenzeslaus,* 1788—1790, 2 тома и, наконец, на чешском языке — *Nová kronika česká* (1791—1796, 3 тома), в которой чешская история доводится до 1348 года.

Целая группа других исследователей, по более специальным вопросам, примыкает к этим, на первом месте стоящим историкам. М. А. Фойгт (1733—1787) начал научно-исследовательскую работу по истории литературы в Чехии (*Acta litteraria Bohemiae et Moraviae,* 1774—1783, 2 тома; *Beschreibung der böhmischen Münzen,* 1771—1787); К. Биненберг (1731—1798) занялся исследованием чешской археологии (*Versuch über Altertümer im Königreich Böhmen,* 1778—1785); Ярослав Шаллер (1738—1809) создал обширную топографию Чехии (*Topographie des Königreichs Böhmen,* 1782—1792, 16 томов); И. Б. Длабач (1758—1820) — еще до сих пор не потерявший свою цену словарь чешских деятелей искусства — *Künstlerlexikon für Böhmen* (1815, 3 тома); организатор большой пражской университетской библиотеки К. Р. Унгар (1743—1807) начал научно разрабатывать библиотековедение — *Allgemeine böhmische Bibliothek* (1786), и т. д. и т. д.

Чешские исторические исследования были построены на критической и научной основе. В чешской историографии того времени проявляется большой и широкий интерес к общим вопросам истории. Исследования Добнера, например о христианстве в Чехии, ведут его к вопросам славянской литургии, славянской письменности и т. д. Пубичка принимает участие в научном движении, вызванном знаменитым докладом русского академика Мюллера о происхождении русских. Когда этот доклад в 1768 г. вышел в свет в печатном виде, Пубичка написал статью *De antiquissimis sedibus Slavorum,* которую в 1771 году издало Лейпцигское общество Яблоновского, тоже очень заинтересовавшееся этим вопросом. А в 1772 г. Пубичка издал и дальнейшее свое исследование — *De Venedis, Vinidis, itemque de Enetis, Henetis seu Venetis veteribus.*

Тогда же выступает в Чехии с научными работами и Вацлав Фортунат Дурих (1735—1802). Это был первый в научном значении слова «славяновед», впрочем больше филолог чем историк, а потому он занимался в первую очередь славянскими языками. Дурих понимал язык как продукт исторического развития, связанный со всеми другими элементами исторического процесса. Ввиду этого его работы, хотя и филологические, имели большое и историческое значение: *De slavo-bohemica sacri codicis versione*, 1777; *Bibliotheca slavica antiquissimae dialecti communis et ecclesiasticae universae Slavorum gentis*, 1795.

На основах, заложенных Добнером и Дурихом, начинает строить свою научную деятельность известный и всеми признанный «патриарх славяноведения» — Иосиф Добровский (1753—1829). Он был тем ученым, который объединил все истоки славяноведения и, опираясь на современную филологическую науку, создал целую систему славистских наук. Он напечатал критические исследования о древнейшем периоде чешской истории (*Kritische Versuche, die ältere böhmische Geschichte von späteren Erdichtungen zu reinigen*, 4 исследования, 1803—1823). Но главная его заслуга состоит в том, что он критически начал изучать чешский язык и чешскую литературу (*Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache*, 1809; *Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur*, 1792) и, исходя из этих исследований, приступил вообще к изучению славянских языков (*Abhandlung über Usprung und Bildung der slavischen insbesondere der böhmischen Sprache*, 1791; *Bildsamkeit der slavischen Sprache*, 1799). С этой целью он в 1792 г. отправился в Россию, чтобы обследовать там библиотеки и архивы. Завершением всех его славистских изучений явился труд *Institutiones linguae slavicae dialecti veteris* (1822), ставший основным трудом по церковно-славянскому языку и до настоящего времени расцениваемый как краеугольный камень современной славистики.

Идеологически направление работ Добровского было прогрессивным, смелым и в высшей степени критическим, как и вся проникнутая тенденцией национального возрождения чешская историческая наука (кроме Пубички) была тогда типичной наукой эпохи Просвещения.

Однако не только славяне разрабатывают вопросы славяноведения: новая дисциплина привлекает ученых и других национальностей. Так, Карл Готлиб Антон (1751—1818), немец, родившийся в Лужице (в Любани), а потом адвокат в Згорельце (Герлиц), основал в Згорельце особое общество по изучению лужичан. Он издал, кроме небольших статей о лужицком языке и лужицкой этнографии, работу *Erste Linien eines Versuches über der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse* (1783). О том, каков был его взгляд на лужицкий вопрос, указывает уже такое название одной из его статей: *Der oberlausitzische deutsche Dialekt trägt Spuren von der Unterjochung der Wenden.*

Этнограф Бельзацер Гаке (Belsazer Hacquet, 1739—1815), родом

бретонец, став профессором во Львове, начал изучать Карпаты *(Reisen durch die Karpaten)*, но потом перешел вообще к изучению славян и издал *Abbildung und Beschreibung der südwestlichen und östlichen Wenden, Illyren und Slaven* (1802—1805), 4 тома.

Но больше других немецких историков уделили внимания истории славян ганноверский историк Л. А. Гебгарди (1735—1802) и имперский чиновник в Вене И. Х. Энгель (1770—1814), уроженец Словакии (из города Левочи).[5] Эти два немецких историка создали целую литературу по истории славянских народов.

Правда, их работы не всегда в научном отношении безукоризненны, так как оба они не знали ни одного славянского языка. Кроме того через их работы проходит идея, что только принятие немецкой культуры спасет славян и сделает их равноценными другим западным народам. Однако уже самый факт, что оба историка посвятили столько работ как раз славянской истории, притом работ, из которых еще и теперь можно многое почерпнуть, свидетельствует о важности, какую придавали изучению славянской истории и в немецкой историографии.

Наконец, из той же среды деятелей эпохи Просвещения, хотя труды его принадлежат XIX в., вышел Фридрих Кристоф Шлоссер (1776—1861), автор *Weltgeschichte* (1815—1824, 9 томов), *Geschichte des XVIII Jahrhunderts* (1823) и *Weltgeschichte für das deutsche Volk* (1844—1856, 18 томов). Лучшим свидетельством ценности этих произведений является то, что Чернышевский два из них перевел на русский язык, а Маркс 8, 9 и 10-й томы *Всемирной истории* Шлоссера положил в основу своих *Chronologische Auszüge*. Шлоссер также уделяет большое внимание славянским делам. История славян была уже введена Шлоссером в мировую историю как ее основная часть, наряду с историей других, признанных в историографии народов. Изложено все это в соответствии с самым прогрессивным пониманием истории конца XVIII века.

Итак, первый период славяноведения заканчивается, безусловно, с честью для этой науки. За этот период славяноведение стояло, за исключением эпохи контрреформации, в ряду самых прогрессивных на-

---

[5]) Гебгарди издал большой труд: *Geschichte aller wendisch-slavischen Staaten* (1790—1797) — в 7 томах и *Allegemeine Geschichte der Wenden und Slaven* (в *Allgemeine Welthistorie*, вышедшей в г. Галле, том 51, 2 выпуска, 1785—1789) и кроме того монографии о славанских государствах: *Geschichte der Königreiche Galizien, Lodomirien u. Rotreussen* (1804), *Geschichte der Königreiche Dalmatien, Kroatien, Szlavonien, Servien, Raszien, Bosnien, Rama und des Freistaats Ragusa* (1808), а также монографии о других государствах, тесно связанных со славянами: *Geschichte des Reichs Ungarn und der damit verbundenen Staaten* (1778—1781, 3 тома) и *Geschichte von Liefland, Estland, Kurland und Semgallen* (*Allgemeine Weltgeschichte*, том 50). Энгель как венгерский немец, написал *Geschichte des Königreichs Ungarn* (1814—1815, 5 томов) и кроме того ряд монографий: *Geschichte von Halitsch und Wladimir* (1793), *Geschichte der Ukraine und der ukrainischen Kasaken* (1796), *Geschichte von Dalmatien und Kroatien* (1798), *Geschichte von Servien und Bosnien* (1801), *Geschichte von Ragusa* (1807), *Geschichte der Bulgaren in Mösien* (1797).

правлений, в особенности же в эпоху буржуазной оппозиции в XV и XVI вв., а также и в период созревания революции в XVIII веке.

Перед советской наукой стоит весьма благодарная задача — раскрыть ныне уже совершенно забытые, но все же и теперь еще имеющие значение попытки познания славянских народов и их истории. Задача эта тем более благодарна, что буржуазное славяноведение в XIX столетии не только содействовало их забвению, но в большинстве случаев само было проникнуто консервативным, а иногда прямо реакционным направлением.

Зденек Неедлы

Zdeněk Nejedlý a slovanské literatury

V rozsáhlém díle Zdeňka Nejedlého zaujímá literatura místo velmi významné, přestože není jeho vlastním badatelským oborem. Přitom však nelze říci, že Nejedlého práce literární jsou pracemi okrajovými, vznikajícími vedle velkých děl historických a musikologických ze zvláštní osobní záliby autorovy. Naopak, literární zájem splývá co nejúže s vlastním badatelským zájmem našeho historika husitství a životopisce Smetanova, Masarykova i Leninova; právě v pracích, věnovaných v první řadě problémům historickým a musikologickým, najdeme nejpodnětnější stati, týkající se literatury, a z nich pak vyrůstají nebo na ně navazují vlastní monografické studie literární.

Vyplývá to především z všestrannosti Nejedlého osobnosti a z jeho pohledu na dějiny vůbec. Nejedlý dobře chápe, v tomto rozsahu snad u nás sám jediný, jak důležitá je literatura pro pochopení velkých osobností, dějinných proudů i celých historických epoch. Avšak vedla jej k tomu i metodika a šťastně volená látka jeho prvních prací, které pak vlastně jen dále rozvíjel. Nejedlý počíná svou vědeckou dráhu jako historik *husitské písně*. Slavný válečný *chorál husitský* je jakoby jádrem, z něhož vyrůstá a rozvíjí se celé velké a tak rozmanité jeho dílo. V několika slokách písně a v její strhující melodii se ve vzácné harmonii pojí forma i obsah, složka hudební i literární jako výraz velké ideje, vyplývající z mohutného lidového hnutí a povzbuzující jeho rozvoj; je tu síla i revolučnost husitství, jeho průbojnost, demokratičnost i nadšené, nebojácné české vlastenectví, je tu husitské chápání živého, povzbuzujícího a rozplameňujícího poslání umění.

Z tohoto jádra pak Nejedlý rozpřádá pestrá vlákna svého monumentálního obrazu. Líčí nejprve předhistorii husitského zpěvu od prvních, historicky a dokumentárně doložených počátků českého zpěvu vůbec; osvětluje jeho prostředí, podmínky jeho rozvoje i celý společenský život, který jej obklopuje; stále však přitom má na zřeteli spodní, většinou nezaznamenaný proud lidový, který tak živelně vyústil do písně husitské.

Již zde Nejedlý svou bohatě dokumentovanou historii textů a melodií provází živým obrazem života a lidí těchto starých dob, který v druhé, hlavní části díla se stává vlastně historií husitství, jeho rozmanitých složek a proudů i jejich vzájemného střetávání. Plasticky vyrůstají tu z písňového materiálu postavy reformních kazatelů, předchůdců Husových, až po mohutnou osobnost betlemského mučedníka, pak kněží a vůdců hu-

sitských, profesorů pražské university i revolučních radikálů táborských; v přesvědčivém odstínění jsou vystiženy jejich lidské typy i jejich postavení a úloha ve velkém společenském zápase, odrážejícím se i v písních jednotlivých stran.

Avšak na toto východisko navazují i další Nejedlého díla. Po zpěvu husitském je to opět zpěv, a v něm především složka revoluční, který se stává středem širokého obrazu obrozeného života českého v první polovině XIX. století; z něho pak vyrůstá postava *Smetanova* jako synthesa jeho nejtypičtějších vlastností. Zpěv, humor, radost ze života, optimistický pohled do budoucnosti, lidovost a revoluční vlastenectví — to jsou ony typické rysy doby a života, z nichž se rodí geniální dílo autora *Libuše* a *Hubičky*. Tak Nejedlý dovede spojit Smetanovu hudbu s revoluční poesií Máchovou i bojovností a mužností Karla Havlíčka. Jestliže ve svém Smetanovi věnuje takovou pozornost i Fr. J. Rubešovi, není to proto, že obrozenský humorista podobně jako Smetana studoval v Německém Brodě, nýbrž proto, že jeho povídky svým humorem a láskyplným pohledem na člověka jsou typickým projevem těch složek obrozenského života, které jinou formou a s daleko větším uměním vyjadřovala i hudba *Prodané* a *Tajemství*. Tak i ostatní, zdánlivě velmi odlehlé podrobnosti, vložené do Nejedlého monografie, mají svůj hlubší vztah k hlavnímu thematu.

Je zcela přirozeno, že s tím souvisí i zájem o A. Jiráska, který v realistických obrazech literárních dovedl mistrně zachytit tytéž úseky českých dějin, k nimž se s takovou láskou obracel Nejedlý — totiž boje husitské a úsilí obrozenské se zdůrazněním jejich podstaty revoluční a vlastenecké.

Stejnou hlavní nit jako v *Husitském zpěvu* a v *Smetanovi* sleduje Nejedlý i v *Masarykovi*, když tu dále rozvádí obraz českého života v nové, ještě složitější fázi a opětně se zamýšlí nad dynamickými a revolučními prvky období, kdy česká buržoasie se již postupně odtrhuje od lidových mas a hledá cestu ke kompromisu se starým, upadajícím světem.

Od tohoto vývojového řetězu, sledujícího revoluční myšlenku v životě českém, jde přímá cesta k *Velké říjnové revoluci ruské* a jejímu vlivu na život našeho národa, k velkým postavám *Lenina* a *Stalina* i k ruské kultuře, která připravovala cestu těmto dovršitelům revoluce a pomáhala jim v jejich úsilí.

Všechna ostatní themata, jimiž se Nejedlý zabýval buď příležitostně nebo na okraji svých prací hlavních, harmonicky se přiřazují k tomuto celku a doplňují jej. *Husitský chorál* je tak nejen východiskem, ale i vedoucím motivem Nejedlého díla, stále se vracejícím v nejrůznějších variacích, tak, jako je tomu v symfonických básních jeho miláčka, Bedřicha Smetany.

V tomto jednotném rámci Nejedlého díla má svůj význam i každý detail. V celé pestré mosaice faktů a postřehů, jimiž Nejedlý podložil své bádání, najdeme jen málo takových, které bychom mohli posuzovat a hod-

notit o sobě, bez zřetele k funkci, jakou mají v řadě ostatních. Ta se však také mění, vyvíjí. K mnohým faktům se Nejedlý vrací v různých souvislostech, začleňuje je do nových kombinací a tím zaostřuje a prohlubuje jejich osvětlení. Sledování třeba i drobných postřehů, jak se proplétají Nejedlého dílem, zajímavě osvětluje jak sama fakta, tak i techniku jeho badatelské práce. Tak je tomu i s mnohými okrajovými úvahami, týkajícími se literatur slovanských, pokud nestojí ve vlastním středu Nejedlého zájmu.

Nejedlého vztah k literaturám všech Slovanů je neobyčejně vřelý, avšak rozsah pozornosti, jaký jim ve svých dílech věnoval, se velmi různí. Nejhlouběji a nejživěji se Nejedlý zabýval pochopitelně literaturou českou a ruskou, avšak i tu je v jeho poměru k nim podstatný rozdíl.

Literaturou *českou* Nejedlý přímo žil. Ta mu byla nerozlučnou součástí nejen národní kultury, ale celého českého života. Provázela jej od jeho mládí, posilovala jej v práci i boji, byla mu výrazem toho, co mu bylo nejdražší. Proto také většina jeho prací, i když jejich hlavní látka je z oboru jiného, blíže nebo aspoň vzdáleněji se literatury dotýká. Jeho *dějiny předhusitského i husitského zpěvu* jsou skoro stejnou měrou dílem musikologickým a historickým jako literárně historickým, jeho *Smetana* obsahuje rozsáhlé kapitoly věnované obrozenské literatuře, výhledy do oblasti literární jsou i v *Masarykovi*. Vedle toho však máme bohatou řadu prací menších — v poměru k rozsáhlým pracím hlavním — i drobných, věnovaných výlučně problémům literárním, z nichž bylo možno sestavit několik obsáhlých knižních celků. Nejedlý tak vydatně přispěl k poznání nejstarší české lyriky i dramatiky až po století XV., v rámci širokého obrazu českého obrození, zvláště období let 30tých a 40tých minulého století se podrobně zabýval J. Kollárem, J. K. Tylem, Fr. J. Rubešem, K. Sabinou, B. Němcovou, zajímavé pohledy vrhl na J. Dobrovského, K. H. Máchu, P. Chocholouška, V. B. Nebeského a četné jiné. V druhé polovině XIX. století učinil středem svého zájmu Al. Jiráska, vedle toho však podnětně vystoupil v otázce hodnocení V. Hálka, zabýval se Sv. Čechem, El. Krásnohorskou, G. Pflegrem-Moravským, V. B. Třebízským, Z. Wintrem, K. V. Raisem a j. Od devadesátých let sleduje pak Nejedlý českou literaturu již účastným okem současníka a čím dál, tím silněji svými statěmi a kritikami i přímo zasahuje do literárního dění.

Literatura *ruská* přichází k Nejedlému jako nejbližší z literatur, vyrůstajících z odlišného prostředí a vyjadřující život jiný, než ten, který jej bezprostředně obklopuje. Avšak hned první setkání s ní určuje vlastně jeho životní dráhu. Nejedlý sám o tom řekl ve svém projevu na sjezdu spisovatelů dne 6. března 1949:[1])

„Jsem z generace, která ve svém mládí vyrostla na klasickém ruském

---

[1]) Nejedlý Zd., *O úkolech naší literatury*. Praha 1949, str. 11 sl.

románu. My jsme nejen četli, ale skutečně prožívali tento román, Gogolem počínaje a Čechovem a mladým tehdy Gorkým konče. A žila tím celá naše generace bez ohledu na to, byl-li kdo z nás spisovatelem nebo ne. A naučili jsme se z tohoto románu na prvém místě chápat a milovat život. Byl to přímo lék proti dekadenci, valící se už tehdy ze západu, tento zcela jiný ještě realismus, než byl realismus jiných literatur... Je daleko životnější, tvořivější a přitom skutečnější. A za druhé jsme se tam naučili chápat člověka. Žádná věda ani žádná jiná literatura nenaučila nás tak hluboce chápat čistě lidské tužby, radosti i starosti člověka jako právě ruský román, ruská literatura..."

Ruská literatura vzbudila tak v Nejedlém zájem o ruský život, což jej pak vedlo k plnému pochopení i takových osobností jako Lenin a Stalin i jejich velkého revolučního a budovatelského díla. Toto pochopení stalo se pak nejdůležitější a historicky nejvýznamnější složkou Nejedlého díla, složkou, kterou tento příslušník průbojné vědecké generace daleko přerostl formát vynikajícího vědeckého badatele a universitního profesora, což bylo cílem jeho mládí.

Avšak ruská literatura dala Nejedlému ještě něco jiného; určila i jeho pohled na život a lidi, kteří byli objektem jeho vědeckého bádání. Ve svých vědeckých dílech Nejedlý skutečně vidí živé lidi s jejich „tužbami, radostmi a starostmi" a dovede je kreslit s výstižností realistického umění. V jeho dílech nejen postavy hlavní, ale i vedlejší, až po skupiny statistů, doplňujících celek — to nejsou schemata, sestavená z několika věcných údajů a abstraktních charakteristik, nýbrž plastické obrazy lidí, živě a přesvědčivě tu hrajících roli, jež jim připadla ve velkém historickém dramatě. Takto živě dovede Nejedlý vykreslit nejen malebné postavy husitských bojovníků a romantických básníků typu Máchova, ale i střízlivé, na první pohled naprosto neliterární typy učenců a profesorů positivistické éry. I když se tu Nejedlý mohl mnohému přiučit u některých svých vědeckých předchůdců, zejména u Fr. Palackého, hlavní školou byl mu tu jistě realismus ruského románu.

Přes tento ohromný zájem Nejedlý větší soustavnou práci, věnovanou některému literárnímu problému ruskému, nenapsal. Jinak však zmínky i obšírné partie, týkající se ruské literatury, prostupují jeho dílo velmi bohatě. Nejedlý píše řadu drobnějších statí příležitostných, věnovaných postavám a otázkám ruské literatury, počínaje vylíčením své návštěvy v Jasné Poljaně u Lva N. Tolstého až po jubilejní projevy při nedávných slavnostech Puškinových a Gogoľových. Ruský literární materiál bohatě však ilustruje i jeho velká díla vědecká. Tak je tomu v *Masarykovi*, především ovšem v *Leninovi*. Avšak i v jiných pracích, věnovaných literárním otázkám českým, objevují se zmínky o ruské literatuře, obvykle zajímavě dokreslující postavu nebo problém, kterým se tu Nejedlý zabývá. Nejvíce pozornosti věnuje tu Nejedlý ovšem velkým mistrům ruského realistického románu, tak, jak je jmenuje v citované

své vzpomínce na četbu svého mládí. K tomu přistupují i někteří velcí básníci, hlavně Puškin, revoluční demokraté, později pak autoři sovětští.[2])

S ostatními slovanskými literaturami se Nejedlý setkával jen příležitostně, spíše mimochodem na okraji svých prací, ale i zde vyslovil nejednu zajímavou myšlenku, vrhl nové světlo na některý problém.

Tak k otázkám slovanským dostal se Nejedlý již ve svých prvních pracích o počátcích českého zpěvu. V *Dějinách předhusitského zpěvu v Čechách* (1904) všímá si i zpěvu cyrilometodějského, zpěvu v klášteře sázavském i slovanské liturgie v Emausích. V *Počátcích husitského zpěvu* (1907) dotýká se pak pozoruhodně prvních styků *česko-polských* v oblasti náboženského zpěvu. Mluví tu nejprve o mistru Janu ze Štěkny, který r. 1397 přišel do Polska, působil tu jako kaplan královny Jadwigy, známé svým zájmem o náboženskou literaturu v národním jazyku, a získal si tu zásluhy o popolšťování náboženských textů; mimo jiné přeložil do polštiny z češtiny modlitbu *Zdráv buď, králi andělský* (Zdrów bądź, królu anielski). Nejedlý o něm praví, že se stal jedním „z prvních průkopníků literární vzájemnosti česko-polské, jež se pak v žádném oboru neosvědčila tak mocně, jako právě v písni kostelní“ (op. cit. str. 118 sl.).

Jestliže činnost Štěknova byla Nejedlému příkladem jednoho proudu ve vývoji náboženského zpěvu, proudu umělého, literárního, snažil se najít souvislosti i v proudu druhém, lidovém, který byl vlastně hlavním předmětem zájmu jeho studií. Nejedlý s bystrou kritičností na základě pečlivé analysy pramenů dovozoval, že to bylo husitství a reformace, které lidové tvořivosti otevřely široce cestu do této oblasti, oficiální církví pečlivě chráněné před nekontrolovatelnými vlivy lidových mas.

Do této souvislosti uvádí Nejedlý i nejstarší náboženskou píseň v jazyku polském, slavnou *Bogarodzicu*. Právě v době, kdy Nejedlý psal své práce, byl mezi polskými vědci veden prudký boj o stáří této písně, jejíž nejstarší opisy pocházejí z XV. století. Vědecká generace positivistická vyvracela tu starou tradici, připisující autorství písně sv. Vojtěchu, a kladla původ písně do doby pozdější, při čemž se ovšem mínění badatelů značně rozcházela. Nejedlý, vycházeje ze skutečnosti, že první zpráva o písni je v kronikářských zprávách o bitvě u Grunwaldu, položil vznik písně na počátek století XV. a vyslovil zajímavou domněnku, že na její složení mohl působit příklad českých vojáků, kteří od konce XIV. století hojně bojovali ve službách polských a tehdy již v boji zpívali.

Nejedlý praví o tom: „I když nepřipustíme vliv českých písní, hudební nebo slovesný v tehdejší prvotní dvouslokové formě této písně, přece fakt sám, že vznikla v této právě době, ukazuje nejlépe, že tu asi působil nejmocněji příklad českých vojáků, zpívajících v boji *Hospodine,*

---

[2]) Nejedlého vztahem k literatuře ruské se podrobněji zabývá J. Dolanský ve stati *Zdeněk Nejedlý a ruská literatura*. Sovětská věda - Literatura I (1952) 1.

pomiluj ny anebo *Buoh všemohúcí*... Tak čeští vojáci znamenají v Polsku vedle theoretického působení českých kněží (Štěkny) druhý, praktický kořen úzkého styku české písně s písní polskou. Stopujeme-li pak dále vývoj polské lidové duchovní písně v 15. století, vidíme tyto dva proudy (literární a lidový) zjevně vedle sebe i v organickém sloučení. Štěknovy modlitby zahajují první řadu, *Bogarodzica* druhou." (Počátky husitského zpěvu, str. 147 sl.).

Otázka stáří *Bogurodzice* dodnes není přesvědčivě rozřešena, z důvodů jazykových většina badatelů polských připouští větší starobylost písně. Tím však neztrácí na ceně Nejedlého upozornění na tuto možnost kulturní výměny česko-polské a zejména jeho zdůraznění *husitství* jako významného období vzájemnosti česko-polské. Zprávy o rozšíření husitství v Polsku byly polskými kronikáři, z nichž většina byla mluvčími oficiální církve, potlačovány a teprve nejnovější bádání archivní ukazuje, jak silný byl vliv českého reformátora a jeho revolučních stoupenců v Polsku. Nejedlý tak nejen ukázal na dosud neprozkoumaný, částečně dokonce úmyslně zastíraný vědecký problém, ale dal zároveň tradici styků česko-polských pokrokové, revoluční zaměření.

Tak, jako zde se Nejedlý snažil vystopovat, jak s písní pronikala k blízkému slovanskému národu i myšlenka revoluční, učinil to na podkladě bohatšího a průkaznějšího materiálu i ve svém *Smetanovi*, kde měl příležitost vylíčit, jak na mladého českého skladatele a celé jeho okolí působil mohutný vliv polského povstání listopadového r. 1831. Nejedlý byl jedním z prvních, který ukázal v celé šíři ohlas tohoto boje za svobodu u nás, vyložil, jak z atmosféry revolučního polonofilství těchto let vyrůstá u nás nová, bojovná generace s Máchou, Sabinou, Smetanou a jinými, která vnáší zcela nový elán do rozvoje českého národního obrození.

Nejedlý dokládá to především písněmi. Ukazuje, jak česká mládež v té době zpívá revoluční písně polské, sleduje jednotlivé melodie i texty, mezi jejichž překladateli je i mladý Karel Havlíček. Nadšení pro Poláky a jejich boj za svobodu se u nás projevuje dokonce i ve společenském tanci; Nejedlý ukazuje, jak právě na počest Poláků tanec, který tehdy u nás vznikl a rozšířil se pak do celého světa, byl nazván *„polkou"*.[3])

Na základě těchto svých studií rýsuje pak Nejedlý historickou tradici českého pokrokového polonofilství. Ve svém projevu o *Československo-polském přátelství* (Var 1945) uvádí jako representativní typy českého polonofilství Jana Žižku a Bedřicha Smetanu. O Žižkovi tu praví, že „snad v celém průběhu našich dějin byl vůbec největší a nejneoblomnější polonofil, přítel Poláků..." Smetana pak nejen že ve svém mládí se napájel revolučním ovzduším, vzbuzeným polským povstáním, ale také

[3]) O tom: Zd. Nejedlý, *Bedřich Smetana*, II. Na studiích. V Praze 1925; vedle toho i zvláštní článek *Polka* v Naší řeči, IX, 1925.

on „to byl, který vycítil hlubokou polskost, hluboký národní charakter Chopinův v době, kdy Chopin byl takřka všeobecně ještě pokládán více za francouzského než za polského skladatele".

Stejný moment podtrhuje Nejedlý i ve své přednášce, věnované největšímu básníku polskému, Adamu Mickiewiczovi, při příležitosti 150. výročí jeho narození a uveřejněné ve Varu r. 1949. Nejedlý líčí tu národní, pokrokový i revoluční význam polského básníka a zdůrazňuje opět, že celá naše t. zv. mladá Čechie let 30tých minulého století vyrůstala pod vlivem jeho revoluční poesie.

Podobné pojetí vztahu k Polákům zjišťuje pak Nejedlý i u svého oblíbeného autora, Aloise Jiráska, když již ve své první studii o našem největším historickém romanopisci z r. 1901 (Alois Jirásek. Psáno k 50. narozeninám. ČČM 1901, nově v souboru *Čtyři studie o Al. Jiráskovi,* 1951) píše o jeho povídce *Tčevská hranice:* „Vidíme již příboj, dorážející na Jiráska kolem r. 1890, jenž barví tendenčně jeho menší spisy té doby. Ale jak mistrně! Vzájemnost českopolská není sem vnesena, vložena, nýbrž vyrůstá z historické půdy povídky. Nebyloť mezi Čechy a Poláky nikdy tak přátelských styků jako na začátku 15. stol."

Vedle těchto tradic vidí ovšem Nejedlý i to, co v chápání minulosti Čechy a Poláky odlišovalo, a zjišťuje to na slavném polském autoru, s nímž se často ve svých úvahách střetal právě proto, že stále byl srovnáván s Jiráskem — Henryku Sienkiewiczovi. Avšak tato otázka je u Nejedlého složitější, protože úzce souvisí s jeho chápáním literárních studií srovnávacích.

V době počátků Nejedlého vědecké činnosti literární věda naše i cizí podléhala silným vlivům methody komparativní, která tak, jak byla pěstována, úplně skreslovala zvláště obraz menších literatur; pod nánosem nejrozmanitějších vlivů, s mravenčí pílí sbíraných literárními badateli, úplně mizela svébytnost, národní specifičnost literatury, která se jevila jen jako jakýsi odvar literatur, t. zv. světových. Nic nebylo Nejedlému tak cizí, jako tento kosmopolitně bezduchý způsob zkoumání literárních jevů. Právě naopak, Nejedlý, ať se již pohyboval v dávných stoletích doby husitské i předhusitské, nebo v období českého obrození, či konečně v době, kterou sám prožíval, vždy hledá v literatuře i umění právě to, co je v ní národního, specificky českého a dovede to vyzdvihnout.

To ovšem pro něho neznamená, že by neviděl nebo nepřipouštěl vzájemných souvislostí mezi jednotlivými národními literaturami a jejich velkými zjevy. Mluví-li však o vlivu, ukazuje, jak tento vliv přispěl právě k národnímu rázu naší literatury, srovnává-li podobné literární zjevy české a cizí, ukazuje, co české autory ve světových literárních proudech odlišuje, co přinášejí svého, nového.

V pracích Nejedlého vine se dvojí takový srovnávací problém, Nejedlý těmto otázkám, které jej znepokojují zvláště v jeho pracích jiráskovských, nevěnuje sice soustavný výklad, ale stále se k nim vrací, takže

z jeho rozptýlených soudů a poznámek při pozorném jejich srovnání vyplyne jasně názor, neobyčejně podnětný pro naši literární vědu. Jedním z těchto problémů je příbuznost a vzájemné souvislosti *realistického proudu v románu českém a ruském,* druhým *vývoj světového románu historického* a místo, jaké v něm zaujímá Alois Jirásek; i v této druhé otázce v popředí jeho zájmu stojí autoři slovanští.

K otázce první se Nejedlý přiblížil hned na počátku své činnosti, když si kladl otázku po původu realismu Jiráskova. Již v citované první studii o Jiráskovi z r. 1901 praví: „Z cizích pak autor *Mrtvých duší* byl mu velmi blízký. U Jiráska vliv Němcové se spojuje s vlivem Gogolovým, ale tím zároveň prohlubuje se vlastní umění Jiráskovo, osamostatňuje se, individualisuje." Podobně se vyjadřuje ve studii *Alois Jirásek a společenský význam jeho díla* z r. 1926 (Čtyři studie o Al. Jiráskovi, str. 41), když mluví o postavách Jiráskovy ranné sbírky *Povídky z hor:* „Naučil se tomu (Jirásek) ovšem do značné míry od dvou svých předchůdců, z českých od Boženy Němcové a z ruských od Gogola, kteří byli přímo nedostižní portretisté takových zvláštních, zajímavých typů..."

Jak je vidět, Nejedlý nepřistupuje k svým srovnáním mozolným zjišťováním látkových a formálních shod, které by dokládaly závislost českých autorů na ruském vzoru, nýbrž ukazuje na příbuzné rysy v jejich tvorbě, které dokládají, že se naši spisovatelé u velkého klasika literárního realismu učili, ale jen proto, že mu byli svým osobním i národním založením blízcí, našli v něm to, co cítili sami a co jim přispívalo, aby co nejplněji vyjádřili lidskou i národní individualitu vlastní.

Co to bylo, co Gogola sbližovalo s Němcovou, Jiráskem, ale i mnohými jinými českými spisovateli a prostými čtenáři, vyslovil pak plně Nejedlý ve svém proslovu na slavnostním večeru Gogolově r. 1952 (publikováno ve Varu 1952). Nejedlý tu praví, že Gogola nám přibližovala jeho „bezmezná láska k ruskému lidu", pak jeho humor i „jeho jasný, lidský pohled i na to, co jinak v životě je malé, malicherné, ale co Gogol dovede nám vylíčit i jako lidské".

Ve svém *Pozdravu N. V. Gogolovi z Československa* v moskevské Pravdě z r. 1952 (česky Var 1952) pak Nejedlý výslovně říká, že Gogol nás naučil *realismu* a jako doklady uvádí opět Němcovou a Jiráska, k nimž připojuje ze Slováků Vajanského a Kukučína; zmiňuje se tu i o látkové podobnosti *Tarase Bulby* a Jiráskova *Bratrstva.*

Avšak ještě dále rozvádí Nejedlý svou myšlenku, když mluví o jiném svém oblíbeném autoru ruském, který v mnohém navazoval na Gogola, takže i jeho působení u nás bylo do jisté míry navázáním na vlnu vlivu autora *Mrtvých duší.* Je to A. P. Čechov, jemuž Nejedlý věnoval zvláštní stať v moskevských *Československých listech* r. 1944 (nové vydání: Moskevské stati, Praha 1946). Při Čechovovi mu především vytanula na mysli jeho příbuznost s J. Nerudou. Píše o tom: „Ano, Čechov jako by byl přímo navazoval na notu, která se při podobném sociálním

prostředí už předtím u nás ozvala v jednom z klasických děl české literatury v Nerudových *Malostranských povídkách*. Jen u Čechova je to vše provedeno daleko šíře než u Nerudy, tak jako ruská buržoasie a inteligence, líčená Čechovem, stála daleko výše než svět Nerudových malostranských hospůdek. Ale je tu podobná, ne-li táž láska k těmto malým lidem, zdánlivě bezvýznamným, o nichž historie nikdy slova nepromluví, a kteří přece také byli národ, a v určitém období historického vývoje dokonce velmi podstatná část národa. Čechov proto se svými povídkami nezapadl u nás do cizího prostředí. Jeho demokratismus byl přímo v dokonalé shodě s lidovým, demokratickým duchem i české realistické literatury."

Vliv Čechovův zjišťuje pak Nejedlý opět u Jiráska, ale svou srovnávací linii vede ještě dále: „Neméně bylo by zajímavé sledovati cestu od Čechova k Haškovu *Švejkovi*, k původnímu, dalšími zpracovateli nezkaženému Švejkovi a k jeho humoru, ne vždy chápanému ve své lidové, ale přitom též v hloubi duše melancholické lásce k lidu a národu."

Tak tu Nejedlý narýsoval zajímavou vývojovou linii: Gogoľ—Němcová—Neruda—Jirásek—Čechov—Hašek, která hlubokým pochopením typických rysů těchto autorů ukazuje jejich příbuznost, aniž by ztrácela pochopení pro jejich svéráznost.

Nejednou tu Nejedlý narážel i na vliv Tolstého na českou literaturu, jak se o tom ještě zmíníme, a o K. V. Raisovi napsal, že „v *Západě* vytvořil dílo, jež celé je prodchnuto tímto typicky ruským chápáním člověka. (O úkolech naší literatury. V Praze 1949.)

Druhým problémem, který se objevoval před Nejedlým při jeho pracích o Al. Jiráskovi a sváděl jeho badatelský zájem k velkým autorům jiných slovanských národů, bylo postavení Jiráskova díla ve vývoji světového *románu historického*, zejména pak jeho vztah k jeho slavnému současníku polskému, H. Sienkiewiczovi.

Sienkiewicz byl s Jiráskem často srovnáván na podkladě různých kritérií a obvykle autoru polskému, který získáním Nobelovy ceny dobyl maxima mezinárodního uznání, byla dávána přednost; byla zdůrazňována větší malebnost jeho postav, pestrost a napínavost dějů, rozmanitost typů ženských; Jirásek naproti tomu byl nazýván figurkářem a upírána mu schopnost jemnější kresby psychologické.

Nejedlý si postavil otázku jinak, vědečtěji. V citované studii o Jiráskovi z r. 1901 snažil se určit stanovisko obou autorů ve vývoji literárního genru, který pěstovali, *historického románu*. Nejedlý tu rozeznává dvojí typ: *romantický* a *realistický*. Zakladatelem typu romantického je Walter Scott a nejskvělejším pokračovatelem na této dráze současný Sienkiewicz. Po vytvoření typu romantického směřoval však i román historický k typu realistickému a na této vývojové linii hlavními kroky vpřed je Tolstého *Vojna a mír* a Flaubertova *Salambo*; Jirásek je třetím významným krokem na této dráze.

Již na základě tohoto sestavení faktů může Nejedlý přistoupit k to-

muto zásadnímu soudu: „Dnes stojí tedy v historickém románě proti sobě dva slovanští mistři: realistický Jirásek a romantický Sienkiewicz. Jejich tvůrčí a umělecká síla nedá se navzájem odměřovat. Nechť pak zájem obecenstva světového se nese k druhému umělci, tolik pro dějiny umění jisto již dnes, že Jirásek vyniká nad Sienkiewicze svým významem historickým. Jirásek přinesl umění něco nového, Sienkiewicz těží z toho, co tu již bylo. Sienkiewicz se přimkl k proudu dohasínajícímu romantiky a Jirásek k realismu. Jirásek jest umělec plně moderní, pokrokový."

O něco výše formuluje Nejedlý tuto věc ještě určitěji: „Dnešní estetika i kritika žádá bezvýminečně pravdivost, konkretnost. Romantický román historický zableskl se a září dnes ještě v Sienkiewiczovi jakožto největším historickém romanopisci toho směru po Scottovi. Historický postup nedá se však zadržeti, Sienkiewiczově veliké slávě dnešní nebude se rovnati jeho význam v dějinách umění."

Je možno říci, že tento soud Nejedlého, vyslovený již r. 1901, vývoj potvrdil. I když Sienkiewicz svými historickými romány dodnes vzbuzuje zájem čtenářů, jeho význam pro dnešní Polsko se ani zdaleka nedá srovnat s významem Jiráskovým pro literaturu českou; v tomto ohledu byl Sienkiewicz daleko předstižen svým méně efektním, ale zato pravdivějším, a proto umělečtějším polským vrstevníkem, Boleslavem Prusem.

Nejedlý se však nespokojuje všeobecným tvrzením, nýbrž snaží se o přesnější charakteristiku jednotlivých typů historických románů, které srovnává. Podle něho romantický román Waltera Scotta a tedy i Sienkiewicze se vyznačoval tím, že „si obral vždy význačnou historickou událost nebo osobu a zapletl ji v nejpestřejší pletivo romantického děje". Tuto v zásadě správnou charakteristiku je jen třeba pro uvarování nedorozumění doplnit tím, že takovou „význačnou" historickou osobou nebývá zpravidla skutečná postava velkého historického významu, nýbrž fiktivní postava románového reka, vynikajícího neobvyklými vlastnostmi a dobrodružnými osudy.

Naproti tomu hlavní zásadou historického románu realistického je podle Nejedlého, že jeho základem jsou *„malí lidé"*. Zde termínu *„malí lidé"* je třeba rozumět tak, že jde o postavy, zaujímající průměrné postavení ve svém prostředí a prožívající tu celkem průměrné osudy, jak je tomu u románových postav *Vojny a míru.* Tento román, který Nejedlý nazývá „největším a nejdokonalejším románem 19. století", „ukázal cestu k realistickému románu historickému, sám však styl jeho nenalezl". Podle Nejedlého je to proto, že tu „plynou umění a historie vedle sebe, nesplývají v jedno. Po kapitolách románových následují kapitoly historické a obráceně . . ."

Proto dalším krokem ke skutečně realistickému románu historickému je Flaubertova *Salâmbo,* avšak ani tu realismus nemůže být úplný, protože si autor vzal za námět historii cizí. Podle Nejedlého „historické

umění v jeho smyslu realistickém může se dařiti vždy jen tehdy, je-li příběh brán z dějin vlastního národa, jen v tom případě může umělec se plně spolehnouti na svou sílu individualisující, realisující". Proto Flaubertovi jeho látka je cizí, interes je jen historický a český čtenář hned sezná, že v jeho postavách je něco francouzského. I když obecná platnost soudu, že skutečného realismu může historický romanopisec dosáhnout jen v příběhu z dějin vlastního národa, by mohla být sporná, jisto jest, že v převážné většině případů je to soud správný.

Tak Nejedlý již v první jiráskovské studii z r. 1901 jasně odlišil českého autora od cizích representantů historického románu a určil jeho samostatné vývojové místo v rámci světovém i slovanském. Během své další dlouholeté činnosti nad dílem Jiráskovým i jinými otázkami vývoje kultury mohl si Nejedlý své počáteční soudy stále ověřovat na novém materiálu, a když se pak skoro po půlstoletí r. 1946 znovu k thematu *Jirásek — Sienkiewicz* vrátil, mohl své stanovisko formulovat již s plnou přesností a určitostí: „Ve světě svou barvitostí, leskem, romantickou dobrodružností zvítězil Sienkiewicz, a i u nás nejeden čtenář a ještě spíše literární historik je toho názoru, že Sienkiewicz je romanopisec vyššího typu, právě svou skvělostí, kdežto Jirásek že je proti němu menší umělec, prostší, jednodušší. Ale podívejme se do jejich díla hlouběji a uvidíme v tom něco podstatně jiného, než rozdíl literárního stupně a kvality. Polští hrdinové Sienkiewiczovi jsou ovšem skvělejší, protože to jsou skvělí jednotlivci, rytíři, kozáčtí atamanové, mávající mečem a dobývající polskému národu nová a nová území, jednou na západě, po druhé na východě. Toho u Jiráska ovšem není. Jeho hrdinou je — český lid, masy národa, lidé prostí, ale zato národ v tomto svém typicky českém, lidovém složení. Jen čtěme Jiráskovu trilogii *Mezi proudy* nebo i hrdinskou epopej *Proti všem.* Tu všude vystupuje Žižka a lze si představit, co by z takového hrdiny udělal Sienkiewicz, autor *Křižáků.* Ale u Jiráska i tu hlavním hrdinou je lid, a Žižka je jen představitel, prováděč toho, co v lidu vzklíčilo a co dodává husitství jeho národní velikost. Jiráskův Žižka je proto původně prostý zeman, vlastně sedlák jako celá ta masa, z níž vyšel Tábor, a teprve když přijde chvíle, kdy Tábor a s ním celý národ potřebuje hrdiny, stává se jím Žižka, a i tu není dobyvač, rytíř, ale „boží bojovník" za nový řád nového lidu." (Komunisté, dědici velikých tradic českého národa. Sborník: O smyslu českých dějin, str. 263—4).

Jest však ještě jedna cesta, kterou soudy a poznatky o literatuře pronikají do Nejedlého děl, i když nesouvisí přímo s látkou, kterou se tam autor zabývá. Nejedlý i jako spisovatel vědecký se velmi mnoho učil u ruských spisovatelů-beletristů. Jeho způsob psaní má výrazné rysy uměleckého realismu, projevující se zejména v tom, jak několika typickými rysy dovede vykreslit živý obraz prostředí a osobností. Nejedlého portréty by si zasloužily zvláštní studie, a to nejen portréty osobností, které jsou hlav-

nimi objekty jeho studia, jako Smetana nebo Masaryk, ale i všechny postavy vedlejší, které obraz doplňují.

Jedním z prostředků, kterých Nejedlý dovedně používá pro charakteristiku svých postav, je vylíčení jejich četby. Při této příležitosti charakterisuje vždy zároveň jak čtenáře, tak i čtené autory. Velmi zajímavé je tu na př. srovnání četby Masarykovy a Leninovy; oba mužové tu čtou tytéž autory, ale jak různě je vnímají!

Všimněme si na př., jak v tomto dvojím odlišném promítnutí se jeví Turgenev, autor, k němuž i sám Nejedlý se často s láskou vracel. V *Masarykovi* o tom čteme: „Masaryk čte tohoto romanopisce se zvláštním zájmem, a to právě sociální jeho romány, ze starších *Dým*, a novou, tehdy právě (1877) vyšlou *Novinu*... Turgeněv líčí tu, v obou těch dílech, sice speciálně ruskou společnost. Ale to především zajímá Masaryka právě proto dvojnásob, jako od počátku vše, co se týkalo Ruska, a mimo to nikde právě nebyla otázka sociální revoluce, to jest třídního boje mezi buržoasií a revoluční masou, tak aktuální a živá jako právě zde. A tak zde se tato otázka staví Masarykovi zvláště živě před oči. Ale jak ji tu vidí? Turgeněvův *Dým* vznikl, jak známo, v době, kdy Turgeněv byl pro své *Otce a děti* kaceřován s obou stran, se strany »otců« i »dětí«, starých konservativců i mladých revolucionářů. A proto, touto křivdou, jak byl přesvědčen, se strany mladých roztrpčen, vykreslil tu ruskou společnost, a teď opravdu staré i mladé, velmi nepříznivě, konservativce i liberály. A z toho rozlil zvláštní, chmurnou náladu na celé Rusko. Všechno je to prý — »*dým*«. Potom se v Paříži opět s emigrací, s revolucionáři smířil, a proto v *Novině* je líčí již jinak... Ale přes to i tu v revoluci — nevěří. Ruský člověk, to je základní tón celé té Turgeněvovy práce — není revoluční člověk. A tak práce pro revoluci, i když není bez užitku, přece jen vlastně — mate... Tak již zde na Masarykovy názory sociální působilo, třebas nepřímo, i Rusko, problém — ruské revoluce. A to — *proti revoluci.*“ (*T. G. Masaryk.* I. 2. Pr. 1931, str. 334—5.)

Srovnejme s tím, jak se týž autor jeví v Nejedlého líčení četby Leninovy: „Turgeněv platí obyčejně za nejuhlazenějšího z velkých ruských romanopisců, a jistě jest. Již svou západnickou literární kulturou. Ale Lenin z něho vyčítal něco zcela jiného: především nejlepší obraz té ruské společnosti, která ho zajímala. Turgeněvovo líčení nebylo však dále nijak pouhé jen líčení. Turgeněv do všeho vkládal i určitý názor, je nejen pozorovatel, ale i aktivní účastník. Jeho spisy proto též zcela jinak i působily. A Turgeněvova uhlazenost? I to tu mělo svůj dobrý smysl. Lenin nebyl revolucionář ze zoufalství. Ani ne z filosofické jen hloubavosti. Lenin byl, lze-li tak říci, kladný revolucionář, z positivní lásky k životu. Turgeněvova uhlazenost byla mu proto jistě bližší než na př. rozervanost Dostojevského. Ten mu naopak byl zcela cizí, a i jako revolucionář, neboť jaký je to revolucionář, který svou chmurností život a radost ze života

udupává, místo aby ji rozněcoval. A ta hloubavost: Turgeněv nazval věčné filosofování ruské mládeže »sebestravováním«, což mu bylo se strany dekadentní ruské mládeže, s rozkoší se v tom topící, vyčítáno i jako protirevolučnost."

Nejedlý připomíná pak Turgeněvovu báseň na Soňu Perovskou, hlavní strůjkyni atentátu proti caru Alexandrovi II., a uzavírá: „Student Lenin proto dobře věděl, proč čte a znova čte »svého« Turgeněva. Velká problematika ruského života se mu tu jevila v celé své šíři, a přitom i celé své kladné životnosti." (Lenin, str. 74 sl.)

Podobně živě v těchto líčeních četby dvou tak rozdílných lidí vystupují i obrazy Puškina, Lermontova, Gončarova, Tolstého, Saltykova-Ščedrina, Gleba Uspenského, Čechova, a ovšem i Dostojevského. S tím se musil Nejedlý vyrovnávat i za sebe, rozlišit i ve vlastním čtenářském dojmu, co bylo zdravého a co chorobnou sugescí reakční ideologie, Dostojevského se dovolávající. Nejjasněji to vyslovil v několikrát již zmíněném projevu *O úkolech naší literatury*, tam, kde mluví o tom, jak ruská literatura učila jeho generaci chápat člověka. Říká tu: „Žádná věda ani žádná jiná literatura nenaučila nás tak hluboce chápat čistě lidské tužby, radosti i strasti člověka jako právě ruský román, ruská literatura... To je také příčina, proč i Dostojevskij byl u nás tehdy hojně čten a i v pokrokových, nejpokrokovějších kruzích. Nám však nešlo o to, vidět v něm tak zvané typické Rusko, za jaké ho prohlašovala reakce a co v něm musili vidět ruští revolucionáři a pokrokoví lidé. Tak se na Dostojevského u nás díval a tak ho vykládal Masaryk, který na něm zbudoval i svou theorii o zaostalosti ruského lidu, mužika v první řadě, a vyvozoval z toho neschopnost ruského lidu vybavit se z tohoto stavu. Masaryk i svůj kontrarevoluční názor na Říjen a celé to veliké hnutí ruského lidu před Říjnem a po Říjnu na tom stavěl, jako příklad, jak literatura může zavést na scestí. Ale to byl právě jen názor Masarykův, který se v oné nové generaci naprosto neujal a vůbec na ni nepůsobil. My jsme i z Dostojevského brali jen to, co z ostatního ruského románu: chápání a lidské hodnocení i člověka starým řádem opovrženého. Ne proto *Běsi*, ale pojetí *Grušenky* bylo této generaci objevem, jako rovněž pronikání k člověku."

V *Leninovi* kromě beletristů má Nejedlý příležitost načrtnout i portréty ruských revolučních demokratů, Gercena, Belinského, Černyševského, Dobroljubova a Pisareva. I tuto otázku podnětně přenáší na půdu kulturního života našeho, když již před válkou upozorňuje na prvky *revolučního demokratismu* v postavě a činnosti Karla Sabiny. (Předmluva ke knize „Karel Sabina: Duchovný komunismus". Praha 1928. Nově ve spisech, sv. *Z české kultury*, str. 66—77.)

Pro dějiny slovanských literatur a vzájemné styky slovanských národů jsou významná ještě Nejedlého zachycení některých středisek v neslovanských zemích, kde se však Slované stýkali, což mělo silný vliv na

jejich názory. V monografii o Masarykovi jsou zachycena dvě taková střediska. Předně je to *Vídeň*. Nejedlý tu zvláště ukazuje, jak v tomto prostředí zvláštního významu nabývalo slovanství K o l l á r o v o. Slovanské středisko v *Drážďanech* a v *Lipsku* vede jej k podrobnějšímu vylíčení života Lužických Srbů.

Všechny stati i třeba jen drobné zmínky Nejedlého o slovanských literaturách mají význam nejen svým bezprostředním přínosem vědeckým, ale svým podnětným charakterem, naznačujícím nové problémy a ukazujícím cesty k jejich řešení. Zde na Nejedlého dílo mohou přímo navázat nové vědecké generace a budovat dále na širokých a hlubokých základech, jím položených.

Karel Krejčí

Индоевропейская и славянская терминология родства в свете марксистского языкознания

Основополагающие работы И. В. Сталина по вопросам марксизма в языкознании явились мощным толчком для сравнительно-исторического изучения языков. И. В. Сталин указывает, «что сравнительно-исторический метод, несмотря на его серьёзные недостатки, всё же лучше, чем действительно идеалистический четырёхэлементный анализ Н. Я. Марра, ибо первый толкает к работе, к изучению языков, а второй толкает лишь к тому, чтобы лежать на печке и гадать на кофейной гуще вокруг пресловутых четырёх элементов».[1]) Развивая мысль о научной цене сравнительно-исторического метода в языкознании, И. В. Сталин говорит: «Н. Я. Марр высокомерно третирует всякую попытку изучения групп (семей) языков, как проявление теории «праязыка». А между тем нельзя отрицать, что языковое родство, например, таких наций, как славянские, не подлежит сомнению, и изучение языкового родства этих наций может принести языкознанию большую пользу в деле изучения законов развития языка».[2])

Каковы же эти серьёзные недостатки сравнительно-исторического метода, о которых говорит И. В. Сталин?

В работе, посвящённой критическому разбору сравнительно-исторического метода, Б. А. Серебренников убедительно вскрыл некоторые коренные методологические недостатки лингвистического компаративизма. Первым недостатком следует, несомненно, признать материальную ограниченность сравниваемых фактов. Число слов, допускающих сопоставление, в пределах каждой языковой группы (семьи) ограничено. Вторым, не менее важным недостатком можно считать неравноценность, несоизмеримость сравниваемых фактов. Исследователи часто сопоставляют слова и формы, засвидетельствованные в древнейших письменных памятниках древнеписьменных народов за несколько веков до нашей эры, со словами и формами, извлекаемыми из памятников сравнительно новых, иногда даже с диалектными фактами современных нам языков.[3])

---

[1]) И. В. Сталин, *Марксизм и вопросы языкознания, 1950*, Правда, стр. 28; Slavia 20 (1951) 185—186.

[2]) Там же, стр. 28; Slavia там же, 186.

[3]) Б. А. Серебренников, *Сравнительно-исторический метод и критика так называемого четырёхэлементного анализа Н. Я. Марра*, Сборник Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина, М. 1950, стр. 159.

Основным же недостатком традиционной индоевропеистики, представленной буржуазной наукой, является её философский идеализм и антиисторизм.

Идеалистическое отношение к фактам языкового развития сказывается у представителей буржуазной лингвистики прежде всего в полном игнорировании истории коллектива, язык которого исследуется. Если А. Мейе называет коллектив, который предположительно говорил на языке, лёгшем в основу современных и исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, — «индоевропейской нацией» (nation indo-européenne), то он этим самым впадает в анахронизм. Языковед-марксист должен в своей работе руководиться указанием И. В. Сталина: «язык и законы его развития можно понять лишь в том случае, если они изучаются в неразрывной связи с историей общества и историей народа, которому принадлежит изучаемый язык и который является творцом и носителем этого языка».[4])

Требование историзма, требование учёта конкретной исторической перспективы при изучении отдельных языков в их историческом развитии, относится, конечно, не только к тем эпохам, когда налицо исторические памятники. Это требование равным образом относится и к тем отдалённым периодам в развитии языков, когда мы ещё не располагаем письменными памятниками, т. е. к периоду до возникновения классового общества. А так как всякое сравнительное изучение таких семей языков, какими являются, например, индоевропейские, неизбежно уводит исследователя в эпоху доклассового общества, то лингвисту приходится обращаться уже не к историческим источникам, а к данным археологии и сравнительной этнографии, руководствуясь при этом общими положениями исторического материализма о закономерностях развития человеческого общества. При таком подходе к делу окажется, что лингвист может не только успешно использовать для своей работы проверенные результаты смежных областей науки, но и, в свою очередь, сможет извлечь из изучаемого им языкового материала немало ценных указаний для реконструкции картины общественного развития того или иного коллектива в доклассовом обществе. Более того: языковед-марксист не может ограничиться решением формально-лингвистических проблем. Восстановление древнейших форм, реконструкция «архетипов» не может быть конечной целью материалистического изучения истории языка. Конечной целью языковеда-марксиста всегда будет человек в его общественном бытии; специфика языка, сфера его действия, «охватывающего все области деятельности человека» (И. В. Сталин), позволяет языковеду делать обобщающие заключения и о самой этой деятельности, о совокупности условий бытия человека в такие отдалённые эпохи, когда другие источники оказываются бессильными. В этом смысле

---

[4]) И. В. Сталин, там же, стр. 18; Slavia там же, стр. 177—178

можно говорить о «палеонтологии языка» в марксистском понимании этого дискредитированного марризмом термина, о языковом материале, как о живом свидетеле тех периодов, о которых мы не имеем прямых данных.

Обозначения родственных отношений входят во всех языках мира безусловно в состав наиболее древнего языкового пласта. Такие слова, как *мать, отец, сын, сестра* и т. п., составляют ядро основного словарного фонда. Обозначения родственных отношений возникли «в глубокой древности». Нельзя забывать, что в бесклассовом обществе, до возникновения государства (civitas) и до возникновения цивилизации, родовой строй был организационным принципом всего общества (societas). По словам одного из основоположников современного материалистического учения о развитии древнего общества, Льюиса Г. Моргана, «родовая организация . . . явилась почти универсальной основой социального строя древнего общества . . . Она была тем орудием, посредством которого общество было организовано и сохранялось».[5]) Но родовая организация не была, конечно, чем-то незыблемым, неизменяемым. Наоборот, родовая организация испытала на протяжении своего развития целый ряд коренных изменений, отразивших техническое усовершенствование орудий производства и связанного с этим постепенного разделения общественного труда. На протяжении многих тысячелетий сменилось несколько типов общественной организации, изменились форма и объём основной родовой единицы, видоизменялись и коренным образом перестраивались формы семьи и формы брака, не выходя при этом за пределы, положенные степенью развития орудий производства при сохранении общественной собственности на средства производства. В своем гениальном труде «Возникновение семьи, частной собственности и государства» Фридрих Энгельс показал, как менялись формы брака, семьи и родовой организации первобытного коммунистического общества. Ввиду теснейшей взаимосвязанности между обозначениями родственных отношений и формами семьи и брака, лингвистический анализ терминологии родства, учитывающий закономерности общественного развития, может дать ценные указания для прослеживания развития родового строя на протяжении значительного периода времени. Формы брака, — писал Л. Морган, — произвели соответствующие формы семьи, а эти последние создали данную систему родства. «Где встречается одна из этих трёх составных частей, там с уверенностью можно заключить, что существуют или некогда должны были существовать и две другие части».[6])

Исходя из этих методологических предпосылок, от лингвистического анализа терминологии родства можно ожидать ответа на вопрос о состоянии и развитии родового строя, каким он представляется по

---

[5]) Льюис Г. Морган, *Древнее общество* (русский перевод), М. 1935, стр. 38.
[6]) Льюис Г. Морган, цит. произв., стр. 228.

данным реконструируемого нами индоевропейского языка древнейшей формации и в древнейшем славянском языке.

Что говорит буржуазная наука об организации общества, так или иначе отразившейся в древнейшем индоверопейском языке? В чём усматривает буржуазная индоевропеистика отличительные черты индоевропейского родового строя?

Один из основоположников буржуазной науки об индоевропейских «древностях», немецкий филолог Б. Дельбрюк, посвятивший ряд специальных исследований проблеме организации семьи у «индоевропейцев», ограничивает понятие рода «в более узком смысле слова» следующими признаками:

1. возведение мужских членов рода к общему предку (деду или прадеду);
2. совместное почитание умерших, культ предков, совместность магических действий;
3. обязательное для всех членов рода соблюдение института кровной мести;
4. участие в наследовании имущества по мужской линии.[7])

Такой подход к проблеме древнейшей общественной организации «индоевропейцев» характерен для всей буржуазной индоевропеистики. Исследователей в первую очередь интересуют вопросы культа, магии, почитания умерших, т. е. как раз проявления общественной жизни, которые являются *результатом* той или иной формы родовой организации, основанной на той или иной форме разделения общественного труда. Вопросы экономической основы, вопросы организации общественного труда, единицей, ячейкой которого является род во всех его исторически данных разновидностях, буржуазными исследователями игнорируются.

Буржуазная индоевропеистика понимала вопросы, связанные с материнским родом, как нечто нелишённое известной пикантности. Но при одной мысли о мнимом «гетеризме», о «многомужии» и т. п. почтенные учёные приходили в ужас. Так, Б. Дельбрюк писал: «Относительно брачных отношений в древней Индии оказалось, что полигамия, правда, существовала, однако не в том смысле, чтобы мужчина обладал несколькими равноправными женщинами. Нигде в индусских древностях не обнаружены следы, позволяющие заключать, что в глубокой древности (in der Urzeit) женщина была общим достоянием нескольких мужчин» (там же, стр. 588).

Для восстановления картины родовой организации древнейших «индоевропейцев», буржуазные исследователи пользуются в первую очередь показаниями *мифологии и этимологии*.

Поскольку *мифология* древней Индии, Греции и Рима отражает уже патриархальный строй с ярко выраженной патрилинейностью, то этот патриархальный строй и провозглашается «исконным», «извечным». Дельбрюк, Шрадер, а вслед за ними и А. Мейе, считают исконность отцовского строя «индоевропейской семьи» бесспорной. По О. Шрадеру древнейшая индоевропейская общественная организация характеризовалась «большою семьёй», стоящей «под абсолютной властью домохозяина (**dem-s-potis*)». Эта большая семья была организована по принципу отцовской семьи (Vatersippe).[8]) В своих идеалистических догадках о состоянии общественного строя «индоевропейцев», О. Шрадер приходит к выводу, что следует различать более мелкую родовую единицу (так наз. «семейный очаг» — Herdgemeinschaft) и более крупную родовую единицу (род в собственном смысле этого слова — Sippe). Принципы организации этих двух основных единиц — разные. «В индоевропейском общественном строе, — пишет О. Шрадер, — господствовали издревле (von Haus aus) два противоположных принципа правления: монархическо-патриархальный и республиканский».[9]) Такие утверждения, облечённые в «строго науч-

[7]) Berthold Delbrück, *Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen*. Ein Beitrag zur vergleichenden Altertumskunde, Leipzig 1889, стр. 382.

[8]) O. Schrader, *Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde*, II, 1929, 399 и 404.

[9]) Там же, стр. 408.

ную» форму, являются предвестниками расистской «теории», провозглашающей исконное превосходство индоевропейцев, этого «народа господ», над всеми другими народами. Заодно «доказывается» и «исконность» монархического принципа.

Другой буржуазный лингвист, столь осторожный и даже скептический в своих чисто лингвистических построениях, смело выдвигает свою «социологическую» теорию «индоевропейской нации». Согласно А. Мейе, «индоевропейцы» были лишь аристократическим меньшинством, навязавшим этническому субстрату, с которым это меньшинство смешивалось, свой язык. «Индоевропейский язык, — пишет Мейе, — является языком вождей (de chefs) и организаторов, навязываемый (этническому субстрату, А. И.) силой престижа аристократии. Бытовая (familiaire) и народная (vulgaire) часть языка сохранилась лишь в слабой мере».[10] И далее: «Будучи организаторским и господствующим началом, индоевропейская аристократия наталкивалась часто, в Восточной Европе и, особенно, в Средиземноморском бассейне, на народности, обладающие более развитой материальной культурой.[11]

«Аристократическая» индоевропейская лексика, по мнению А. Мейе, лучше всего сохранилась якобы в древнегреческом, в латинском и, отчасти, в германо-кельтских языках. Наоборот, в балтийских и славянских языках следов этой «аристократической» лексики будто бы очень мало. Отсутствие в славянских языках тех или иных «исконных» индоевропейских элементов (напр. старого названия «лошади», соответствующего лат. *equus;* старого названия «собаки», соответствующего лат. *canis;* старого названия «отца», соответствующего лат. *pater* и др.) является, по убеждению А. Мейе, доказательством культурной «неполноценности», «несамостоятельности» славянских языков. Подчёркивая, что славянское слово отьць не восходит к «торжественному и религиозному» индоевропейскому термину pater familias других индоевропейских языков, а является производным «фамилиарного» слова **atta,* обозначавшего якобы «более широкое понятие предка вообще»,[12] А. Мейе явно отождествляет древнейшее значение слова «отец», возникшее в бесклассовом обществе, со специфически юридическим термином pater familias, возникшем у римлян уже в эпоху классового общества.[13]

Совершенно естественно, что фашистская и расистская лженаука всячески пропагандирует тезис об «исконности» индоевропейской отцовской семьи, воплощающей якобы «аристократический» принцип «отца-фюрера» с неограниченной властью. Ведь именно это «исконное преимущество» якобы принципиально и отличает индоевропейский «народ господ», привыкший властвовать, от других преимущественно колониальных и полуколониальных народов, национальностей и племён, у которых наблюдаются остатки матриархата! Один из представителей немецкой фашистской лингвистики, Краге (H. Krahe), голословно заявляет, что индоевропейские термины родства доказывают, вне всякого сомнения, будто «в индоевропейской древности (Urzeit)» существовали основные черты нашей современной семьи».[14]

Между тем, все эти и подобные утверждения буржуазных языковедов противоречат тем данным, которыми в настоящее время располагает наука.

В своем уже цитированном труде «Древнее общество» Л. Морган, на основании анализа богатейшего материала, приходит к такому выводу: « . . . когда род возник, брак отдельных пар был неизвестен и про-

---

[10]) A. Meillet, *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes,* 6e édition, 1924, 29. Этот пассаж отсутствует в русском переводе 1935 г. В дальнейшем все цитаты по французскому оригиналу.

[11]) A. Meillet, *Introduction,* 343.

[12]) A. Meillet, *Le slave commun,*[2] 1934, 496.

[13]) Возникновение римской семьи (familia) и установление неограниченной отцовской власти (patria potestas) над жизнью и смертью детей и других нисходящих, равно как рабов и слуг, которые составляли ядро семьи и от которых она получила своё название (ср. лат. *familia* от *famulus* «слуга»), неразрывно связано с возникновением классового рабовладельческого общества. Ср. Л. Морган, *Древнее общество,* 275.

[14]) O. Schrader, *Die Indogermanen.* Neubearbeitet von H. Krahe, 1935, 77.

исхождение по мужской линии не могло быть установлено достоверным образом».[15]) Развивая и обосновывая эту мысль, Фридрих Энгельс писал: «При всех формах групповой семьи неизвестно, кто отец ребёнка, но известно, кто его мать. Если она и называет *всех* детей общей семьи своими и по отношению к ним несёт материнские обязанности, то она всё же отличает своих родных детей от остальных. Отсюда ясно, что раз существует групповой брак, то происхождение может быть установлено лишь с *материнской стороны,* а потому признаётся только женская линия. Так действительно бывает у всех диких народов и у всех народов, стоящих на низшей ступени варварства; и вторая крупная заслуга Бахофена состоит в том, что он первый это открыл. Это признание происхождения исключительно с материнской стороны и развившиеся отсюда с течением времени отношения наследования он называет материнским правом».[16])

Б. Дельбрюк писал своё исследование о названиях родства у индоевропейцев в 1889 году, то есть почти тридцать лет после выхода в свет книги Бахофена «Материнское право» (1861). Дельбрюк знал работу Бахофена, но цитирует он её (стр. 387) лишь для того, чтобы отвергнуть предположение о «свободном смешении полов» и о наличии «материнской семьи» у индоевропейцев, одна мысль о которой приводила в ужас консервативных немецких бюргеров. Никто из буржуазных индоевропеистов не обратил внимания на труды Бахофена и Моргана, на гениальные мысли Фридриха Энгельса. А между тем Л. Морган ещё в 1877 году писал: «Родовая организация имела своё естественное происхождение в пуналуанской семье, в которой группа сестёр, состоявших в браке с мужьями каждой из них, вместе с детьми и дальнейшими нисходящими по женской линии, в точности представляла объём и состав рода в его архаической форме. Основные ветви арийской (т. е. индоевропейской, А. И.) семьи, когда они впервые стали исторически известны, были организованы в роды, откуда вытекает, что в то время, когда они ещё составляли единый народ, *они были организованы таким же образом*».[17])

Стоило только проверить предположения, высказанные Л. Морганом, на индоевропейском материале, чтобы убедиться в их справедливости и вывести индоевропеистику из идеалистического, антиисторического тупика. Эту работу впервые проделал английский филолог-марксист Джордж Томсон.[18]) Буржуазная лингвистика предпочла иной путь, путь восхваления патриархальной семьи, как «исконной» родовой организации народов, говорящих на индоевропейских языках, путь, который неизбежно ведёт к расизму, к расовой дискриминации, к «научному» оправданию колониального гнёта.

Для того, чтобы понять принципы древнейшей известной нам родовой организации, необходимо хотя бы в самых общих чертах уяснить себе соотношение экзогамно-эндогамных правил бракосочетания, наблюдаемых по сей день у ряда

---

[15]) Льюис Г. Морган, *Древнее общество*, 41.

[16]) Ф. Энгельс, *Происхождение семьи, частной собственности и государства*, стр. 191.

[17]) Льюис Г. Морган, *Древнее общество*, стр. 283. (Курсив мой, А. И.).

[18]) Ср. George Thomson, *Aeschylos and Athens*, 1950, 402—417; он же: *Studies in Ancient Greek Society. The Prehistoric Aegean*, 1949, 58—86; ср. рецензию проф. Б. Горнунга в Вестнике древней истории 1950, № 4, стр. 106—113.

племён, не успевших ещё достигнуть более высоких ступеней производства и пребывающих поныне в условиях первобытной общественной организации.

Наиболее подробно изучено функционирование экзогамно-эндогамных правил на материале коренного населения Австралии. В недавно вышедшем в свет сборнике «Родовое общество» советский этнограф Н. А. Бутинов даёт следующую характеристику общественной организации австралийцев:

«Каждое австралийское племя (по примерным данным, их было более 500) имело свою территорию и отличалось от других племен особым диалектом... Племя очень редко выступало как единое целое, сознание принадлежности к племени было слабо... Диалект одного племени незаметно переходил в диалект другого, так что лингвистические границы также были очень расплывчивы. Племя насчитывало приблизительно 200—1000 человек.

Племя делилось на локальные группы, насчитывающие от 30 до 100 человек. Каждая локальная группа имела свою территорию (часть племенной территории). Все, что находилось на этой территории, принадлежало в равной мере всем членам локальной группы. Локальная группа имела своего главаря и совет взрослых мужчин. В хозяйственном отношении она была совершенно самостоятельной. Для производственных целей (охоты и собирательства) локальная группа делилась на несколько более мелких групп, состоявших обычно из нескольких братьев с их родителями, женами и детьми...

Эта простая структура австралийской локальной группы, целиком вытекавшая из условий хозяйственной деятельности австралийцев, усложнялась рядом других явлений, которые, на первый взгляд, с хозяйственной деятельностью никогда не имели никакой связи. Таковыми являлись в первую очередь *брачные классы*. (Курсив мой. А. И.).

Каждая локальная группа включала в свой состав лиц двух брачных классов. Так, например, у южных аранда, имевших четыре брачных класса — Панунга, Бультара, Пурула и Кумара, локальная группа состояла либо из лиц Панунга и Бультара, либо из лиц Пурула и Кумара... Лица, входившие в состав локальной группы, распределялись внутри её по брачным классам в зависимости от поколения. А так как брачных классов в каждой локальной группе было всего два..., то отсюда следовало, что лица первого и третьего поколений принадлежали всегда к одному брачному классу, второго и четвертого поколений — ко второму.

Брачный класс был экзогамен. Между лицами двух брачных классов, входивших в состав одной локальной группы, браки также не могли иметь места. Локальные группы также были экзогамны. Таким образом, будучи самостоятельными единицами в хозяйственном отношении, локальные группы оказывались в семейно-брачном отношении лишь частями более сложного целого». [19])

Объем и состав такой дуально-экзогамной единицы вариирует в зависимости от ступени развития данного общества. На протяжении истории родового строя (и матриархата, и патриархата) основной дуально-экзогамной единицей могли быть группы людей, объединенных в роде, в большой семье, в «клане». По словам Н. А. Бутинова, «дуальная организация не была ограничена племенем, выходила далеко за его пределы, имела, теоретически говоря, всеобщий характер. Все население Австралии было разделено по существу на два первоначальных рода, и мужчина одного из них имел право на всех женщин (с учетом, конечно, брачных классов) другого».[20])

В современном цивилизованном обществе термины родства точно обозначают взаимоотношения лиц, связанных между собой узами кровного родства. Своей матерью мы называем родившую нас женщину, братом — сына нашей матери, двоюродным братом — сына отцовских или материнских братьев и сестёр, и т. д. Такая система обозначения родства называется «описательной». Однако у народов, живущих в условиях первобытно-родового строя, обозначения степени родства не совпадают с конкретными кровно-родственными отношениями. Анализируя терминологию родства северо-американских индейцев, Ф. Энгельс писал: «Ирокез называет

---

[19]) *Проблема экзогамии.* Сборник Родовое общество. Этнографические материалы и исследования. Москва 1951, стр. 9 и 10.

[20]) Там же.

своими сыновьями и дочерьми не только своих собственных детей, но и детей своих братьев, а они называют его отцом. Детей же своих сестёр он называет своими племянниками и племянницами, а они его дядей. Наоборот, ирокезка называет детей своих сестёр, наряду со своими собственными детьми, своими сыновьями и дочерьми, а те называют её матерью. Детей же своих братьев она называет своими племянниками и племянницами, а сама называется их тёткой. Точно так же дети братьев, как и дети сестёр, называют друг друга братьями и сёстрами. Напротив, дети женщины и дети её брата называют друг друга двоюродными братьями и сёстрами. И это — не только пустые названия, а выражения фактически господствующих взглядов на близость и дальность, одинаковость и неодинаковость кровного родства, и эти взгляды служат основой вполне разработанной системы родства . . .».[21]) Такая система родства, в которой обозначения родственных взаимоотношений членов данной общественной единицы (рода, клана) не совпадают с фактическим кровным родством, называется классификаторской системой. Если отношение отца к сыну выражается тем же словом «сын», как и отношение отцовского дяди к своему племяннику, то это значит, что сыновья и племянники (т. е. сыновья отцовского дяди) входят на равных началах в одну общественную группу, которую этнография обычно называет «брачным классом». Каждая женщина входит в брачный класс своих сестёр, двоюродных сестёр (т. е. детей материнской тёти), троюродных сестёр (т. е. внучек материнской бабушки) и т. д. Каждый мужчина входит в разряд своих братьев (родных, двоюродных, троюродных и т. д.). В каждом поколении мужчины и женщины образуют такие своеобразные брачные классы, в пределах которых действуют законы экзогамии. Принцип распределения родственников по брачным классам подтверждается многочисленными наблюдениями новейшего времени. Так, например, один из видных исследователей племён Полинезии и Австралии, Рэдклифф-Брайн, считает для изучаемых им племён общим правилом, что «мужчина всегда входит в один брачный класс со своим братом, а женщина — всегда со своей сестрой».[22]) В пределах классификаторской системы слово «мать» не обозначает только родившую меня женщину; этим словом «мать» я называю и сестёр моей матери (родных и двоюродных), словом всех женщин, входящих в брачный класс моей матери. В данном случае термин «мать» не *описывает* фактических родственных отношений, а относит данное лицо к определённому общественному разряду, к определённому брачному классу, короче говоря, этот термин *классифицирует*.

Значение приведённых фактов для решения интересующей нас проблемы велико: согласно положениям исторического материализма, формы общественной организации, характерные для этнических коллективов, поныне пребывающих в условиях первобытно-родового строя, наличествовали некогда и там, где в силу развития орудий производства общество успело преодолеть первобытно-родовой строй. Следы старых родовых отношений сохранились прежде всего в языке, в терминологии родства. Терминология родства, входящая в основной словарный фонд, сохранилась в языках почти без изменений: слова *мать, брат, сестра, дочь, сын, золовка, деверь* возникли в глубокой древности и просуществовали до наших дней. Но изменилось конкретное содержание этих слов, изменилось их значение. Чтобы правильно истолковать первоначальное значение этих терминов, необходимо представить себе конкретно организацию того общества, в котором она возникла. И. В. Сталин учит, что язык «развивается с рождением и развитием общества».[23])

---

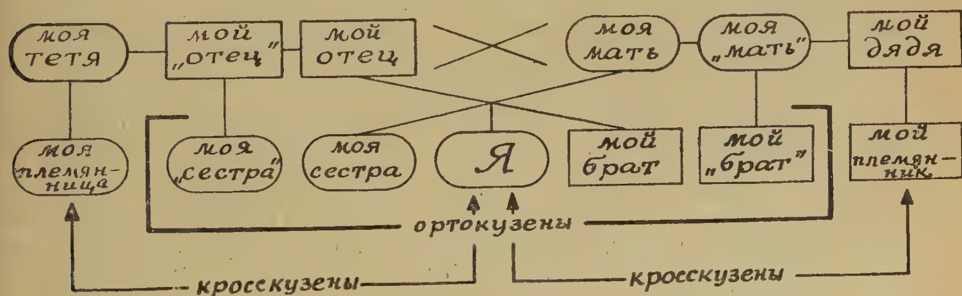
[21]) Цит. произведение, стр. 179—180.

[22]) Ср. журнал Oceania I, 44. Цитировано по Дж. Томсону, *Aeschylos and Athens*, p. 398.

[23]) *Марксизм и вопросы языкознания*, Правда, стр. 18; Slavia 20 (1951) 177.

Естественно, что при развитии первобытно-родового общественного строя, при переходе от матриархата к патриархату, от группового к моногамному браку, узловые термины родства должны были претерпеть ряд переосмыслений. Сравнительная этнография, вооружённая методом исторического материализма, позволяет нам проследить некоторые особенности этого сложного и длительного развития.

Характерной чертой классификаторской системы родства является то обстоятельство, что в мой брачный класс (если я мужчина) входят только мои братья, но не входят мои сёстры; сюда же входят сыновья братьев моего отца и сыновья сестёр моей матери. Сыновья же *сестёр* моего отца и сыновья *братьев* моей матери остаются вне моего брачного класса. Членов своего собственного брачного класса я называю своими братьями. Этнография называет двоюродных братьев, входящих в один и тот же брачный класс — ортокузенами.[24] Моими ортокузенами являются, следовательно, дети моих дядей с отцовской стороны, а также дети материнских тёток. Как правило, браки между ортокузенами запрещаются обычаем.[25]



Условные обозначения к схеме: ⬭ – *женщина* ▭ – *мужчина*
× – *брачная связь*

Дети *сестёр* моего отца, а также дети *братьев* моей матери не входят в мой брачный класс. Этнография их называет — кросскузенами. Браки между кросскузенами являются в обществе с материнским счётом родства либо обязательными, либо предпочтительными. Как указал ещё

---

[24]) В мой брачный класс могут входить и мои троюродные братья, но опять-таки лишь те из них, которые являются детьми сыновей отцовских дядей моего отца и детьми дочерей материнских тёток моей матери.

[25]) Этнография знает и случаи предписанного брака между ортокузенами; этот обычай распространён лишь у некоторых народов (арабов, малайцев-мальгашей Мадагаскара, туркмен Средней Азии, у некоторых племён в Южной Африке). Ортокузенные браки существуют лишь у племён, имеющих отцовский счёт родства. Ср. З. А. Никольская, *Из истории семейнобрачных отношений у аварцев в XIX в.* Краткие сообщения Института этнографии АН СССР, т. VIII, 1949, стр. 53.

Э. Тэйлор, наличие кросскузенного брака предполагает существование дуально-экзогамной организации рода или клана, с наличием двух взаимно брачущихся единиц. Кросскузенные браки существовали и существуют у многих племён и народностей на всём земном шаре. В качестве одного из многочисленных примеров приводим сообщения советского этнографа З. А. Никольской о аварцах. «Согласно нашим полевым материалам, — пишет З. А. Никольская, — кросскузенный брак у аварцев имел самое широкое распространение и остаётся предпочтительным вплоть до настоящего времени... Свидетельством того же служит обычай испрашивать у материнского дяди особого разрешения на брак в том случае, если порядок кросскузенного брака нарушается» (там же стр. 54—55).

Наличие дуально-экзогамной организации, в свою очередь, связано с существованием материнского счёта родства, с тем, что Бахофен и назвал в своё время (не очень удачно) «материнским правом». Согласно данным современной этнографии, матриархат определяется наличием материнского счёта родства (матрилинейностью), переходом мужчины, вступающего в брак, из своей родовой организации (клана) в родовую организацию (клан) своей жены (матрилокальность брака) и определёнными обычаями наследования имущества, переходящего не по мужской, а по женской линии из поколения в поколение. С материнским счётом родства связан и порядок именования ребёнка не по имени отца, а по имени матери. Классическим примером этого обычая является сообщение великого греческого историка Геродота о ликийцах: «Только следующий обычай у них совершенно особенный, отличающий их от всех других народов: они называют себя по матери, а не по отцу. Если кто спросит соседа о его происхождении, тот сообщает всю родословную с материнской стороны и перечисляет матерей своей матери». Этот архаический обычай бытует и поныне, например, у аварцев. З. А. Никольская об этом пишет: «В ряде аварских обществ долго существовал обычай передачи детям имени матери или материнских родственников. Чаще всего ребёнок наделялся именем матери в случае смерти отца, но иногда и при его жизни... В обществе Андалал именем матери наделяли только девочек, оставляя за мальчиками всегда имя отца» (там же, стр. 56).

Вернувшись таким образом к исходной точке нашего предварительного изложения сути экзогамно-эндогамной организации рода, мы должны остановиться на некоторых особенностях матриархата, который, вопреки голословным идеалистическим заверениям буржуазных лингвистов и археологов, оставил глубокие следы как в древнейшей индоевропейской, так и в славянской терминологии родства.

Матрилинейность, т. е. счёт родства по материнской линии, обусловлена невозможностью точно установить отца ребёнка (см. выше у Ф. Энгельса). Матрилинейность предполагает, следовательно, наличие той или иной формы группового брака. Известные науке формы группового брака не имеют, разумеется, ничего общего с «гетеризмом» и «половой вольностью», столь возмущавших филистеров от науки. Известные науке формы группового брака строго урегулированы рядом норм.

«По гавайскому обычаю, — пишет Ф. Энгельс, — известное число сестёр, родных или более дальних степеней родства (двоюродных, троюродных и т. д.), было общими женами своих общих мужей, из числа

которых, однако, исключались их братья; эти мужья называли друг друга не братьями, им не было больше надобности быть ими, а «пуналуа», т. е. близкий товарищ, так сказать, associé. Равным образом ряд братьев, родных или более дальних степеней родства, состоял в общем браке с известным числом женщин, но только *не* своих сестёр, и эти женщины называли друг друга «пуналуа». Такова классическая форма семейного уклада (Familienordnung), которая впоследствии испытала ряд видоизменений и главной отличительной чертой которой была взаимная общность мужей и жён внутри определённого семейного круга, из коего, однако, были исключены братья жён, сперва родные, а позднее и более дальних степеней родства, а с другой стороны также и сёстры мужей».[26])

Несмотря на злостные нападки со стороны буржуазных этнографов (Мак Леннана, Н. Томаса, А. Крёбера, Б. Малиновского и др.), считавших признание группового брака несовместимым с «достоинством рода человеческого», существование группового брака подтверждается всё новым и новым материалом. Приведём хотя бы слова норвежского буржуазного лингвиста А. Зоммерфельта, посвятившего ряд работ исследованию языка австралийского племени аранта. Вот как, по Зоммерфельту, представляются члену племени аранта его родственные отношения: «Я называю свою жену «ноа». Но этот термин обозначает также всех женщин, находящихся на той же степени системы родства (в том же брачном классе, А. И.), как и моя жена, т. е. всех дочерей дочери брата матери моей матери».[27]) В данном случае мы имеем дело с несколько осложнённой, но всё же с системой кросскузенного брака, причём принцип группового брака сохранён полностью. Как покажет в дальнейшем лингвистический анализ нашего материала, общество, в котором формировались элементы индоевропейской терминологии родства, было организовано по принципу дуально-экзогамного рода с наличием группового кросскузенного брака и с материнским счётом родства.

В последнее время вопросами родовой организации индоевропейского и в частности древнейшего греческого рода занимался видный английский филолог-марксист Джордж Томсон. В его трудах, посвящённых возникновению классового рабовладельческого общества в Греции, высказаны весьма ценные мысли о возможности восстановления первобытной родовой организации общества, в котором складывалась индоевропейская терминология родства.[27а]) Томсон исходит из высказываний Л. Моргана, предуказавшего в своё время дальнейший путь

---

[26]) *Происхождение семьи, частной собственности и государства*, стр. 189.

[27]) Alf Sommerfelt, *La langue et la société*. Caractères sociaux d'une langue de type archaïque, 1938, 151.

[27а]) George Thomson, *Aeschylos and Athens*. 1950, pp. 23—36; особенно 387—417. — Он же: *Studies in Ancient Greek Society. The Prehistoric Aegean*. 1949, pp. 58—78.

материалистического исследования индоевропейской системы родства. На основании остроумного лингвистического анализа и при широком использовании данных сравнительной этнографии, Дж. Томсон показывает, что древнейшая родовая организация, в лоне которой могла сформироваться родовая терминология индоевропейских языков, должна была быть матриархальной. Настоящая статья является попыткой показать на индоевропейском и славянском материале, какую пользу может принести историко-лингвистическое изучение основного словарного фонда «в деле изучения развития законов языка».

Основные термины кровного родства в индоевропейских языках

При попытке истолковать значение древнейших индоевропейских терминов родства, первые компаративисты прибегали к приёмам наивной этимологизации.

Бопп возводил ряд основных терминов родства к индоевропейским глагольным основам. Слово, сохранившееся в лат. *pater*, санскр. *pitár* и т. д., Бопп соединял с корнем **pā* «оберегать, питать» (ср. *pānis* «хлеб», р. *пастух* и т. п.).[28]) Следовательно, слово *pater* (или вернее, его древнейший архетип) означало первоначально «кормилец, властелин». При оценке подобных этимологий следует иметь в виду общее состояние сравнительно-исторического изучения индоевропейских языков во времена Боппа, когда глагольные основы рассматривались как строительный материал чуть ли не каждого полнозначимого слова. Но нельзя забывать, что сопоставление слов ряда *pater*, *pitár*, πατήρ с предполагаемой глагольной основой **pā* или **pō* в значении «оберегать, питать» было продиктовано не столь результатами лингвистического анализа, сколь предвзятым представлением об «исконном» положении отца в семейном кругу, романтической идеей о почётном месте «главы семейства» в древнейшие времена. Современная наука, после критики Дельбрюка и др., отказалась от попытки соединять слова ряда *pater*, *pitár* с глагольной основой.[29])

Слово, представленное рядом ст.-сл. *дъшти*, санскр. *duhitár*, гр. θυγάτηρ и т. д. связывалось Ф. Боппом с глагольной основой **dheugh-* «доить»; название «дочери» первоначально якобы имело значение «грудной ребёнок». А. Фикк соединял это слово с той же основой, но толковал его не как «грудной ребёнок», а как «кормилица». Эти этимологии давно отвергнуты наукой.[30]) Решающую роль при окончательном отказе от подобных этимологий сыграла не только надуманность семантических переходов, но и отказ от «глагольной» теории индоевропейских корней вообще.

Отказавшись от сопоставления слов типа *mater*, *pater* и т. п. со значимыми индоевропейскими корнями, буржуазная индоевропеистика ограничилась ссылками на то, что данные слова восходят к «природным звукам», основанным на «детском лепете» (Kinderlaute, Lallwörter). А. Мейе считает все индоевропейские названия родства изолированными словами (mots isolés), не восходящими к какому-либо известному корню.[31])

---

[28]) Fr. Bopp, *Vergleichende Grammatik*[1], 1134.

[29]) На той же точке зрения, как и Бопп, стояли А. Кун, А. Фикк и др. Для иллюстрации идеалистической трактовки вопроса о первоначальном значении слов «отец» и «мать» характерны слова А. Фикка: «Названия отца и матери ... наполнены высоконравственным духом. Отец — это оберегатель, опекун ребенка». Цитировано по Дельбрюку (*Die indogermanischen Verwandtschaftsnamen*, Leipzig 1889, 7).

[30]) Ср. хотя бы Ch. Bartholomae, *Altiranisches Wörterbuch*, 748.

[31]) A. Meillet, *Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes*[6], 1924, 349.

Чего же можно ожидать от этимологического «искусства» в деле выявления первоначальных значений индоевропейских терминов родства? Достоверно проверенные факты сводятся к следующему.

1. **sūnus*. Сопоставление слов ст.-слав. **сынъ**, гот. *sunus*, лит. *sūnùs*, авест. *hunuš*, санскр. *sūnuḥ* даёт нам право восстановить архетип **sūnus* или **sunus* в значении «сын». Этимология этого слова вполне убедительно дана ещё древними индийскими грамматистами. Панини соединял это слово с глагольной формой *sūte, sūyatē* «она рожает» (ср. также авест. *hunāmi* «я рожаю»). Очевидно, индийские грамматисты зафиксировали то, что действительно жило в языковом сознании их современников: слова *sūnuḥ* «сын» и *sūtē* «она рожает» были в санскрите семантически соотнесены. Нет никакого основания сомневаться в том, что эти две слова связаны и этимологически. Стало быть, слово **sūnus* обозначало первоначально «рожденного» и, следовательно, выражало исключительно отношение *матери* к ребёнку. Отношение же отца к ребёнку в этом слове, естественно, первоначально не могло быть выражено.

Не все индоевропейские языки сохранили это слово. В греческом имеем υἱός (и параллельные формы ὑός, υἱύς, ὑύς). Все эти слова восходят к тому же корню, но образованы при помощи других суффиксов (**su-i̯-us, *su-i̯-os*).

В латинском языке нет слова, соответствующего слав. **сынъ**. Вместо него употребляется слово *fīlius* «сын» (ср. *fīlia* «дочь»). Это слово образовано от корня **dhē-*, имеющегося в лат. *fēmina* «женщина, самка», *fēcundus* «плодородный, плодовитый», *fēlāre* «кормить грудью, питать молоком». В славянских языках тот же корень засвидетельствован в словах **дѣти** (ед. число **дѣтѧ**) и **дѣва**. Основным значением корня **dhē-*, к которому восходят все эти слова, можно считать, вместе с Э. Банвенистом (Benveniste), «кормить грудью» или «иметь способность рожать». Следовательно, слово *fēmina* этимологически обозначало «существо, имеющее способность родить и кормить».[32]) Тот же корень представлен в слав. **доити**, первоначальное значение которого вскрывается, например, словацким *dojiť* «кормить грудью», *dojča* «грудной ребёнок», *dojka* «кормилица». Для полного уяснения первоначального значения слова лат. *filius* «сын», следует привлечь и лат. *fēlix* «счастливый», образованное при помощи того же суффикса *-l-*, как и само *filius*. Слово *fēlix* «счастливый» обозначало первоначально «наевшийся, сытый, удовлетворённый», ср. тот же семантический переход в чешском *ukojený* «удовлетворённый» от глагольной основы *kojiti* «кормить грудью».

Из всего приведённого ясно, что корень **dhē-* выражает физиологические процессы женщины и что, следовательно, слово *filius* «сын»,

---

[32]) E. Benveniste, *Le participe indo-européen en -mno-*. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, XXXIV, 1933, 15.

образованное от этого корня, могло обозначать только отношение *матери* к ребёнку и не могло обозначать отношение отца.

Факты германских языков подтверждают лишний раз правильность этого тезиса. В древнеисландском языке имеется слово *burr* «сын», в древнеанглийском *byre* «сын», сопоставимое с гот. *baúr* «рожденный» и восходящее к корню **bher-* «носить», ср. гот. *baíran* «носить, страдать, рожать», нем. *ge-bären* «рожать» и т. д. Следовательно, германские названия «сына», равно как и латинское, связаны этимологически с глаголом, обозначавшим «рожать» и выражают, таким образом, отнюдь не отцовское отношение к ребёнку, а отношение *матери* к сыну.

Анализ индоевропейских названий «сына» противоречит утверждениям буржуазных лингвистов и этнографов об «исконности» индоевропейского патриархата. Слово **sūnus* (во всех его рефлексах), лат. *filius*, гот. *baúr* свидетельствуют об исконном наличии *материнского счёта родства.*

Центральное место в составе индоевропейских терминов родства занимают следующие слова:

2. **mātēr* «мать»: санскр. *mātār-*, авест. *mātar-*, тох. A *mācar*, тох. B *mācer*, арм. *mair*, слав. мати, род. п. матєрє, лит. *mótė*, гр. атт. μήτηρ, дор. μάτηρ, лат. *māter*, др.-в.-нем. *muoter*, др.-англ. *mōdor*, др.-ирл. *māthir*. Соответствующее слово отсутствует в готском.

По данным сравнительной этнографии мы знаем, что при материнском строе дети называют «матерью» не только женщину, действительно их родившую, но всех женщин, входящих в разряд матери: её (родных, двоюродных и т. д.) сестёр. Естественно было бы предполагать, что в индоевропейской терминологии родства остались следы этой характернейшей черты материнского строя. И действительно, латинское слово *matertera* обозначает «сестру матери, материнскую тётку», т. е. женщину, по правилам материнского рода входящую в «класс» матери. Слово *matertera* является явно производным от слова *māter* «мать». Суффикс *-tera* был присоединён к основе *māter* лишь после того, как в результате разложения материнского строя появилась необходимость различать родную мать (в современном смысле этого слова) от её сестёр. В других индоевропейских языках материнская тётка получила вторичные названия.

3. **pətēr* «отец»: санскр. *pitár-*, авест. *ptā*, тох. A *pāsar*, тох. B *pātar*, арм. *hayr*, гр. πατήρ, гот. *fadar* (редко; обычно встречается *atta)*, нем. *Vater*, англ. *father*, др.-ирл. *athir*.

В условиях кросскузенного брака «отцами» ребёнка является группа мужчин (братьев, двоюродных братьев), состоящая в брачной связи с группой «сестёр» (родных и двоюродных). Следовательно, можно ожидать, что и в древнейшей индоевропейской терминологии родства

сохранились следы этого положения вещей. Действительно, в ряде языков «брат отца, отцовский дядя» обозначается производным от слова **pətēr*, ср. санскр. *pítṛvyaḥ* «брат отца», авест. *tūirya* «то же», арм. *yauray* «то же», гр. *πάτρως* «отцовский дядя», лат. *patruus* «то же», др.-в.-нем. *fetiro, fatureo* «дядя» (нем. *Vetter* «двоюродный брат, т. е. дядин сын»), англо-сакс. *fædera* «брат отца».

Из приведённых фактов вытекает, что индоевропейское название «отцовского дяди» является вторичным образованием от слова **pətēr* и что, следовательно, было время, когда слово **pətēr* обозначало не только родного отца (в современном понимании этого термина), но и тот круг лиц, который при материнском строе обозначался одним и тем же «классификаторским» термином «отец», охватывая весь брачный класс отца, с его «братьями» (см. выше в цитате из Ф. Энгельса).

В приложении к книге A. Giraud-Teulon « Les origines du mariage et de la famille » Фердинанд де Соссюр заявляет: «не следует, действительно, ожидать от лингвистики этимологического объяснения данных слов: усилия в этом направлении не заслуживают серьёзного внимания» (стр. 494).

Общеизвестно, какое значение приписывает буржуазная лингвистика и этнография тому обстоятельству, что в славянских (и балтийских) языках старинное индоевропейское название «отца», соответствующее лат. *pāter*, якобы не сохранилось. Отсутствие этого термина в славянском словарном фонде должно служить доказательством того, что славянское общество неспособно было развить высший тип общественной организации и что славяне вообще неспособны к самостоятельным государственным образованиям. Лингвистика здесь перекликается с буржуазной историей, выдвигавшей «норманнскую» теорию возникновения Киевского государства.

Как показал французский славист М. Вэ (Vey), индоевропейское слово, соответствующее лат. *pater*, скрыто в слав. слове **стрꙑи** «отцовский дядя»,[33]) ср. словац. *strýc, strýko* «отцовский дядя». С точки зрения исторической фонетики переход группы **pt-* в *st-* в славянских языках можно проследить в болг. *пáсторок, пáстрок* «отчим».[34]) Форма *пá-сторок* образована при помощи префикса *па-*, обозначающего «неподлинность»: ср. *пáсынок* (к сын), *пá-дчерица* (к дочь), словац. *pa-kľúč* «отмычка» и т. д.[35]) Слово *пáсторок* толкуется, следовательно, как «неподлинный отец». В данном случае форму *-сторок* можно возвести в и.-е. **ptor-* из **pətor-*. Если это верно, то и слово **стрꙑи** «отцовский дядя» без труда объясня-

---

[33]) M. Vey, *Slave* st- *provenant d'i.-e.* *pt-. BSL XXXII, 1931, 65—67.

[34]) Ср. Найден Геров, *Речник на български език*, т. IV, 1899, стр. 16: *Пасторок*... втор баща, отчюх, отчюв, притатко; русск. пасынок.

[35]) В ряде языков слово, соответствующее болгар. *пáсторок*, обозначает не «отчима», а «пасынка», ср. словац. *pastorok* «пасынок». В этом нет ничего удивительного: в ряде языков одно и то же слово употребляется для обозначения обоюдного родственного отношения, ср. ст.-слав. праштоуръ «правнук», польское *praszczur* «правнук», укр. *пращур* «правнук» при русск. *прáщур* «отец прадеда». Ср. G. Iljinskij, *Der Reflex des indogermanischen Diphtongs ēu im Urslavischen*, Archiv für slavische Philologie XXIX, 1907, 495.

ется как *$p(ə)trū\underset{^}{i}$-. Словообразовательные приёмы славянской формы тождественны со словообразовательными приёмами санскр. формы *pítr̥vyaḥ* из **pətruịos* «отцовский дядя». Итак, слав. слово стрьи сохранило старый корень **pətēr*. В таком случае остаётся только признать, что слово, соответствующее и.-е. **pətēr*, в славянских, равно как и в остальных и.-е. языках охватило некогда весь круг лиц, называющихся в обществе с материнским строем «отцами», т. е. родного отца с его братьями. Этот факт лишний раз подтверждает общее положение о том, что в индоевропейской терминологии родства сохранились следы архаической «классификаторской» родовой терминологии, возникшей в лоне материнского родового строя.

4. **bhrātēr* «брат»: санскр. *bhrātar-*, авест. *brātā*, тох. А *pracar*, тох. В *procer*, арм. *elbair*, ст.-слав. братръ, братъ, др.-прусск. *brote, brāti*, лит. *brólis*, лат. *frāter*, гот. *broþar*, нем. *Bruder*, др.-ирл. *brāthir* «брат по вере». Соответствующие слова отсутствуют в этом значении в албанском и греческом. Греческое φράτηρ, φρήτηρ обозначает «члена фратрии».[36–37]

Мы знаем, что в условиях кросскузенного брака моими «братьями» считаются не только одноутробные дети моей матери, но и дети её сестёр. Индоевропейские языки сохранили следы этой древнейшей терминологии. В санскрите название «двоюродного брата» (т. е. сына материнской тёти) представлено словом *bhrātrvyaḥ* < **bhrātrujos*. Это слово является производным от *bhrātar-*, образованным по тому же образцу, как *pítrvyaḥ* «отцовский дядя» от *pitár-* «отец». Суффиксальная дифференциация могла появиться лишь тогда, когда в процессе разложения материнского рода возникла необходимость дифференцировать названия родных братьев (в современном понимании этого термина) и детей материнской сестры, resp. отцовского дяди, первоначально также называемых «братьями».

Аналогичный семантический переход наблюдается в латинском языке, где слово *frāter* первоначально обозначало несомненно «члена фратрии, члена моего разряда». После распада материнского рода возникла необходимость различать родных братьев с одной стороны, детей материнской тёти и отцовского дяди, с другой. Появились вторичные термины *frāter germānus* «родной брат» (отсюда испанское *hermano* «брат»), с одной стороны, и *frāter consobrīnus* «двоюродный брат» (отсюда франц. *cousin*) — с другой. Этимология слова *consobrīnus* наглядно вскрывает первоначальное значение термина *frāter consobrīnus:* он является продолжением формы **con-su̯esrīnos* к существительному *soror*

36–37) Ср. Paul Kretschmer, *Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache*, 1896, II, 210.

«сестра»; следовательно, этим термином первоначально обозначался «сын сестры матери», т. е. материнской тёти.[38])

Древнейшая индоевропейская терминология родства и здесь сохраняет основные черты «классификаторской» родовой терминологии, употребляя для членов одного разряда те же термины.

5. **dhughətēr* «дочь»: санскр. *duhitár-*, авест. *dugədar-*, тох. А *ckācar*, тох. В *tkācer*, арм. *dustr*, ст.-слав. дъшти, род. п. дъштере, лит. *duktė̃*, гр. θυγάτηρ, гот. *daúhtar*, нем. *Tochter*. Соответствующие слова отсутствуют в кельтских и италийских языках (ср. лат. *fīlia)*.

Слова **mātēr*, **pətēr*, **bhrātēr*, **dhughətēr* трактуются обыкновенно как основы на *-r*.[39]) Многие компаративисты, однако, выделяют аффикс *-tēr-*, *-ter-*, *-tr-* как особый словообразовательный элемент, повторяющийся во всех приведённых словах.[40])

Компаративисты часто смешивают основы на *-ter* (типа лат. *pāter*) с основами на *-r*, поскольку и те другие представлены именно в кругу терминов родства, ср. санскр. *svásar-* «сестра», *śvaśrūḥ* «свекровь», *devār-* «деверь» и др.

Как относится традиционная компаративистика к семантической стороне аффикса *-ter*? Хирт, как мы видели, объединяет аффиксы *-ter* и *-tor* в общую категорию nomina agentis. Также трактуется данный вопрос у Эрнеста Френкеля (Fraenkel).[41]) Часто указывают на то, что семантическая разница между образованиями на *-ter* и на *-tor* неуловима.[42])

Исследователи не всегда различают с достаточной чёткостью подлинные nomina agentis типа гр. σωτήρ, «спаситель», θυτήρ «жертвователь», ἀροτήρ «пахатель», ἀλεξητήρ «защитник», легко образуемые от глагольной основы и соотнесённые с ней, и слова типа гр. πατήρ, θυγάτηρ, не поддающиеся соотнесению с глагольной основой. Можно утверждать, что первый тип слов на *-tēr* (гр. σωτήρ) выступает в качестве своеобразного дублета к словам на *-tōr* (δώτωρ «даритель»). Это было наглядно показано Банвенистом в одной из его последних работ.[43]) Слова же типа πατήρ ни по своему значению, ни по своей морфологической структуре не являются nomina agentis.

---

[38]) Аналогичный семантический переход наблюдается в немецком языке, где др.-в.-нем. *fetiro* «отцовский дядя» дало нем. *Vetter* «двоюродный брат (по отцу)», ср. также лат. *frāter patruelis* «двоюродный брат по отцу». Ср. George Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, 79.

[39]) A. Meillet, *Introduction*, 349—350. — Ср. также: « L'élément *-r-* figure d'une manière qui semble caractéristique dans les substantifs qui désignent des personnes. On le trouve notamment dans les principaux termes indiquant la parenté: gr. πατήρ, δαήρ etc. » (A. Meillet, *Essai de chronologie des langues indo-européennes. La théorie du féminin*. BSL XXXII, 1931, 21.)

[40]) Ср., напр. A. Meillet, *Introduction*, 127, а также Hermann Hirt, *Indogermanische Grammatik* III, Das Nomen, 1927, 68. Хирт считает слова типа лат. *pater* основами на *-r* (*r*-Stämme), но указывает, что они относятся к категории nomina agentis на *-ter* и *-tor*. И. Баудиш (J. Baudiš) прямо говорит об основах на *-ter* (*ter*-kmeny), ср. *Struktura jazyků indoevropských*, Bratislava 1932, 90.

[41]) *Geschichte der griechischen Nomina agentis auf* -τήρ, -τωρ, -της (-τ). I, 1910, II, 1912.

[42]) »Ein Unterschied in der Bedeutung ist nicht erkennbar«. Risch, *Wortbildung der homerischen Sprache*, 25.

[43]) E. Benveniste, *Noms d'agent et noms d'action en indo-européen*, 1948.

А. Мейе в свое время справедливо указывал, что термины родства на *-tēr* склоняются иначе, нежели nomina agentis. Флексию терминов родства типа πατήρ Мейе сопоставлял с флексией слов типа гр. γαστήρ «желудок», лат. *u̯en-ter* «живот».[44])

Показательно, что суффикс *-tēr-*, *-ter-*, *-tr-* встречается в ряде слов, обозначающих «внутренние органы» или вообще «внутренности»: санскр. *āntrám*, лат. *uterus* «влагалище», гр. ὕστρος «живот», ὑστέρα «утроба», ἔντερα «внутренности, кишки», ст.-слав. жтроба, ıатра «печень» и др. Не вдаваясь в этимологию этих слов, можно без труда выделить суффикс *-tēr-*, *-ter-*, *-tr-*, обозначающий, очевидно, «внутри». Этот же элемент, по нашему убеждению, налицо в словах типа лат. *in-tr-a* «внутри», *ex-tr-a* «снаружи». Значимость суффикса *-tēr-*, *-ter-*, *-tr-* не подлежит сомнению, хотя А. Мейе и утверждает, что «индоевропейские словообразовательные суффиксы были лишь знаками, лишёнными сами по себе собственного значения».[45]) Мы же убеждены, что в языке осуществляется диалектическое единство формы и значения: каждое значение оформлено и каждая форма — значима. Если так, то и элемент *-tēr-* должен был быть когда-то носителем определённого (пусть очень широкого) значения.

Что мог означать элемент *-tēr-* в словах типа **pətēr*, **mātēr*, **bhrātēr?*

В условиях материнского рода устойчивой социальной единицей был клан матери. Дочери не покидали клана своей матери. Наоборот, мужья дочерей покидали свой клан и переходили в клан своих жён. В условиях материнского рода господствует принцип матрилокальности брака.[46]) Если предположить, что элемент *-tēr-* в словах типа **mātēr* имел первоначально то же значение, что и в словах типа γαστήρ «желудок», т. е. обозначал «расположение внутри чего-либо», то нет ничего удивительного в том, что этот элемент присущ названию дочери (гр. θυγάτηρ), остающейся в клане, её родителям и братьям, но не присущ названию сына, покидающего после достижения совершеннолетия свой клан, чтобы перейти в клан своей жены.

Характерно, что элемент *-tēr-* не встречается в словах, обозначающих отношения свойства́. В словах, восходящих к архетипам **su̯ek'rūs*

---

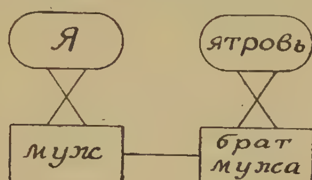
[44]) A. Meillet, *Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave*, Paris 1902, 167. Ср. также Pierre Chantraine, *Grammaire homérique*, Paris 1942, 215.

[45]) A. Meillet, BSL XXXII, 25.

[46]) Матрилокальность брака теснейшим образом связана с весьма существенным экономическим мероприятием: «зять» обязан доставлять продукты питания для родителей своей жены. По сообщению А. Хоуитта у австралийского племени курнаи существует следующий обычай: если мужчина убил пять опоссумов, то он должен отдать двух родителям жены и двух её брату; если он убил одного ленивца, то он должен его отдать родителям своей жены; если он убил двух, то второго он должен отдать своим родителям; если трёх, то двух — родителям жены, а одного — своим родителям, оставляя только печень для жены и для себя (ср. A. W. Howitt, *Native Tribes of S. E. Australia*, London 1904, 756—764). — Цитировано по Дж. Томсону.

«свекровь», **sụek'uros* «свекор», **daiụēr* «брат мужа, деверь», **gəlōụ-* «сестра мужа, золовка», этого элемента нет. Лишь в одном единственном слове, обозначающем «жену брата мужа, ятровь», имеется элемент *-ter-*, *-tr-:* ср. санскр. *yātar-*, ст.-слав. ѩтрьи, gen. ѩтръве, лит. *jenter*, гр. (горем.) ἐνάτερ и ἐνατρί (дат. падеж един. числа), лат. *ianitrīcēs*. Эти формы позволяют восстановить архетип **ịenətēr-*. Это слово обозначает, с точки зрения женщины, жену брата её мужа.

При кросскузенном браке, где группа «сестёр» вступает в брак с группой «братьев», жена брата моего мужа и *является моей сестрой* (родной, двоюродной), т. е. именно членом *моего* клана. Вот почему в слове, обозначающем «ятровь», элемент *-ter-* вполне закономерен.



Употребление форматива со значением «внутри» при выражении разных степеней родства в разных языках хорошо известно. Так, напр., в современном вьетнамском (аннамитском) языке имеются слова *ông-nôi* «дед с отцовской стороны» и *bá-nôi* «бабушка с отцовской стороны», причём вторая часть слова *nôi* обозначает именно «внутри».

Словообразовательный форматив **-tēr* объединяет, таким образом, все те названия кровного родства, которые в условиях кросскузенного брака в его наиболее архаичной форме объединяли «внутренний круг» экзогамной единицы: между ними браки не допускались. Форматив **-ter* в словах **mātēr*, **pətēr*, **bhrātēr*, **dhughətēr*, **bhrātrujos*, лат. *matertera*, а также в **pətruịos*, **ịenətēr* чётко выражал не только родовые, но и общественные взаимоотношения древнейшего общества.

Лингвистический анализ основных терминов кровного родства в индоевропейских языках показал, что индоевропейская терминология родства возникла в глубокой древности в условиях материнского рода и что она построена на принципе *гиноцентрическом*. Этот принцип отражает такое положение вещей, при котором ориентировочной точкой родственных отношений является женщина. Гиноцентрический принцип родственной терминологии предполагает существование материнского счёта родства (матрилинейности) и переход мужа в клан жены (матрилокальность брака).

Названия «брата матери» и «сестры отца» в индоевропейских языках

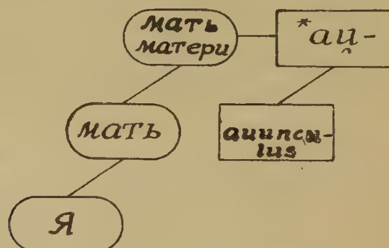
Мы видели, что в условиях кросскузенного брака материнская тётка (сестра матери) обозначается тем же термином, как и родная мать (ср.

лат. *māter* — *matertera*). Отцовский дядя (брат отца) обозначается тем же термином, как и родной отец (ср. лат. *pater* — *patruus*). Как же обстоит дело с обозначением «материнского дяди» (брата матери) и «отцовской тётки» (сестры отца)?

По данным сравнительной этнографии мы знаем, что в материнской семье особую роль играет *брат матери*. Пережиточный институт авункулата хорошо засвидетельствован у ряда народов. Ссылаясь на Тацита, Фр. Энгельс указывает, что у германцев «брат матери смотрит на своего племянника, как на сына; некоторые даже считают кровные узы, связывающие дядю с материнской стороны и племянника, более священными и тесными, чем связь между отцом и сыном, так что, когда требуют заложников, сын сестры признаётся бо́льшей гарантией, чем собственный сын человека, которого хотят связать поручительством».[47] Однако в индоевропейских языках наблюдается значительный разнобой в обозначении «материнского дяди», не позволяющий восстановить общую древнюю форму этого термина. В связи с этим О. Шрадер и др. считают вероятным, что «название брата матери в праязыке не только не засвидетельствовано, но вовсе и не существовало».[48]

Несомненно родственными можно считать следующие слова: лат. *avunculus*, лит. *avýnas* «дядя», др.-прусск. *awis*, ст.-слав. ѹи (ср. словац. *ujo, ujko, ujec*) «материнский дядя», англо-сакс. *éam*, др.-в.-нем. *ōheim* «дядя», кимр. *ewythr*.

Все эти слова являются производными основы **au̯*, к которой восходят напр. гот. *awo* «бабушка», гр. *αἶα* «мать-земля», лат. *avus* «дед». Трудно сомневаться в том, что непроизводная основа **au̯-* обозначала первоначально одного из предков *во втором поколении*, т. е. бабушку



или деда, быть может, «брата бабушки с материнской стороны». Значение же «брат матери», закреплённое в ряде языков за производным типа лат. *avunculus*, является результатом позднейшего семантического сдвига. Такой семантический сдвиг не мог произойти без серьёзных социальных сдвигов, затронувших всю систему материнского рода как целое. Если представители буржуазной индоевропеистики

[47]) Фридрих Энгельс, *цит. произв.*, стр. 273.

[48]) O. Schrader, *Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde*, II, 1929, 129.

довольствуются констатированием, что в древнейшем языке индоевропейское название «материнского дяди» отсутствовало, то это только лишний раз доказывает оторванность буржуазной лингвистической мысли от истории и праистории коллектива, говорящего на изучаемом языке. При учёте того исключительно важного общественного положения, которое занимает в материнском роде именно брат матери, такое агноститическое «объяснение» для марксистской лингвистики неприемлемо.

Выход из этого тупика был подсказан ещё самим Морганом. Исходя из положения, что кросскузенный брак, в котором «группа сестёр, состоящих в браке с мужьями каждой из них»,[49]) является как бы зачатком, необходимой ступенью развития родового строя вообще, Морган показал, что позднейшие изменения социальной структуры общества, приведшие в конечном итоге к созданию отцовского рода и моногамии, должны были затушевать, серьёзно изменить старые родовые отношения материнского рода. Морган указывает, что в индоевропейских языках «не существует термина для дяди и тёти вообще и особых терминов для этих видов родства с отцовской и материнской стороны, которые были бы общими для всех арийских (индоевропейских, А. И.) диалектов. Мы имеем *pitrvya*, *πάτρως* и *patruus* для дяди с отцовской стороны в санскрите, греческом и латинском, **стрыи** в славянском и общий термин — *eam*, *oom* и *oheim* в англо-саксонском, бельгийском и немецком языках». И далее: «нельзя себе представить, чтобы в начальном арийском („индоевропейском", А. И.) языке не было термина для дяди с материнской стороны, родства, имевшего у варварских племён при родовом строе такое выдающееся значение». Вот почему, по словам Моргана, «необходимо должен был существовать особый термин для дяди с материнской стороны, который относился бы только к родным и различным двоюродным братьям матери. Отнесение этого термина ко всем членам этой категории, ряд которых не мог быть дядьями при моногамии, заставило . . . оставить этот термин. Ясно, что арийской (= индоевропейской, А. И.) системе должна была предшествовать какая-нибудь другая система родства».[50])

Из этого ясно, что материнский дядя должен был когда-то называться каким-нибудь другим термином и что этот исконный, старый термин был впоследствии заменён по языкам другими словами, в частности производными от основы **au̯*. Этим исконным, старым термином, обозначавшим в древнейшую эпоху «материнского дядю», был, — как убедительно показал Дж. Томсон, — термин **su̯eḱuros*.[51])

Это слово представлено по языкам в следующих формах: санскр. *śvá́śuras* «свекор, отец мужа», авест. *xvasurō*, арм. *skesrair*, *skesur*, алб.

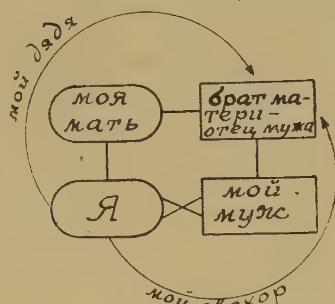
---

[49]) Л. Морган, *Древнее общество*, 283.
[50]) Там же, стр. 284.
[51]) *Studies in Ancient Greek Society*, 80.

vjehєr, гр. ἑκυρός, лат. *socer*, кирм. *chwegr*, гот. *swaíhra* «свекор», *swaíhrō* «свекровь», др.-в.-нем. *swigar*, нем. *Schwäher, Schwiegervater*, лит. *šẽšuras*, слав. свєкръ.

Как видно, это слово представлено во всех индоевропейских языках. Каково же было первоначальное его значение?

Дж. Томсон исходит из того, что в языках, отражающих классификаторскую систему родства, названия брата матери и отца мужа фактически совпадают. Это вполне естественно, если при кросскузенном браке с гиноцентрической системой родовой терминологии моим мужем является мой двоюродный брат. Мой двоюродный брат, он же и мой муж, является сыном брата матери или сестры отца. Следовательно, его отец является одновременно *и* моим (материнским) дядей, *и* моим свекром.



Поскольку тождество «брата матери» и «отца мужа» было дано самой действительностью, не было никаких оснований дифференцировать эти виды родства и свойства́. Слово **su̯ek'uros* обозначало одновременно и брата матери и отца мужа точно так же, как слово **su̯ek'rūs* обозначало и сестру отца, и мать жены.

Это остроумное объяснение, подсказанное еще Морганом и вскрытое Томсоном, полностью подтверждается лингвистическими данными.

Сопоставление слов **su̯esor* «сестра» и **su̯ek'uros* «свекор», **su̯ek'rūs* «свекровь» позволяют выделить значимый элемент **su̯e-*. Ещё Дельбрюк толковал этот элемент **su̯e-* как форму местоимения, представленного санскр. *sva-*, лат. *suus* «свой». А. Мейе сопоставил слово **su̯e-sor* «сестра» с формами женского рода числительных типа санскр. *ti-sráḥ, cáta-sraḥ*, авест. *ti-šrō, čatañrō* и т. д. «Уже давно, — писал Мейе, — эти ,,формы женского рода" были признаны сложными словами, второй элемент которых **sor-, *sr-* тождественен со вторым элементом слова, обозначающего женское лицо, относящееся к данной группе, а именно **swe-sor, swe-sr-* (санскр. *svásar-*, лат. *soror*), слово, образованное явно по другому образцу, нежели слова, обозначающие «отца», «мать» и «брата».[52]) Это толкование принимали Ваккернагель и Дебруннер.[53]) Прибавим, что вто-

[52]) A. Meillet, BSL XXXII, 8.
[53]) *Altindische Grammatik* III, 349.

рой элемент слова *su̯e-sor встречается, повидимому, в лат. *uxor* (т. е. *uk-sor*) «супруга»; первый корень **uk-* тождественен со славянским корнем, представленным словами *на-ук-а, в-ык-нѫти* «привыкать», хотя такие учёные, как Вальде, считают такое сопоставление «совершенно неправдоподобным».[54]) Форматив **sor*, появляющийся в слове *su̯e-sor* «сестра» и лат. *uk-sor* «супруга», объясняется теперь иначе: Банвенист видит в нем тот же корень, как и в авест. *hāriṡī* «женщина».[55]) Таким образом, первоначальное значение слова **su̯esor* «сестра» может быть истолковано (со всеми оговорками) как «своя женщина», «женщина, относящаяся к своему кругу лиц» и т. п.[56])

Весьма вероятно, что первоначально в индоевропейском языке *не было* общего понятия «сестра» и «брат».

В ряде языков, отражающих, повидимому, более древнюю степень развития, чем дошедшие до нас индоевропейские языки, старшая сестра и младшая сестра обозначаются разными словами, ср. например венгер. *nővér* «старшая сестра», *húg* «младшая сестра», или вьетнамское *chị* «старшая сестра», *em* «младшая сестра». То же самое относится, естественно, и к названиям старшего и младшего брата: венгерское *bátya* «старший брат», *öcs (ém)* «(мой) младший брат», вьетнамское *anh* «старший брат», *em* «младший брат» и мн. др.

Индоевропейская родовая терминология отражает такую родовую организацию, в которой различия между старшим и младшим братом, между старшей и младшей сестрой были утрачены, т. ч. могли появиться более отвлечённые, общие названия «брата» и «сестры». Л. Морган предполагал, что «термины *брат* и *сестра* стали . . . абстрактными и были вновь созданы, так как при туранской системе старшие и младшие братья и сёстры назывались различно; с другой стороны, эти различные термины применялись к категориям, в которые входили и не родные братья и сёстры. В арийской („индоевропейской", А. И.) системе эти различия были отброшены, и эти виды родства впервые стали пони-

---

54) A. Walde, *Lat. etym. Wtb.*, 695. — Ср., однако, Ernout-Meillet, *Dictionaire étymologique de la langue latine*, 2e éd. 1939, p. 1143.

55) E. Benveniste, *Un nom indo-européen de la « femme »*, BSL XXXV, 104.

56) В новейшей литературе находим иное, и, как нам кажется, весьма удачное толкование и.-е. слова **su̯esor*. Витторе Пизани (Vittore Pisani) возводит это слово к сочетанию **su+ésōr*, где первый элемент **su* (<**su̯e*) обозначает «свой, собственный», а второй соответствует и.-е. корню **esor, esr-* «кровь», ср. гр. ἔαρ, лат. *as(s)er*, санскр. *áṣr-k, asra-*, сюда же, очевидно, и гр. (гомер.) ἰχώρ «кровь богов» и хет. *eshar* «кровь» (*Miscellanea G. Galbiati*, Vol. III = *Fontes Ambrosiani* XXVII, Milano 1951, стр. 7 и след.).

В семантическом отношении сочетание «своя кровь» для обозначения близкого родственника имеет параллели и в других языках, ср. венг. *testvér* «брат, сестра́», *testvérek* «братья и сёстры», нем. «Geschwister». Венгерское слово является сочетанием двух существительных *test* «тело» и *vér* «кровь».

Не исключено, что и славянское образование свекры, свекръве отражает семантическое влияние («народная этимология»?) со стороны существительного *кры «кровь». Таким осмыслением можно было бы объяснить задненёбное *k* (вместо ожидаемого *s* из и.-е. *k'* (в словах *свекры, свекръве* и *свекор*. (Корректурное примечание.)

маться абстрактно».[57]) Другими словами, отсутствие в индоевропейских языках различия между обозначением старшего и младшего брата, старшей и младшей сестры, свидетельствует о сдвиге внутри родовой организации, свидетельствует об одном из этапов перехода от классификаторской к описательной системе родства, от кросскузенного брака к моногамии.

В описательных системах родства наблюдаются сложные слова, содержащие указания на данное родственное отношение: такими сложными терминами являются нем. *Großvater,* англ. *father-in-law* «свекор», русск. *двоюродный брат* и т. п. В языках, сохранивших элементы классификаторской системы, такие сложные слова отсутствуют, но существуют сложные слова другого типа, не выражающие непосредственно то или иное родственное отношение.

В этом смысле весьма поучительны венгерские термины родства. «Старшая сестра» в венгерском языке называется *nővér*. Первая часть слова *nő* обозначает «женщина», а вторая часть *vér* — «кровь». В слове *testvér* «брат или сестра» элемент *vér* «кровь» повторяется. Венгерское *testvér* обозначает дословно «тело-кровь».

Выше было установлено, что слова **su̯ek̑rūs* и **su̯ek̑uros* обозначали первоначально «сестру отца» и «брата матери». В данных словах легко выделяется форматив **su̯e-,* повторяющийся в слове **su̯esor* «сестра». Повидимому, в рамках родовой терминологии, этот значимый элемент обозначал коллатеральное родство, связанное с брачным запретом: по брачным правилам рода, организованного по принципу кросскузенного брака, мужчина не может вступить в брак со своей кровной сестрой или со своей «ортокузиной» (дочерью материнской тёти или отцовского дяди). Точно также, в старшем поколении, моя мать не могла вступить в брак со своим братом (моим материнским дядей и свекром). Можно догадываться о том, что форматив **su̯e-* в словах как **su̯ek̑rūs* и **su̯esor* отражал в той или иной степени запреты кровосмешения.

Почему же слово **su̯ek̑uros,* обозначавшее некогда «материнского дядю», сохранилось во всех индоевропейских языках не в этом старом значении, а в значении «свекор»?

Пример латинского языка, где сохранилось непроизводное *au̯us* «дед» наряду с производным *avunculus* «материнский дядя», помогает нам вскрыть общее направление семантического перехода, вызванного закреплением термина **su̯ek̑uros* в значении «свекор».

Трудно сомневаться в том, что первоначально термин **au̯-* обозначал не предка отца, а именно предка *матери,* т. е., что этот термин является проявлением общего матрилинеарного счёта родства, отражённого в древнейшей индоевропейской родовой терминологии. Мог ли этот термин обозначать «отца матери»? Если признать, что матрилинейный счёт родства основан на *невозможности* установить отца ребёнка (что

---

[57]) *Древнее общество,* стр. 283.

объясняется наличием группового брака), то термин **au̯-* никак не мог обозначать *отца* матери, ибо её отец был неизвестен. Термин **au̯-* мог, следовательно, обозначать лишь наиболее авторитетное мужское лицо, относящееся к тому же поколению, к которому относилась мать матери; этим авторитетным мужским лицом мог быть только *брат моей бабушки*.

Буржуазная лингвистика толкует термин **au̯-* неизменно как «материнский дед». Но почему же тогда производная от этого слова, уменьшительная форма *avunculus* обозначает «брата матери»? Как справедливо указал Дж. Томсон, исторически засвидетельствованное значение лат. термина *avunculus* объяснимо лишь в том случае, если предположить, что его первоначальное значение было «маленький или молодой *au̯us*» и что *avunculus* был по отношению к моей матери тем же, чем был *au̯us* по отношению к матери моей матери.[58])

Общественные сдвиги, обусловившие этот семантический переход, не могут пока быть восстановлены во всех подробностях. Вероятно, что в материнской семье, на одном из этапов её развития, главой «клана» был именно брат материнской бабушки, и что в последствии эта функция была перенесена на брата матери (авункулат).

Подведём итоги: слова **sueḱrūs* и **sueḱuros* первоначально обозначали «сестру отца» и «брата матери». При кросскузенном браке эти лица были матерью или отцом моих (действительных или возможных) мужей. После распада материнского рода и при переходе к патриархату и моногамной парной семье значения этих слов должны были неизбежно дифференцироваться: в самой действительности произошли такие сдвиги, что стало невозможным обозначать два ныне совершенно разных родственных отношения одним термином. За словами **sueḱrūs* и **sueḱuros* было оставлено значение «мать мужа» и «отец мужа», т. е. «свекровь» и «свекор». Вследствие такой дифференциации значений «освободились» места для обозначения материнского дяди и отцовской тёти. Новые названия «материнского дяди» представлены по языкам, как уже было сказано, производными от слова **au̯* (слав. *ujь*, лат. *avunculus*, нем. *Oheim* и т. д.). Точно также название отцовской тёти представлено по языкам вторичными, новейшими словами, ср. русск. *тётя*, лат. *amita*, фр. *la tante* и т. д.

Названия «племянника» и «племянницы»

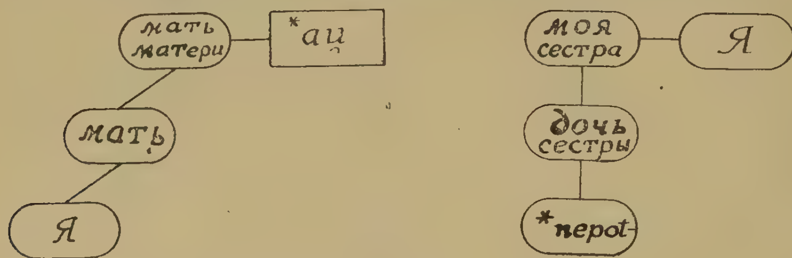
Как известно, в индоевропейских языках одно и то же слово, восходящее к архетипу **nepot-* или **anepōtios* употребляется для обозначения «внука» и «племянника», ср. санскр. *nápāt* «внук», авест. *napā* «внук», лит. *nepuotis* «внук», лат. *nepōs, nepōtis* «внук», но: др.-исл. *nefe*

---

[58]) Ср. G. Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, 1949, 80; *Aeschylus and Athens*, 1945, 403.

«племянник», гот. *niþjis* «племянник», ст.-слав. нети, род. п. нетере «племянник».[59])

Есть все основания предполагать, что первоначально термины **aṷ* и **nepot* были соотнесены: если мой **aṷ* был братом матери моей матери, то я был его **nepot*. Слово **nepot* объяснялось ещё у Панини как «незащищённый». На основании греческой формы ἀνεψιός в значении «двоюродный брат, племянник» архетип часто реконструируется также как **anepōtios*. Оставим в стороне вопрос этимологии этого слова и рассмотрим условия, при которых **nepot*, обозначавшее первоначально «внучатого племянника», в некоторых языках приобрело значение «племянник», а в других — «внук». Для этого надо в первую очередь иметь в виду, что в классификаторской системе родства понятие «племянник» не кроется с современным значением этого слова в европейских языках.



«Племянниками» называются сыновья и дочери сестры (если говорящий мужчина), сыновья и дочери брата (если говорящий — женщина). С точки зрения женщины, дети её сестры входили в тот же разряд, как и её собственные дети, т. е. считались её «сыновьями» и «дочерьми». Точно также с точки зрения мужчины дети его братьев были его «сыновьями» и «дочерьми». В классификаторской системе родства понятие «племянник» и «племянница» покрывает как раз тот круг лиц, который совпадает с разрядом «кросскузенов» моих сыновей и дочерей. А при наличии кросскузенного брака именно кросскузены моих детей и будут их (действительными или возможными) мужьями и жёнами.[60])

В некоторых языках сохранились следы дифференциации между ортокузенами и кросскузеннами. Так, например, ирл. *niae, necht* обозначает не просто «племянника» (в современном значении этого слова), а только «сына или дочь сестры» (если говорящий мужчина). Сербское *nȅćāk* обозначает тоже лишь «сына *сестры*» (а не сына брата).

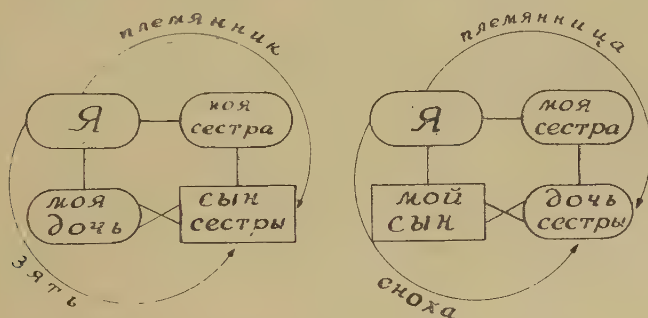
Из сказанного можно предварительно сделать следующий вывод: слово **nepot* обозначало первоначально «внучатых племянников», т. е. внуков (и внучек) сестры мужчины или брата женщины.

[59]) Ср. древнерусскую форму нети «племянник» в договоре Игоря 945 г. *Повесть временных лет*. Часть первая, под ред. В. П. Адриановой-Перетц, АН СССР, М.-Л. 1950, стр. 34.

[60]) G. Thomson, *Studies in Ancient Greek Society*, 80; *Aeschylus and Athens*, 403.

Нетрудно понять, почему в ряде языков (напр. в санскрите, в латинском и т. д.) слово, обозначавшее первоначально «*внучатого* племянника», стало обозначать «внука»: Этот семантический переход связан с устранением института авункулата. Более сложным представляется объяснить семантический переход «внучатый племянник» — «племянник» (в первом поколении), представленный другими языками (славянскими, германскими и др.).

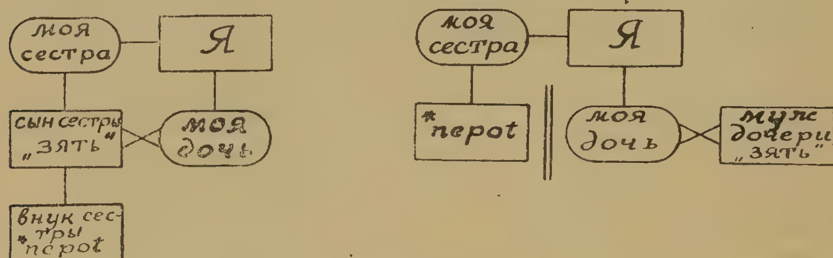
Надо помнить, что в материнском роде «племянник» (т. е. кросскузен моих «детей») является одновременно мужем моей дочери. Точно также «племянница» (т. е. кросскузена моих «детей») является женой моего сына. В современной описательной терминологии муж моей дочери называется моим «зятем», жена моего сына — моей «снохой». Графически эти отношения можно изобразить следующим образом:



Дж. Томсон предполагает, что старым названием «племянника», который был ф а к т и ч е с к и мужем моей дочери, было слово, представленное по языкам формами санскр. *jāmātar-* «зять», авест. *zāmātar* «зять», гр. *γαμϕρός* «зять», лат. *gener* «зять», лит. *žéntas*, ст.-слав. зѧть, алб. *dëndër*. Когда в результате сдвигов внутри материнского рода кросскузенный брак был отменён и, следовательно, мужем моей дочери больше не мог стать её кросскузен, то явилась необходимость различать между «мужем дочери» (т. е. зятем) и «сыном сестры или брата» (т. е. племянником в современном понимании этого термина). Слово «зять» и его соответствия по языкам было оставлено для обозначения одного из видов свойствá, т. е. «мужа дочери». Родственное же отношение, обозначаемое в старой классификаторской системе тем же слово «зять», осталось, так сказать, без наименования. Это «пустое место» и было заполнено словом **nepot*. Таким образом, в некоторых языках рефлексы слова **nepot* стали обозначать «племянника» (в первом поколении).

Наша гипотеза подтверждается немаловажным этимологическим фактом. Как известно, индоевропейские названия «зятя» возводятся либо к корню **ĝem-* в значении «жениться» (ср. лат. *geminare*, гр. *γαμεῖν*; так, напр., Walde LatEtymWtb 263), либо к корню **ĝenə-*, имеющемуся

в лат. *genus, gens*, гр. γενός «род, племя». В данном случае русское слово «племянник» (от основы плємѧ) позволяет предполагать, что индоевропейский архетип был так или иначе связан с основой **ĝenə-* «род, племя». Индо-иранские и греческие формы *jāmātar, zāmātar*, γαμφρός могут быть позднейшими видоизменениями («народной» этимологией) под влиянием глагола, представленного лат. *geminare* «жениться». Наличие в санскрите суффикса *-ter* относит это слово к разряду nomina agentis, которые, как известно, соотнесены с глаголом. Но вряд ли можно индоиранские формы считать первичными. Наличие зубной взрывной в лит. *žéntas*, слав. ꙁѧть, в алб. *dëndër* и в лат. *genta* (встречающейся в глоссе)



Термины «зять» и **nepot*

в условиях кросскузенного брака — после отмены кросскузенного брака

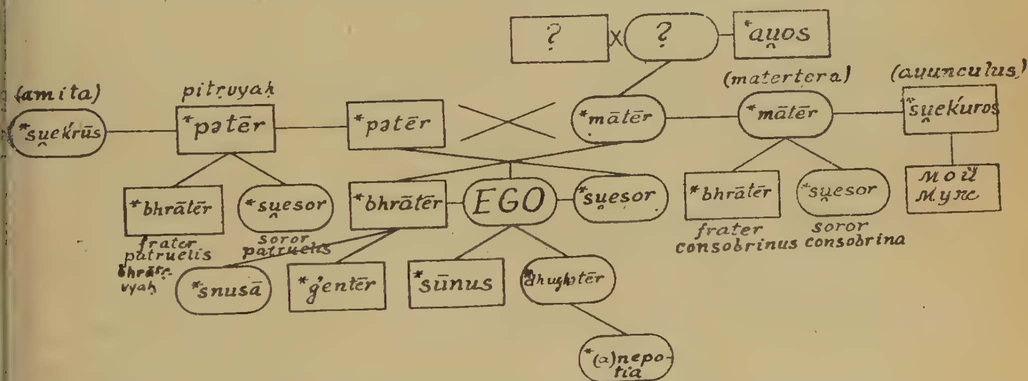
свидетельствует о том, что архетип данного слова реконструируется в виде **ĝen-t-* и что зубной элемент может восходить к более древнему **-tēr*, не являющемуся, однако, суффиксом nomina agentis. Здесь могло иметь место «переразложение» основы типа **ĝen-tēr* > *ĝent-er*, параллельно с **mā-tēr* > *māt-ēr* (ср. *mat-ъka*), **bhrā-tēr* > *bhrāt-er* (ср. братръ, лит. *bró-lis*).

Возвращаясь к слову **nepot*, необходимо указать, что и в этом слове в ряде языков появляется элемент *-tēr*. В санскрите мы имеем формы *nápāt* при *náptṛbhiḥ, náptrā*, о которых Баудиш думает, что они возникли под влиянием форм *bhratṛbhiḥ, bhrātrā*.[61]) Нам кажется маловероятным механическое действие аналогии в таких основных, по своей социальной значимости, словах. Гораздо более правдоподобно предположение, что слово **nepot*, по крайней мере в некоторых языках, имело первоначально суффикс *-tēr*, характеризующий принадлежность к «внутреннему» кругу родственников, и звучало **nepo-tēr*. А мы знаем, что именно **nepot*, т. е. внучатый племянник, считался очень близким родственником. В слав. слове нєти, нєтєрє «племянник» (словац. *neter* «племянница», чеш. *neteř*) образовано совершенно аналогично к существи-

[61]) J. Baudiš, *Struktura jazyků indoevropských*, 113.

тельному мати, матєрє, где элемент *-tēr* был, по свидетельству родственных языков, исконным.

Остаётся проанализировать слово, представленное санскр. *snušā* «жена сына», гр. νυός, лат. *nurus*, др.-в.-нем. *snur*, др.-исл. *snor*, ст.-слав. снъха «сноха». Рефлексы этого слова отсутствуют в ряде языков. Если считать это слово относящимся к древнейшему фонду индоевропейских языков, то его первоначальным значением не могло быть выражение отношения свойствá. Кто был, в условиях кросскузенного брака, женой моего сына? Женой моего сына была его «крòсскузина», т. е. дочь моего брата (если я женщина), или дочь моей сестры (если я мужчина).



Следовательно, слово *snusos обозначало первоначально не только «жену сына», но и «племянницу», ибо фактически жена сына и была племянницей. Точно также, как слово «зять» первоначально обозначало «мужа дочери» и «племянника», слово *snusos соединяло в себе обозначения тех родственных отношений, которые диктовались самой действительностью. В результате ликвидации материнского рода и введения нового брачного порядка, расширившего круг лиц, подлежащих законам экзогамии, термин *snusos остался лишь в значении «жена сына». Таким образом «освободилось» место для обозначения «племянницы». Этот термин и был положен, как мы видели, переносом слова *nepot в первоначальном значении «внучатая племянница» > «племянница».

Предположением семантических сдвигов объясняется отсутствие в индоевропейских языках общих названий «племянника» и «племянницы», причём совершенно ясно, что эти обозначения должны были существовать при такой общественной организации, когда «племянники» и «племянницы» были кросскузенами и, следовательно, мужьями и жёнами моих «детей».

Приложенная схема восстанавливает предположительно ту систему родственных названий, которая вытекает из лингвистического анализа индоевропейской родовой терминологии для наиболее древнего периода.

Терминология свойства́ в индоевропейских языках

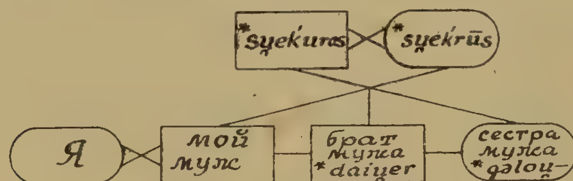
Сравнением фактов индоевропейских языков восстанавливаются слова, обозначающие «брата мужа» (с точки зрения женщины), «сестру мужа» (с точки зрения женщины) и «жену брата мужа». По языкам эти слова представлены следующим образом:

санскр. *devár* «брат мужа», гр. δᾱήρ, арм. *taygr,* лат. *lēuir,* лит. *dëverìs,* ст.-слав. дѣверь, др.-в.-нем. *zeihhur,* англо-сакс. *tácor*;

гр. γάλως «золовка», лат. *glōs,* ст.-слав. зълъва (из более древнего **zъly,* род. п. *zъlъve,* русск. *золо́вка,* серб. *заоца,* словац. *zolvica*);

санскр. *yātar* «жена брата мужа», гр. εἰνατέρες, лат. *ianitrīces,* лит. *jéntė̃r-,* ст.-слав. ıатры, род. п. ıатръве (русск. *ятровь*).

Схема основных названий свойства́:



Комментируя индоевропейские термины свойства́, А. Мейе писал: «в семье жены всё неясно и неопределённо (vague et incertain)».[62]) По сравнению с терминологией, обозначающей внутриклановые родственные отношения, индоевропейская терминология свойства́ представлена, действительно, менее богато и более пёстро. Ряд языксв утратил старые термины и заменил их новыми.

Этот разнобой объясняется тем, что данные термины являются позднейшими, вторичными образованиями, и что отдельные языки решали вопрос создания новых терминов независимо друг от друга, по мере того, как перемены общественной организации вызывали необходимость перестройки всей родовой терминологии.

В условиях кросскузенного брака брат моего мужа ведь был его «пуналуа», его братом, он входил в тот же разряд, как и мой муж. Следовательно, с точки зрения женщины, он был просто одним из её мужей. Для обозначения этого отношения не было первоначально в индоевропейских языках особого термина. Необходимость в создании специального обозначения для «брата мужа» явилась лишь тогда, когда был отменён кросскузенный брак и, вместе с ним, групповый брак вообще.

Точно также, в условиях кросскузенного брака, сестра брата мужа входила в тот же разряд, как и я сама (см. выше). Сестра брата моего мужа была — моей «сестрой» (родной или двоюродной). Этот факт

---

62) A. Meillet, *Introduction*, 351.

сказывается и в образовании самого слова **i̯enə-tēr* (русск. *ятровь*), где форматив *-tēr* относит это слово к «внутреннему» кругу лиц, относящихся к *моему* клану, а не к клану моего мужа.

Резюмируя результаты лингвистического анализа индоевропейской терминологии родства и свойства́, А. Мейе утверждал, что эта терминология «указывает на такую общественную организацию, где женщина входила в семью мужа, но где муж не находился с семьёй жены в определённом родстве. Речь идёт о так называемых „больших семьях" с мужским счётом родства, каковые наблюдаются ещё у сербов (задруга) и у армян» (там же).

На самом же деле всё указывает на то, что сохранившаяся терминология родства и свойства́ в индоевропейских языках отражает целый ряд внутренних перестроек, семантических переосмыслений и сдвигов, вызванных неоднократными перестройками всей родовой организации, т. е. переходом от группового брака с материнским счётом родства к индивидуальному браку и патриархату. Нельзя забывать, что приводимая в этой главе терминология свойства́ является наиболее новым пластом общеиндоевропейской родовой терминологии, и что слова типа **matēr, *pətēr,* с одной стороны, и слова типа **dai̯u̯er, *gəlou̯-* с другой, возникли в разные эпохи и на основании совершенно несходных общественных отношений. Несоизмеримость сопоставляемых фактов должна и здесь иметься в виду. Лингвистический анализ вскрывает историческую перспективу, помогает нам видеть несколько последовательных планов там, где до сих пор господствовало представление о «плоскости». Лингвистический анализ терминологии свойства́ в индоевропейских языках убедительно подтверждает правильность общих материалистических положений о развитии древнего общества.

Переход к патриархату: слово «вдова»

По мнению буржуазной индоевропеистики, древнейшей формой общественной организации индоевропейского «пранарода» был отцовский род. В качестве одного из наиболее веских доказательств в пользу этой гипотезы обычно приводится наличие в большинстве языков общего обозначения «вдовы», ср. санскр. *vidhávā,* авест. *viδava,* древнепрусск. *widdewū,* гот. *widuwo,* ирл. *fedb,* лат. *vidua,* ст.-слав. въдова. (Рефлексы отсутствуют в греческом и армянском.) Слово это, действительно, настолько богато засвидетельствовано по языкам, что отнести его возникновение к периоду самостоятельного развития отдельных индоевропейских языков не представляется возможным. Слово «вдова» восходит, несомненно, к общему индоевропейскому фонду. К тому же это слово имеет ясную и убедительную этимологию: его обыкновенно соединяют с корнем, имеющимся, напр. в лат. *viduus* «пустой, опустошённый, лишённый».

Слово «вдова» и его соответствия является, по нашему убеждению, последним общим термином индоевропейских языков, но термином новым. Он мог возникнуть только при наличии отцовской семьи, когда женщина, потерявшая мужа, переходила на особое социальное положение, требовавшее специального обозначения. В условиях группового брака смерть одного из мужей в сущности не могла сказаться на общественном положении женщины. Институт левирата, в силу которого брат бездетно умершего (т. е. деверь вдовы) обязан жениться на его вдове, красноречиво свидетельствует о правилах, регулирующих положение вдовы в материнском роде. Следовательно, термин «вдова» (и его соответствия) предполагает существование уже сложившегося парного брака с отцовским счётом родства. Несомненно, в тот период, к которому восходят наши древнейшие письменные памятники индоевропейских языков, т. е. в период возникновения классового общества в Индии, в Греции и т. д., материнский род был уже пережитком. История застаёт коллективы, связанные племенной общностью, в состоянии патриархальной организации общества. Но это состояние не является извечным. Оно — продукт целого ряда коренных изменений, проделанных обществом на протяжении тысячелетий. Свидетелями этих изменений являются общие термины родства. Лингвистический анализ этих терминов, базирующийся на данных исторического материализма, даёт нам возможность восстановить, хотя бы в очень общих чертах, общее направление и основные этапы этого развития.

Общеславянская терминология родства

История застаёт славян на пороге возникновения классового общества. У восточных славян «разложение первобытно-общинного строя и формирование феодального общества... стало особенно интенсивным в VIII—IX вв.»[63] Вместо старой родовой общины, успевшей развить принцип патриархата, возникает новая общественная организация, базирующаяся на принципе территориальном: «вервь» у восточных, «задруга» у южных славян, т. е. крупная сельская община (там же, стр. 8). Формирование новых связей зависело от местных условий. Оно протекало далеко не одновременно. Наиболее отсталые племена сохраняли ещё обычаи, характерные для периода перехода от группового к парному браку. Показательным в этом отношении является свидетельство летописи о некоторых восточнославянских племенах:

«Имяху бо обычаи свои, и законъ отецъ своих и преданья, кождо свой нравъ. Поляне бо своих отецъ обычай имуть кротокъ и тихъ, и стыдѣнье къ снохамъ своимъ и къ сестрамъ, къ матеремъ и к родителемъ своимъ, къ свекровемъ и къ де-

---

[63]) Ср. В. В. Мавродин, *Социально-политический строй*. Сборник История культуры древней Руси. Домонгольский период. Том II. Общественный строй и духовная культура. Под ред. Н. Н. Воронина и М. К. Каргера. М.-Л. 1951, стр. 7—8.

веремъ велико стыдѣнье имѣху, брачный обычай имѣху: не хожаше зять по невѣсту, но приводяху вечеръ, а завътра приношаху по ней что вдадуче. А древляне живяху звѣриньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и браки у нихъ не бываше, но *умыкиваху* (курсив мой, А. И.) у воды дѣвиця. И радимичи, и вятичи, и сѣверъ один обычай имяху: живяху в лѣсѣ, яко же и всякий звѣрь, ядуще вся нечисто, и срамословье в них предъ отьци и предъ снохами, и браци не бываху въ них, но игрища межю селы, схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бѣсовьская пѣсни, и ту *умыкаху* жены собѣ, с нею же кто съвѣщашеся; имяху же по двѣ и по три жены».[64])

Из этого сообщения летописца вытекает, что у наиболее отсталых восточнославянских племён сохранился ещё обычай умыкания.

«Развитие семьи в первобытную эпоху состоит, следовательно, в непрерывном суживании того круга, который первоначально охватывает всё племя и внутри которого господствует брачная общность между обоими полами. Путём последовательного исключения сперва более близких, затем всё более отдалённых родственников, наконец, даже просто свойственников, всякий вид группового брака становится в конце концов практически невозможным, и в результате остаётся одна, пока ещё непрочно соединённая брачная пара, та молекула, с распадением которой прекращается брак вообще. Уже из этого одного видно, как мало общего имела с возникновением единобрачия индивидуальная половая любовь в современном смысле этого слова. Ещё больше доказывает это практика всех народов, стоящих на этой ступени развития. Тогда как при прежних формах семьи у мужчин никогда не было недостатка в женщинах, а, напротив, их скорее было более чем достаточно, теперь женщины стали редки и их приходилось искать. Поэтому со времени возникновения парного брака начинается *похищение* и покупка женщин . . .[65]) Именно этот период возникновения парного брака у ряда восточнославянских племён и отражён в приведённом летописном рассказе.

Как отразился этот переход от материнского рода к отцовскому на языковом материале?

Элемент *-tēr*, имевший в прошлом определённую социальную значимость, перестаёт восприниматься как самостоятельный языковой элемент (форматив, суффикс), ибо сама действительность уже не даёт для этого никаких оснований. «Дочь» (**dhughətēr*), остававшаяся при матрилокальном браке в своём клане, с переходом на патрилокальный брак переходит в клан мужа. «Племянник» и «племянница» (ср. слав. **нети, нетере**) перестают восприниматься как члены внутреннего круга родственников. Утрата социальной значимости элементов *-tēr* неизбежно влечёт за собой переразложение слов: **mā-tēr* декомпонируется в **māt-ēr*, откуда ст.-слав. **мати, матере** и по языкам формы типа русск. *мат-ушка*, словац. *mat-ka*, сербск. *majka* и т. д.; слово **bhrā-tēr* де-

[64]) *Повесть временных лет*. Часть первая. М.-Л. 1950, стр. 14—15.

[65]) Ф. Энгельс, *Возникновение семьи, частной собственности и государства*, стр. 196. (Курсив мой, А. И.)

компонируется в *brāt-er, откуда в ст.-слав. братръ, чеш. *bratr*, в остальных языках *брат*, ср. также лит. *brólis* «брат»; слово **dhughə-tēr* декомпонируется в **dugt-er*, откуда по языкам *дъшти, дочь, dcera*, и т. д.; та же участь постигает и слова, возводимые нами к архетипу **nepo-tēr, *i̯enə-tēr, *gen-tēr*. Мы видим, как в индоевропейских языках элемент *-tēr* теряет свое первоначальное значение и как термины родства перестают быть производными на *-tēr*. Так, напр. старое **ǵen-tēr* появляется ещё в латинской глоссе в форме *genta*, но даёт в конечном итоге *gener*.

Фонетические изменения не были и не могли быть первопричиной этимологического разрыва таких слов, как **pətēr* «отец» и **pətru̯i̯o-* (слав. **stryjь*) «дядя». Фонетические изменения могли войти в силу именно по той причине, что *по своему значению* слова **pətēr* и **pətru̯i̯o-* были уже разобщены.

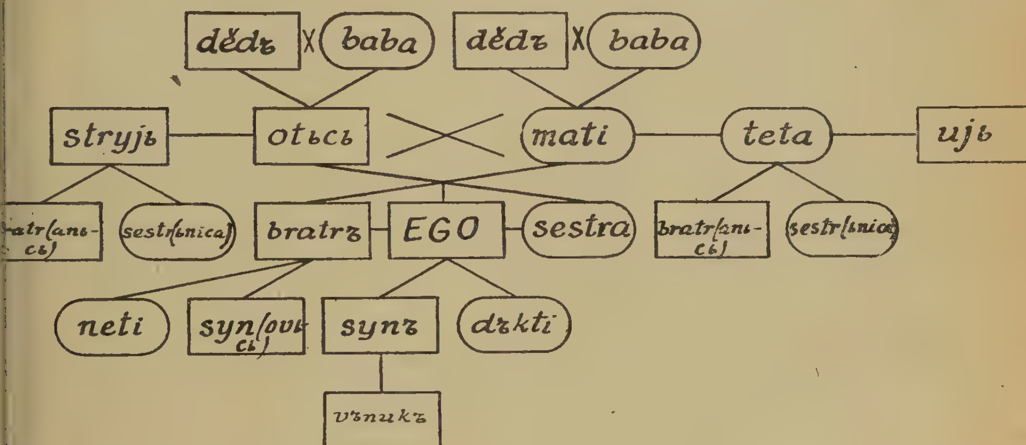
Уже в лоне отцовской семьи с наличием парного брака могли возникнуть такие слова, как *ма́чеха, о́тчим*, словац. *pastorok, па́сынок, па́дчерица*. Эти выражения были бы в условиях группового брака бессмыслены. Для обозначения этих отношений уже нет общих индоевропейских терминов, восходящих к периоду классификаторской системы родства. Соответствующие термины возникают по языкам самостоятельно, ср. хотя бы нем. *Stiefvater* «отчим», *Stiefmutter* «мачеха», *Stiefsohn* «пасынок», *Stieftochter* «падчерица», где приставка *Stief-* имеет ту же функцию, как приставка *па-* в соответствующих славянских словах.

В пределах славянских языков формируются новые словообразовательные элементы. Таким новым словообразовательным элементом можно считать суффикс **-i̯ь*, встречающийся в терминах **ujь* и **stryjь*, обозначающих отцовского и материнского дядю.

Целый ряд терминов должен создаваться наново. Возникают и вводятся в общее употребление слова с редуплицированной согласной типа *дя-дя, те-та, ба-ба, дѣ-дъ*, укр. диал. *няня* «отец», и др.

Часть этих слов восходит, вероятно, к более древним пластам родовой терминологии. Есть, например, основания сближать термины *teta* и **tьstь* «отец жены». Форма **tьstь* может восходить к корню **tet-* с присоединением суффикса *-tь*, того же суффикса, который, после переразложения старого слова **zę-tь*, был выделен как новый словообразующий элемент. Старое **tьt-tь* должно было дать **tьstь*. В пользу такой этимологии говорят следующие соображения: при групповом кросс-кузенном браке моим «тестем», т. е. «отцом моей жены», и был мой «дядя» (см. выше). Слово **tet-/*tьt* могло, следовательно, возникнуть тогда, когда был утрачен старый термин для обозначения этого родства, т. е. при закреплении за словом *свекровь* специфического значения «мать мужа». С фонетической точки зрения чередование *е/ь* в основе слов, относящихся к терминам родства, засвидетельствовано в словах *свекровь* (элемент **su̯e-*) и *сваст* < **su̯ь-stь* «сестра жены, свояченица».

Вообще в славянской терминологии родства сохранилось не мало элементов, утраченных в большинстве других индоевропейских языков, но восходящих к наиболее древнему пласту индоевропейской родовой терминологии, возникшей в условиях кросскузенного брака. Такими элементами являются обозначения «двоюродного брата» и «двоюродной сестры». В словацком языке «двоюродный брат» обозначается словом



bratanec (чеш. *bratranec*), а «двоюродная сестра» — словом *sesternica* (чеш. *sestřenice*). Ясно, что это лишь вторичные дериваты от слов *brat(r)* и *sestra* и что в данном случае мы имеем дело с воспоминанием о той эпохе, когда «брат» и «двоюродный брат» (сын сестры матери или брата отца), «сестра» и «двоюродная сестра» обозначались одним и тем же словом. О том же свидетельствует, конечно, и русское обозначение «двоюродный *брат*», «двоюродная *сестра*». Более того, название «племянника» (сына сестры, если говорящий — женщина) в словацком и чешском языках представлено словом *synovec*. Это значит, что и здесь отражается то же положение вещей, когда сын моей сестры считался моим «сыном».

Термины типа *невеста, невестка* являются, естественно, более новыми образованиями; это слово обыкновенно связывается с глагольной основой **vedǫ, vesti,* ср. лот. *vedama* «невеста», санскр. *vadhū́ḥ* «невеста»; семантическая связь между глаголом **vesti* и термином **ne-věd-ta* дана сравнением с лат. *uxorem ducere* «жениться на ком-либо».

Слово бракъ «брак» связано этимологически с глагольным корнем **bher-* «носить, уносить».[66]) С этим же корнем этимологически связаны др.-инд. слова *bhartar* «носитель, кормилец, содержатель, господин,

[66]) E. Berneker, EtWtb. I, 81. Ср., однако, замечания Зигмунда Файста по поводу гот. **bruþs* «молодуха», *Vergl. Wörterbuch der gotischen Sprache*^{3}, Leiden 1939, 110—111.

супруг» (значение «супруг» засвидетельствовано уже в Ригведе) и *bhāryā* «жена». Всё это свидетельствует уже о наличии парной семьи, отцовского рода и *андроцентрической* системы обозначения родства.

В этом контексте необходимо отметить, что по новейшим данным, предлагаемым чешским индоевропеистом проф. В. Махеком, слово *panъ* объясняется как вторичное образование к женской форме **panьji*, неотделимой от гр. πότνια, санскр. *patnī*.[67]) Если это сопоставление верно, то слово *panъ* послужило бы лишним доказательством того, что в древнейшие времена женщина была центром родовой организации.

Заключения

Попытка изучить индоевропейскую терминологию родства с точки зрения её соотнесённости с той или иной формой общественной организации дала ценные указания общелингвистического характера. Слова, трактуемые буржуазными лингвистами как «детский лепет» (*Lallwörter*), оказались осмысленными, при этом *социально* осмысленными сложными словами или производными типа **mā-tēr* и т. п. Анализ слов, бесспорно относящихся к древнейшему пласту индоевропейских языков, показал, что сравнительно-исторический метод не позволяет нам вскрыть такое состояние языка, при котором даже основные понятия были выражены непроизводным коренным словом. Повидимому, уже в индоевропейском имени существительном древнейшего поддающегося реконструкции типа приходится считаться с наличием двух элементов, из коих один играет роль той или иной семантической детерминанты. Такое толкование древнейшего типа индоевропейского имени существительного подтверждает точку зрения Розвадовского, доказывавшего исконную дихотомию индоевропейского имени.

Что же касается значения и функции этих детерминант (например элементов **tēr* или **su̯e* или **sor* в рассматриваемых случаях), то современное положение науки позволяет здесь говорить лишь о наиболее общих семантических признаках. Значение этих элементов, их принадлежность к той или иной грамматической категории, не всегда уловимы. Разбор всего основного фонда индоевропейских языков может, однако, дать более точные указания о семантической природе этих древнейших словообразовательных элементов.

Лингвистический анализ индоевропейских терминов родства позволил нам вскрыть историческую перспективу их развития. То, что в свете идеалистического этимологизирования должно было казаться статичным, плоским, изначально «данным», оказалось при материалистическом подходе к материалу динамичным, многопланным и развивающимся.

---

[67]) Ср. Václav M a c h e k, *Étymologies slaves.* Recueil du Cercle linguistique de Bratislava, I, Bratislava 1948, 93—101.

Если слово *мать* с точки зрения формальной очень мало изменилось по языкам на протяжении нескольких тысячелетий, то *содержание* этого слова менялось в зависимости от той общественной организации, в которой это слово (или его древнейший архетип) функционировал.

Поразительный параллелизм в развитии отдельных индоевропейских языков, наличие общего фонда слов, совершенно одинаково обозначающих те или иные социальные отношения, вновь выдвигает вопрос об исторических условиях образования того языка, который лёг в основу исторически засвидетельствованным индоевропейским языкам и существование которого нельзя отрицать, не впадая в антинаучный априоризм.

Общность индоевропейских языков восходит к периоду родового строя, но не в его позднейшей, партиархальной форме, как это думают некоторые лингвисты,[68]) а к более древней её форме, к так называемому матриархату. Ведь только при матриархате могли существовать те общественные отношения, которые объясняют многочисленные сдвиги в древнейших пластах основного словарного фонда индоевропейских языков, в частности в родственной терминологии.

В настоящее время не может быть уже споров о том, являлся ли «язык-основа», исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, реальным языком или нет. «Существование семьи (группы) родственных языков с необходимостью предполагает существование в прошлом единого общего языка».[69]) А существование единого общего языка-основы, реального языка, обладавшего своим словарным фондом и своим грамматическим строем, с необходимостью предполагает существование в прошлом реального коллектива, являющегося носителем и творцом этого языка. Как и всякий реальный коллектив, он должен был обладать общественной организацией, распределением труда, производственными отношениями и т. д.

Пытаясь конкретно представить себе возникновение исторически засвидетельствованных индоевропейских языков, многие языковеды прибегали и продолжают прибегать к образу количественного нарастания человеческого коллектива, от рода к племени, от племени к союзу племён и т. д. Такую схему можно признать правильной лишь в том случае, если под термином «род» не мыслится «семья», т. е. сравнительно незначительная группа лиц, связанная между собой узами крови. Носители и творцы индоевропейского языка-основы были несомненно организованы в родовом строе, только этот родовой строй выходил

---

[68]) Ср., например: «Этому условию (т. е. наличию постоянной и прочной связи, способствующей созданию устойчивого коллектива, А. И.) в максимальной степени соответствовал отцовский родовой строй». В. П. Петрусь, *Славянская языковая общность и славянские языки*, Изв. АН СССР. Отд. лит-ры и яз., т. X, вып. 4, 1951, стр. 355.

[69]) Б. В. Горнунг, В. Д. Левин, В. Н. Сидоров, *Проблема образования и развития языковых семей*, «Вопросы языкознания», вып. 1, 1952, стр. 45.

далеко за пределы «семьи», он охватывал весьма многочисленный чело-вечеcкий коллектив, расселённый на весьма значительном пространстве. По данным этнографии, австралийский брак — «это нечто большее, чем брак группы с группой внутри племени. Это такой порядок, который *охватывает весь континент,* делит далеко отстоящие друг от друга пле-мена на брачующиеся классы и даёт мужчине одного класса брачные права на всех женщин другого класса, даже если племя отстоит на 1000 миль и говорит на другом языке», — пишет Файсон.[70])

Человеческий коллектив, являющийся носителем и творцом реаль-ного индоевропейского языка-основы, был организован по принципу кросскузенного брака. Этот принцип не ограничивался двумя взаимно брачущимися группами, а был распространён на большой территории охватывая множество групп, живущих порознь, но связанных друг с другом общим принципом дуально-экзогамной системы. Этот значи-тельный по своему численному составу коллектив, организованный в ро-довом строе «матриархального типа», претерпел в последствии ряд качественных изменений: в лоне родового строя начали образоваться *племена,* лёгшие в основу исторически засвидетельствованных индо-европейских племён, носителей отдельных индоевропейских языков. Иначе и быть не могло. Нельзя себе представить, чтобы индоевропей-ский язык-основа со своим грамматическим строем и со своим словар-ным составом возник в пределах немногочисленного коллектива. Нужно освободиться от представления, будто «род» и связанный с ним родовой строй охватывает лишь небольшую группу людей численностью в не-сколько сот человек. Наоборот, родовой строй, в его древнейшей разно-видности (материнский строй), *предполагает* наличие весьма значитель-ного коллектива, связанного узами экзогамно-дуального брачного по-рядка. Именно в таком коллективе и мог развиваться реальный обще-индоевропейский язык-основа. Анализ родственной терминологии индо-европейских языков всецело подтверждает это предположение.

Февраль 1952 г. *А. В. Исаченко*

---

[70]) L. Fison and A. W. Howitt, *Kamilaroi and Kurnai,* 1880, 54. (Курси мой, А. И.)

O nově nalezeném emauzském charvátskohlaholském zlomku žaltáře

Rozbor tohoto zlomku dovoluji si věnovati k uctění nedávných (6. července 1952) šedesátých narozenin univ. prof. Dr Václava Vážného

Počátkem ledna roku 1952 byl při opravných pracích v klášteře Emauzském v Praze nalezen v zásypu klenby jižní části klášterní kvadratury jeden pergamenový list, popsaný hlaholským písmem hranatého typu. Zásluhu o jeho nalezení a uložení mají jednak vedoucí stavby, architekt Karel Siegel, jednak stavební konsulenti, profesoři Českého vysokého učení technického Dr Bedřich Hacar a Dr Oldřich Stefan, a v neposlední řadě profesor téhož vysokého učení Dr František Kadeřávek, kurátor Matice české, který list od vedoucího stavby dne 28. ledna 1952 převzal a dne 30. ledna 1952 uložil v knihovně Národního musea v Praze, doprovodiv jej stručným dopisem. V musejní knihovně dostal rukopis značku *1 D c 1/22*.

I. Pergamen zlomku (Emzl) je barvy nahnědlé a nese stopy skvrn. Na několika místech je proděravěn; zvláště však více je to uprostřed textu mezi 11. a 12. řádkou levého sloupce první strany a pravého sloupce strany druhé (Aa 11—12, Bb 11—12). První strana listu je značně porušena, zvláště pak její levá polovice; písmo na ní je z větší části těžko čitelné, často vůbec nečitelné. Zato strana druhá je zachována dobře a písmo na ní se dá dobře přečísti. Levá polovice první strany (Aa) vypadá tak, jako by byla porušena odřením, odtrhováním, škrabáním a pod.; jinde (Ab, Ba, Bb) je však pergamen hladký. Zdá se, že již v době staré, v době, kdy bylo rukopisu ještě používáno, bylo písmo v levé polovici první strany nebo alespoň na jejím počátku vybledlé a obtížně čitelné, protože pozorujeme, že v prvních čtyřech řádcích této strany (Aa 1—4) zasáhl nějaký hlaholský obnovovatel staršího písma; nebyla ovšem v té době první strana odřena nebo více poškozena.

Velikost listu, který (to se zdá i prof. Kadeřávkovi) na kraji vypadá jako popálený, je přibližně 11,5×15 cm. Měla tedy kniha, do níž list náležel, poměrně malý formát, což může být známkou její starobylosti. Text je psán na obou stranách ve dvou sloupcích (Aa, Ab, Ba, Bb) o šíři asi 4,6×4,8 cm a o výšce asi 12,3 cm. Každý sloupec má 20 řádků. Na liché straně listu je dobře patrné vodorovné linkování (rýhování) řádků (na těchto řádcích písmo *visí*) a kromě toho označení šířky sloupců na obou stranách každého sloupce; tyto rýhy pronikají na následující stranu listu.

Veškerý text psal písař jediný; jen na počátku levého sloupce první strany (Aa) zasáhl, jak již pověděno, nějaký hlaholský obnovovatel písma, který jednak obtáhl několik liter málo jasných řádku 1. a 2., jednak sám napsal tři slova v řádku 3. (k poslednímu z nich náleží ještě jedna litera v ř. 3a). Tento opravovatel psal písmem větším a hrubším, které na řádcích *stojí*. Inkoust, kterým je původní text psán, je barvy tmavě hnědé; vnitřní obrysy iniciálních liter (na př. sloupce, kolečka a pod.) jsou vyzdobeny rumělkou.

II. a) Obsahem textu napsaného na našem zlomku je text z žaltáře, a to žalm 106, od verše 1. (bez nadpisu) do verše 30., který není ukončen. Z fotografií obou stran zlomku, které jsou dodány k tomuto pojednání, je dobře patrná úprava i paleografické vlastnosti písma; kromě toho podávám znění textu také v přepise cyrilském, s označením veršů žalmu, s textovými poznámkami pod čarou a s variantami za textem. Snažil jsem se přečísti z textu, co bylo možno, a četl jsem text mnohokrát; při večerním osvětlení se mi podařilo spatřit nadto stopy (zvláště rýhy v pergamenu) po některých literách jinak neviditelných (s nichž byl inkoust setřen). Tam, kde jsem nemohl přečísti vůbec nic, doplňuji text podle znění charvátskohlaholského textu žaltáře z breviáře záhřebského III C 12, fototypicky vydaného Josefem V a j s e m (Psalterium Palaeoslovenicum I, Pragae 1916, specimina str. 54—55), a to tak, že doplněný text kladu do *hranatých* závorek. V závorkách *kulatých* jsou litery, které jsou viditelné jen částečně nebo nedokonale.[1])

Aa

Žalm 106, verš 1—8.

1. Ꙇспвѣдаите се 1
гви ѣко бл҃гь ѣко в' 2
вѣкь м̂ст(ь) ег 3
о̄ 3a
2. Да [рекоуть из']б(а)[вл](ени) 4
г[м̃ь · еже из]б[ави из роу 5
ки вражие] / 3. [и ѿ стр](а)[нь 6
с'бра е ·] О[т встока сл̃н' 7
ца · и ѿ запада ѿ сѣ 8
вера и мора :] 4. З[аблюди 9
ше В' поустини В' 10
безвод'нѣ ·] П[оути] г(ра) 11

---

[1]) Z technických důvodů nebylo však lze věrně vytisknout pravou podobu znaku litery jerové; místo sloupkovité čárky, nahoře zakončené příčnou opěrnou linkou, použito všude znaku ь. Kromě toho bylo nutno nahradit apostrof útvaru hrotitého apostrofem obloučkovitým. Srov. zde v rozboru paleografickém č. 13.

[да обитѣлнаго не о]брѣ 12
тоу
5. Л[ачоущие и жеждоу](щ)е и (д) 13
ш[а и](хь в н)[ихь изне]може 14
6. [И в](зв)аше кь [г҃в]и егда 15
стоужише / и ѿ бѣдь ихь и 16
збави е 7. I наведе е н[а 17
поу]т' прави / в(нити) в' 18
[градь] обитѣлни · 19
8. Да испв҃(де)т' [г҃вѣ м҃с] 20

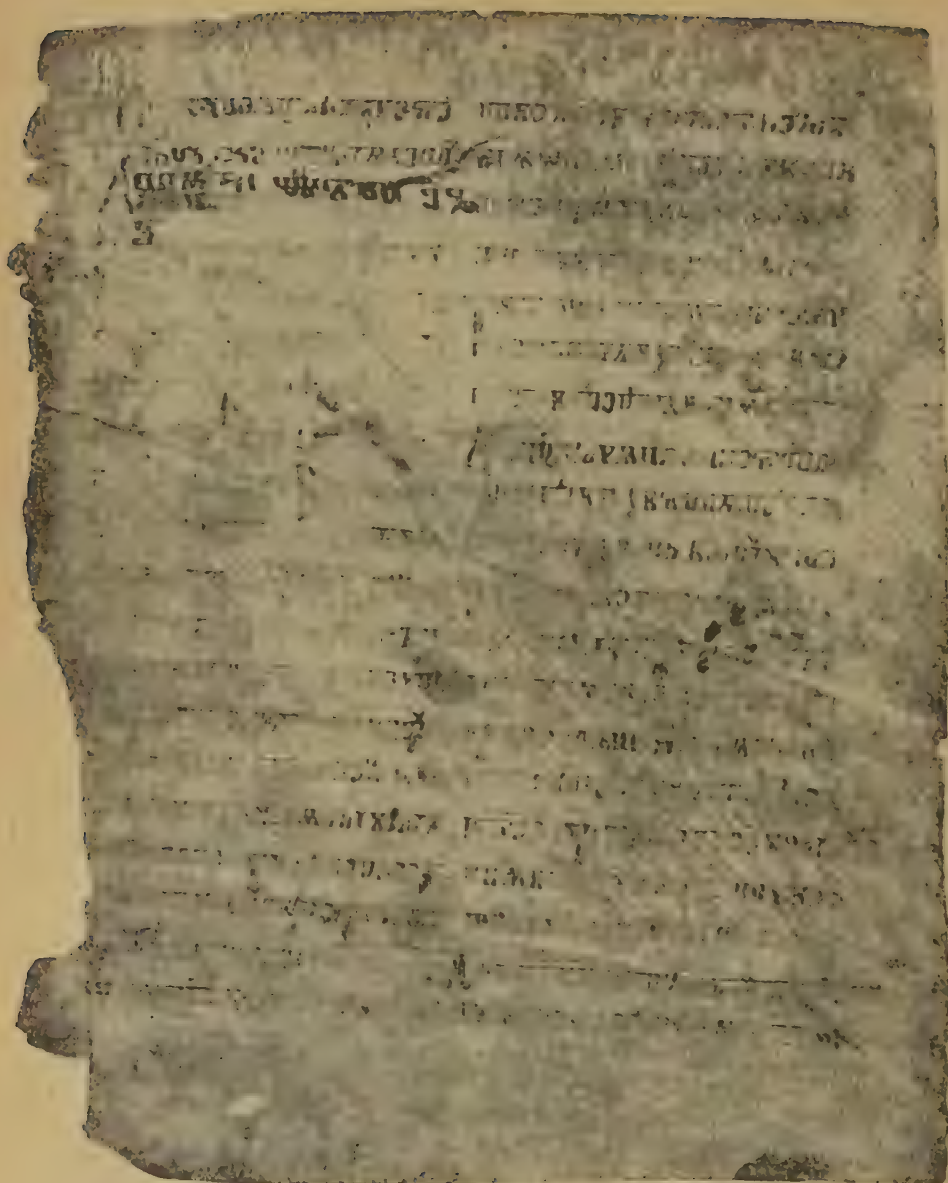
1: nad Iспвѣдаите není vidět titly; iniciální litera v tomto slově zabírá mezeru půltřetího řádku; některé litery v tomto slově (пв, а a částečně т) nově obtaženy; пв lig. — 2: první dvě slova (гви ѣко) rukou obnovovatelovou, v slově ѣко je patrné ještě původní о; titla nad гви není patrná; na konci řádku jsou patrné stopy ještě nějaké litery. — Ř. 3 a 3a psány jsou rukou obnovovatelovou, zatím co však písmo původního písaře na linkách *visí*, písmo obnovené na linkách *stojí;* м v slově мст(ь) lig., konec tohoto slova je rozmazán, titly nad ním není; pod ѣ slova вѣкь je ještě nějaká litera. — 4 a násl. (do 14): je vidět jen iniciálky červeně zbarvené (ř. 4, 7, 9, 11, 13), jinak jen stopy ojedinělých liter. — 15: зв, гд lig.; 18: пр lig.; 20: пв lig.

Ab

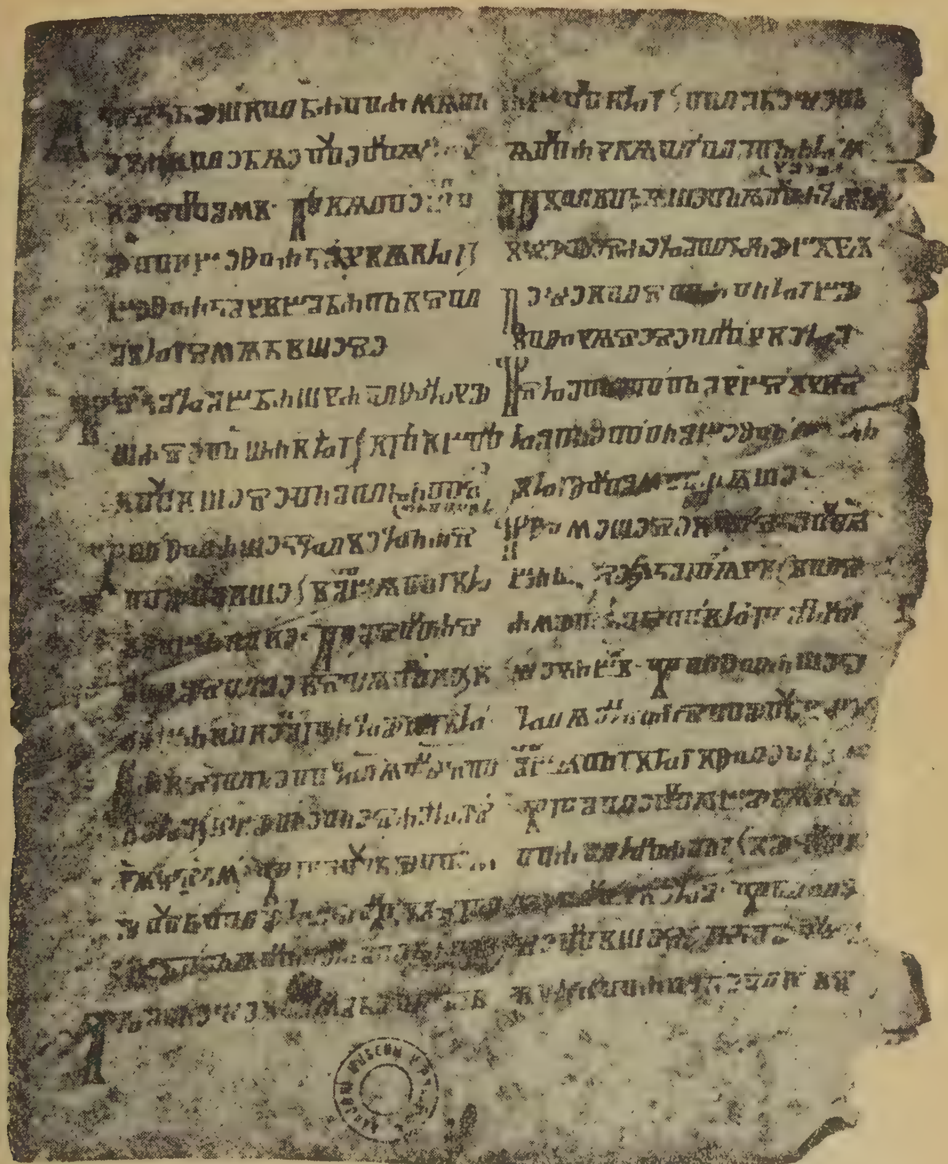
Žalm 106, verš 8—15.

ти его / и чоудеса его 1
с҃нм ч҃скмь · 9. Ѣко насити 2
д҃шоу тщ(оу ·) / и д҃шоу лач 3
оущоу (и)с(пл)ни благь · 4
10. Сѣдеще в тмѣ и в сѣн 5
и семртнѣи / окованище 6
тою и желѣзомь · 7
11. Ѣко прогнѣваше слв 8
са б҃жиѣ / и свѣт' ви 9
[шна]го раздражише 10
12. (I) [смѣри] се в т[роуд]ѣх' 11
с҃рце ихь / [из]нем[огоу] и н 12
е в[ѣ] (п)омоге[и :] 13
13. I в'зваше к г[в]ѣ егд(а) 14
стоужи[ше · и] ѿ бѣд[ь и]х[ь] с 15
псе е 14. I и(зв)еде е изь 16
тми и с[ѣ]ни семртние и 17
оузи ихь прѣтрьже 18
15. Да испвдет г҃ви (м҃с)[ти е](г)[о] 19
и чоудеса его с҃нм ч҃скмь 20

4: nad благь není vidět titly; 6: окованищетою sic, haplografií místo оковани нищетою, nebo neporozuměním textu. — 8: пр, лв lig.; nad слвса není vidět titly (podobně ne nad срце v ř. 12). — 14: зв lig.; 18: пр, тр lig.; 19: вд, гв lig.; titel nelze rozeznat.



Emauzský zlomek charvátskohlaholského žaltáře, strana A.



Emauzský zlomek charvátskohlaholského žaltáře, strana B.

Ba

Žalm 106, verš 16—23.

16. Ѣко скроуши врата мѣд
ена / и верѣе желѣзн
не сломи · 17. Приѣт’ е ѡ҃ п
оути безакониѣ ихь /
безакони бо ради св
онихь смѣрише се ·
18. В’с’кого брашна взгноу
ша се дш҃а ихь / и прибл
ижише се до врат’ сᵉ
мртнѣх’
19. І в’зваше к г҃ви егда с
тоужише / и ѡ҃ бѣдь их’
избави е · 20. Посла с
л҃во свое исцѣли е / и
(з)бави е ѡ҃ пагоубь их’.
21. Да исп҃вдет’ г҃ѣ м҃ст
и его / и чоудедеса его с
н҃м ч҃ском · 22. І пожроут’ ем
оу жртвоу хвал҃ / и исп҃в
дет’ дѣла его в радо
сти
23. Єходещеи в море в кор

3, 8 Пр, пр, 10 зв, гд, ibid. a 15 гв, 13 лв, 15 пвд, ibid. мл, 18 тв, хв, лс, пв lig.; 9: v slově сᵉмртнѣх’ by se snad mohlo v první slabice čísti také сь, místo ѣ v -ѣх’ lze čísti ev. snad také -нх’; 16: -деде- sic, omylem dvakrát; 10: titla nad гви není viditelná.

Bb

Žalm 106, verš 23—30.

аблихь / твореще д
ѣланиѣ в’ водах’ м.
нога[х]’
24. Ти видѣше дѣла г҃на /
и чоудеса его в’ глоубинѣ ·
25. Рече и вста дх҃ь боу
и взнѣсе се вл’ни его ·
26. Всходет’ до н҃бс’ и нис
ходет’ до безд’ / дш҃а
нхь злом’ таѣше —
27. В’змеше се и в’сколѣ

башı(є) сє ѣко п'ѣни / и вс 11
а моудрост̑ их' погль 12
щєна би · 28. I взваше кь 13
гѣ̄ єгда стоужишє / 14
ѿ бѣдь ихь изведє є · 15
29. I повелѣ боурѣ и с 16
та в хладь / и оум̂ь 17
коу вл'ни єго · 30. I вз'вє 18
селишє сє ѣко оум̂к 19
и настави є в прис 20

1 тв, 4 гл, 6 вз, ibiḍ. a 18 вл, 9 зл, 13, 15 зв. 14 гв, ibid. гд, 17 хл, ibid. a 19 мл, 18 взв, 20 patrně пр lig. — 5: боу sic, slovo je nedopsáno (viz zde dále čtení srovnávaných památek), podobně nedokončeno slovo безд' v řádku 8. — 11—12 průtrž pergamenu; 11: za сє bylo původně comma maius, bylo však přepsáno literou ѣ; 19. na konci utržen pergamen.

b) Srovnání textu žaltářního ze zlomku Emauzského se zněním jiných kodexů

Uvádím varianty z těchto kodexů: 1. z žaltáře Sinajského (Sin.; ed. Sever'janov); 2. z žaltáře Boloňského (Bon.; ed. Jagić); 3. z žaltáře Pogodinova (Pog.; ed. Jagić); 4. z kodexu Lobkovického (Lob.; ed. Vajs); 5. z kodexu Pařížského (Par.; ed. Vajs); 6. ze záhřebského breviáře (z akademie záhřebské) III C 12 (Zagr.; tabulky fototypické ve Vajsově vydání Psalteria na str. 54—55); 7. z breviáře Pažmanského (Pasm.; kodexu to akademie záhřebské III b 10; ed. Joh. Berčić, Ulomci svetoga pisma, 1864, II, str. 93—94); 8. přihlížím dále k variantám z žaltáře leningradského (Tolst.; varianty z něho uvádí M. N. Speranskij v Jagićově edici Bol. žaltáře, z našeho žalmu na str. 770);²) 9. také k variantám ze Sof. (recense bulharskocsl. z roku 1337), z Buc. (bukur. srbskocsl. z r. 1346) a z Mih.¹ recense středobulh. z Mihanovićovy sbírky ze záhřebské knihovny akademické, z 13. století), podle edice Jagićovy a podle záznamů Valjavcových v Radu 100, 1891, str. 19; 10. konečně hledím k citátům z žaltáře obsaženým v EuchSin. (ž. 106, verš 2, 7, 10, ed. Nahtigal), v Cloz. (ž. 106, v. 10, ed. Vondrák, který však daného citátu nezaznamenává), v Supr. (ed. Sever'janov, soupis míst podal N. Durnovo v Izv. 30, 1926, 365) a j. Text řecký cituji podle vydání A. Rahlfsova, Septuaginta id est Vetus Testamentum Graece iuxta LXX Interpretes, vol. II, 1935, str. 119—120, s přihlédnutím k jiným edicím a dále k výkladům Jos. Vajse v Byzslav 8, 1939—1946, 55—86, a Jos. Laurenčíka v Slovanských studiích, 1948, 66—83.

Nadpis žalmu v našem zlomku schází (jak tomu bývá v charvhlah. textech).

Verš 1. бл̄гь] гъ (místo благъ) PsaltSin.; благѡ Bon. — в' вѣкь] вѣкы Tolst., вѣкы Mih.¹, Sof., Buc.

Verš 2. [из']б(а)[вл](єни), m. -ни, οἱ λελυτρωμένοι] избавлєни PsaltSin., -ни též Pog., Bon., citát v EuchSin. 85ᵃ3 Да рєкѫтъ ізбавлєнии гд̄ємь; lat. qui redempti sunt a Domino!

Verš 3. О[т встока сл̄н'ца · и ѿ запада ѿ сѣвєра и мора:]; tento text není sice v našem zlomku čitelný, proto jej doplňuji podle záhřebského breviáře III C 12, lze však předpokládat, že se znění v našem zlomku od tohoto znění nelišilo (soudím tak podle shody kodexů charvátskohlaholských a také podle rozsahu místa, kterého bylo užito). PsaltSin. čte Отъ въстокъ ї западъ ї сѣвєра и морѣ, podle řeckého originálu ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν καὶ βοῤῥᾶ καὶ θαλάσσης, zatím co se text breviářů charvátskohlaholských řídí Vulgátou *(a solis ortu et occasu, ab aquilone et mari)*. Srov. též M. Valjavec, Rad 98, 1889, 35

²) V žaltáři Čudovském není náš žalm obsažen.

Verš 4. в' поустинн в' безвод'нѣ Zagr.] въ поустꙑнı безводьнѣ PsaltSin. — н před поутн dodává Pasm. — [не о]брѣтоу] не wбрѣтохѫ Bon., не wбрѣтошѧ Mih[1].

Verš 5. Л[ачоуще н жеждоу](щ)е н (д)ш[а н](хь)] bez н před дш̃а PsaltSin., Pog., Bon., Lob., Par., Zagr., Pasm.; н (jen v našem textu) by se snad dalo vyložit předpokládaným různočtením — v znění textu hebrejského podle překladu Mlčochova, Psalterium seu Liber Psalmorum, 1890, 412 n., *et defecit in eis anima eorum*, nacházím spojku —, mohlo by se však také н spojiti s předcházejícím participiem, v čemž mě utvrzuje varianta жаждоущей v Tolst. Není ovšem vyloučeno, že některý z opisovatelů н jako spojku vskutku chápal.

Verš 6. кь [гв]н ·] къ г̃ю PsaltSin., кь г̃оу Pog., pod. Bon., Buc., г̃н Sof., ка г̃вѣ Lob., pod. Par., Zagr., Pasm. — стоужнше] вьстѫжнша PsaltSin., въстѫжнша Pog., въстоужнше (ita et 13, 19) Tolst., встоужнше Lob., Par., Zagr., Pasm., въстѫжнхѫ Bon.[3]) Viz též v. 13, 19, 28.

Verš 7. І наведе е]н наставн нхъ Mih[1]. — н[а поу]т' правн] на пѫть правъ PsaltSin., правь Pog., правъ Bon.; правꙑ Sof., правн Lob., Par., Zagr., Pasm.; také v citátu obsaženém v EuchSin. 41a7 čteme на пѫть правꙑ. — в(ннтн)] вннтн нмь Pasm. — в(ннтн) za řec. τοῦ πορευθῆναι (stejně PsaltSin., Lob., Par., Zagr., Pog., Bon., Tolst. a pod.) proti latinské vazbě *ut irent in civitatem* ukazuje jasně, že se na půdě charvátské v tomto případě zachoval neporušeně původní překlad z řečtiny.[4])

Verš 8. Да нсп̃в(де)т'] Да нсповѣдꙑатъ сꙗ PsaltSin., pod. Pog., Bon. — [м̑с]тн] мнлс̑ть Pog. — с̃нм чскмь] с̃номъ чл̃вчемъ PsaltSin., pod. Pog.; с̃номъ чл̃чъскꙑ̈мъ Bon.; сꙑномь чловѣчьскwмъ Mih.[1]; с̃номь ч̃скомь Lob., с̃ном' ч̃скнм' Par., pod. Pasm.; с̃нмь ч̃скнмь Zagr. — Viz verš. 15.

Verš 9. насᴴтн, aorist též Pog., Bon., Buc., Lob., Par., Zagr., Pasm.] насꙑтıлъ естъ PsaltSin., Sof., Tolst. Proti aoristu v našem zlomku (za řecký aorist), dále též v Pog., Bon., Buc. a všeobecně na půdě charvátské, je v PsaltSin. (a též v Sof., Tolst.) již perfektum. — лачоущоу, též PsaltSin., Lob., Par., Zagr., Pasm.] ал- Pog., Bon., Sof., Buc., Mih[1]. — (н)с(пл)нн] нспл'ннть Zagr. Překlad v našem žalmu projevuje opět — zároveň i všeobecně na půdě charvátské — nezávislost na Vulgátě: rozlišuje totiž (н)с(пл)нн za ἐνέπλησεν od насᴴтн za ἐχόρτασε, zatím co v textě vulgátním latinském je na *obou* místech *satiavit.*

Verš 10. Сѣдеще (patrně tvar vzniklý stažením)] Сѣдꙑащꙑащꙑа (sic) PsaltSin., pod. Pog., Bon., Сѣдещен Par., Pasm., Седещен Lob. — в тмѣ н в сѣнн, též Lob., Par., Zagr., Pasm.] V tomto případě druhé въ je vynecháno v PsaltSin., Pog., Bon. — семртнѣн, pod. Bon., Lob,, Par., Zagr. Pasm.] съмрътьнѣ PsaltSin., Pog. Úryvek z tohoto žalmu je citován v EuchSin. 39b 8—9 сѣдѧщѧꙗ въ тъмѣ· ı въ сѣнн съмрътьнѣн, a také 63b 20—21, kde je сѣдѧщѧꙗ въ тъмѣ· ı сѣнн съмрътьнѣн. Srov. dále v kodexe Zografském Lk 1, 79 просвѣтнтн сѣдѧштꙗꙗ въ тъмѣ ı в' сѣнн съмрътьнѣı; v kodexe Marianském пр. сѣдѧштаꙗ вь тъмѣ: ı сѣнн съмрътьнѣ; v Cloz. 800—801 сѣдѧштеı въ тъмѣ ı въ сѣнı съмрьтьнѣ; v Supr. 449.8—9, 459.25—26, 462.4—5 (zde je všude předložka dvakrát, ale adjektivum je v tvaru jmenném). Sr. též V. Vondrák, Studie z oboru církevněslovanského písemnictví, 1903, str. 120, 158, 166, 167, 168, R. Nahtigal, Euchologium Sinaiticum II, 360. Vzhledem k hojnému, širokému a starobylému doložení čtení s dvojí předložkou (EuchSin. 39b 8—9, kod. Zogr., Cloz., Supr., všeobecně na půdě charvátské) je pravděpodobné, že tak zněl překlad tohoto verše *původně;* podle jistých známek lze předpokládati, že znění s dvojí předložkou bylo i v některé řecké variantě; kromě toho je opakování předložky *zcela v duchu slovanské skladby.* Vlivem řeckého textu bez předložky na místě druhém (ἐν σκότει καὶ σκιᾷ) bylo však druhé въ při novém srovnání s řeckým textem na půdě bulharské vynecháno, jak vidíme z PsaltSin., Pog., Bon., Euch. 63b 20—21, a také z Mar. (tento kodex byl nepochybně také znovu revidován podle řeckého textu). Podobné vynechání předložky je v našem textu v PsaltSin. také ve verši 4.

---

[3]) Překlad řeckého infinitivu s členem významu časového vedlejší větou časovou, uvedenou spojkou егда, je běžný překlad v žaltáři (80% dokladů se tlumočí tímto způsobem) a nesvědčí o nějakém vlivu latinském. Viz též verš 13 a 19. K podobným překladům v žaltáři viz Fr. Pastrnek, AslPh 25, 1903, 377—378, a můj čl. v Byzslav 7, 1937—1938, 280, 306.

[4]) Takovýchto dokladů v žaltáři je mnoho (74). Srov. Fr. Pastrnek, l. c. 369 až 375, 383—384, a v mé práci v Byzslav 7, 1937—1938, 297.

Verš 11. прогнѣваше] разгнѣвашѧ Pog., pod. раз- Sof., Buc., Mih.[1] — раздражише] раздражише и Lob.

Verš 12. (I) [смѣри] се] Съмѣри сѧ (bez и) PsaltSin. — [из]нем[огоу]] Ї изнемогѫ PsaltSin. (zde je po ruce řecká varianta καὶ ἠσθένησαν, srov. Rahlfs op. c., Laurenčík, Slovanské studie 77); изнемогошѫ Mih.[1] — (и)омоге[и]] помагаѭи PsaltSin., Pog., pod. Bon. Překlad z řec. ὁ βοηθῶν (Vulg. *qui adiuvaret*).

Verš 13. к г[в]ѣ] къ гю PsaltSin., кь гоу Pog., къ гоу Bon., Buc., къ богоу Mih.[1] – стоужн[ше]] вьстѫжишѧ PsaltSin., pod. Pog., Sof., въстѫжнхѫ Bon., встоужише Lob., Pasm., в'стоужише Par., Zagr. — е] нхъ Sof. Viz též verš 6., 19. a 28.

Verš 14. Ї н(зв)еде] изведъ sine и Tolst. — семртние] съмрътьны PsaltSin., Pog., Bon.

Verš 15. Да исповдет] Да исповѣдѧтъ сѧ PsaltSin., pod. Pog., Bon. — гви] гю PsaltSin., гоу Tolst. — сйм чскмь] сйомъ чавчмъ PsaltSin., pod. Pog., сйомъ чл°чъскомъ Bon., сыномъ чловѣчьскомь Mih.[1], чл̃вчскымь Buc., сйомь чскимь Lob., сйм' чскнм' Par., pod. Pasm. — Po slovese исповдет vynechává náš zlomek spolu s žaltáři charvátskohlaholskými zvratné zájmeno (ale ve verši 1. je се zachováno!) a podobně je tomu v našem textu také ve verši 21. (verš 8. pro špatnou čitelnost není v našem zlomku jistý); jde nepochybně o úpravu textu na půdě charvátské, při níž byl místu od původu málo srozumitelnému (původní překlad je grecismem, srov. Sever'janov v edici na uvedených místech) dán smysl poněkud odchylný.[5])

Verš 16. ѣко] како Mih[1]. — мѣдена] мѣдѣна PsaltSin., Pog., Buc., мѣдѧна Tolst., мидена Lob., Pasm., мѣдънаꙗ Bon., pod. Sof., Mih.[1] Viz též мѣдьнаꙗ врата съломи Supr. 487.6. — желѣзние] желѣзны PsaltSin., Pog., Buc., Tolst.; желѣз'не Par., pod. Pasm. (ne -нı, jak uvádí Valjavec, Rad 98, 1889, 78). Viz též: верѣѧ вѣчьныѧ съкроуши · и съломь · Supr. 462.18--19.

Verš 17. Прнѣт' е] bez zájmena Buc., нхъ Sof. — безаконнѣ] безаконеньѣ PsaltSin., pod. Pog. — безакони] Безаконнеı PsaltSin., Безаконении Pog., Безаконеи Bon. — безакони бо ради своихь] безакони бо своих' ради Pasm.; бо po без. vynechává Pog.

Verš 18. В'с'кого] Вьсего PsaltSin., Pog., Buc. — взгноуша се] вьзгноушаше се Buc., pod. Lob., Par., Zagr. — приближише се] sine се Lob. — с°мртнѣх' (snad, -ѣ- není však jisté!)] съмрътьныхъ PsaltSin., Pog., pod. Bon., Lob., Par., Zagr., Pasm., Mih.[1]

Verš 19. к гви] къ гю PsaltSin., къ гоу Pog., Bon. — стоужише] вьстѫжишѧ PsaltSin., въстѫжишѧ Pog., pod. Buc., Sof., въстѫжнхѫ Bon., встоужише Lob., pod. Par., Zagr., Pasm. — избави] сйсе Pog., Bon., Buc., Sof. — е]нхъ Sof. — Srov. také poznámky k verši 6., 13. a 28. Překvapuje избави za ἔσωσεν, zatím co ve verši 13. bylo za ἔσωσεν сйсе; избави ve verši 6. a 20. je za ἐρρύσατο.[6]) Zdá se však přece, že v původním překladě bylo избави (patrně napodobením verše 6. a pod.) a že se teprve později uplatnilo přizpůsobení k řeckému textu na půdě bulharské (PsaltSin. má rovněž избави!).

Verš 20. исцѣли] ї исцѣлı PsaltSin., Pog., Bon., Par., Mih.[1] — и(з)бави] ї избавı Psalt Sin., Pog., Sof., Buc., Zagr., Pasm. — нхъ po нцѣли má Sof., Mih.[1] — ѿ пагоубь] отъ пагоубы PsaltSin., Pog., Bon., Pasm. — bez нхъ po пагоубъї Bon. — K tvaru ѿ пагоубь: plurál je na půdě charvátské (kromě Pasm.), singulár v kodexech bulharských a s nimi i v PsaltSin. Je pravděpodobné, že původně byl v překladu singulár; Laurenčík, Slov. studie 79, se dívá na toto místo jako na doklad původního stavu, svědčícího podle jeho mínění o původní smíšené povaze originálního textu, který prý měl v sobě i čtení t. zv. západní (k nim patří i náš singulár, známý z kodexů této recense). Singulár by byl při kroatisaci textu na půdě charvátské proměněn v plurál, patrně vlivem latinského textu vulgátního *(de interitionibus)*; je však zajímavé, že v Pasm. je ještě singulár. Připomínám, že plurál by byl mohl vzniknout také přizpůsobením k podobným vazbám plurálovým ve v. 6, 13, 19, 28.

---

5) Původní smysl: „Nechť oslaví (pochválí) Hospodina pro milosrdenství jeho a pro zázraky jeho ve prospěch lidí.“ Srov. též M. Mlčoch, Psalterium seu Liber Psalmorum, 1890, 412 n.

6) Proti event. mínění, že by snad избави mohlo být pod vlivem lat. *liberavit*, svědčí překlad verše 13., v němž je сйсе, ačkoliv v latinském textě je rovněž *liberavit*.

Verš 21. Да исп҃вдет’] Да исповѣдѧтъ сѧ PsaltSin., pod. Pog., Bon. — г҃ѣ] г҃ю PsaltSin., г҃и Pog., Bon., Mih.[1] — с҃н҃м ч҃скм] с҃н҃мъ чл҃вчемъ PsaltSin., pod. Pog., с҃номъ чл҃чъскомъ Bon., pod. Mih.[1]; чл҃вческымь Buc.; с҃нмь ч҃скнмь Lob., Par., Zagr., Pasm. Srov. také verš 8., 15.

Verš 22. жртвоу хвалı] жрътвѫ хвалѫ PsaltSin. (prý místo ж. хвалѣ, jak myslí Sever'janov v edici PsaltSin. 142, nebo prý m. ж. хвальнѫ, jak soudí Valjavec Rad 98, 1889, 78); ж. хвалѣ Pog., Bon., Buc., Mih.[1] — н исп҃вдет’] Исп. (bez н) Pog., Bon., Zagr. — в радости] вь радость Mih.[1]

Verš 23. Сходещıен] Въходѧщен Bon., В’ходеще Zagr. Překlad participiem Сходещıен svědčí pro originál řecký (οἱ καταβαίνοντες); ve Vulg. čteme *Qui descendunt.* Překlad původní se neporušeně zachoval také na území charvátském. — в море] в морѣ Lob. — твореще] Творѧщеı PsaltSin., pod. Bon., Pog.; и твореще Zagr., Pasm.; и т’ворещен Par., pod. Buc. Čtení творѧщеı v PsaltSin., a spolu s ním v Pog., Bon., Buc., Par., je založeno na řecké variantě οἱ ποιοῦντες nebo může být (v Par.) přizpůsobeno prvnímu participiu složenému.

Verš 24. в’ глоубннѣ] глѣбинѣ Buc.; ѣже в глоубннѣ Lob.

Verš 25. вста] ста PsaltSin., Pog., Bon., Lob., Zagr. (toto je nepochybně původní, вста vlivem smyslu místa). — боу (nedopsáno)] боурены PsaltSin., боурьнын Pog., боурьнъı Tolst.; боуренъ Bon., Mih.[1], боуран’ Lob., pod. Pasm., боур’нь Par., Zagr. — взнѣсе се] вьзнѣсѧ сѧ PsaltSin., в’знесе се Par., Pasm., bez zvratného zájmena се v Zagr.; възнѣша Tolst.; вьзнесоше Buc., възнесошѫ сѧ Bon., Mih.[1]

Verš 26. до безд’ (nedopsáno)] до безденъ PsaltSin., Mih.[1], до бездьнъ Pog., pod. Sof., Tolst., Buc.; до бездань Lob., без’днь Par., бездньк Zagr., безд’н Pasm.; до безднъї Bon. — дı҃ша ... таѣше] дı҃шѧ ... таашѧ PsaltSin. — злом’] вь зланнхь Buc., въ злыхъ Mih.[1] Ad дı҃шѧ ... таашѧ v PsaltSin.: Sever'janov v ed. 373 označuje plurál jako „особенность Синайск. Псалтыри", u slovesa jde prý o 3. pl. aoristu. Originál však ukazuje, že původně šlo o singulár substantiva i slovesa a o imperfektum slovesa; neporozuměním vznikl při opisování textu PsaltSin. plurál, na půdu charvátskou se však dostal text starší, neporušený.

Verš 27. В’змеше се] Възмѧсѧ сѧ PsaltSin., Възмѧшѧ сѧ Pog., Възмѧтошѫ сѧ Bon.; смоутише се Buc., смѫтишѫ сѧ Mih.[1] — в’сколѣбаш(е) се] поколѣбашѫ сѧ Mih.[1] — ѣко п’ѣнн] ѣко н п’ѣнн Lob. — п’ѣнн] пиѣні PsaltSin., pod. Pog., Bon., Zagr., ale пı҃аныи Sof., Buc., Mih.[1] (řec. ὁ μεθύων, lat. ebrius). Plurál patrně vlivem předcházejícího textu, texty charvátskohlaholské jsou však neprůkazné. — поглъщена бн] поглъти сѧ Mih.[1]

Verš 28. кь г҃вѣ] г҃вѣ Lob. — г҃ѣ] г҃ю PsaltSin., г҃оу Pog., Bon., Buc., г҃и Sof. — стоужнше] въстѫжнша PsaltSin., pod. Pog., Bon., в’стоужише Par., Zagr., pod. Pasm. — ѿ бѣдь] И отъ бѣдъ PsaltSin., Pog., Bon., Par., Zagr., Pasm. — изведе е] н взвѣде е Lob.; ї҃збавı ѩ ї҃зведе ѩ PsaltSin. [k tomu Sever'janov 142: ї҃збавı ѩ стерто (но ясно читается); рука писца; такое чтение (вм. ї҃зведе ѩ ἐξήγαγεν αὐτούς) встрѣчается въ Софійск. Псалт. (изд. Ягича Бол. Псалт.)]. Věc se dá vyložit několikerým způsobem. Je na př. možné, že písař PsaltSin. měl sice v své předloze изведе, že však napsal ї҃збавı po paměti podle verše 6. a 19., v nichž je избавн; nahlédnuv do předlohy, která se v tomto verši od veršů 6. a 19. lišila, opravil se na изведе. Podle Laurenčíka, Slov. studie 77, je však ї҃збавı známkou západní redakce, která byla podle něho charakteristická pro *původní* překlad žaltáře (byl prý smíšené povahy). Dodejme však, že předpoklad ten není jistý (viz Vajs, Byzslav. 8, 55 n.); kromě toho by bylo musilo být původní čtení opraveno velmi brzy, ještě dříve, než se text dostal na území charvátské. Vadí tomuto výkladu také ta okolnost, že je čtení ї҃збавı doloženo jen dvakrát, zatím co изведе je jinak v textech obecné. V každém případě by byl musil být již originál PsaltSin. revidován podle nějakého *jiného* řeckého textu (byly řecké varianty ἐξήγαγεν, ἐρρύσατο, ἔσωσεν). — е]нхъ Mih.[1], Buc.

Verš 29. Na charvátském území se opět neporušeně zachoval původní překlad z řečtiny (text vulgátní je zcela jiný). — Ⰻ повелѣ] bez н Lob., Par., Zagr. — боурѣ] боурı PsaltSin., Pog., Bon. — н ста] встати Lob. — в хладь] въ тı҃шı҃нѫ Mih.[1] — оумⷧ҇коу] оумлъкѫ PsaltSin., оумлъкноу Tolst., оумлькоше Buc., оумлъкошѫ Mih.[1]

Verš 30. Ⰻ вз’веселише се] Възвеселншѧ сѧ Pog., — оумⷧ҇к (nedopsáno)] оумлъкѫ PsaltSin., pod. Pog., Bon., Lob., Par., Zagr., Pasm., оумлъкноу Tolst., оумлькоше Buc., оумлькошѫ Mih.[1]

III. Rozbor paleografických, jazykových a textových vlastností textu

A. *Rozbor paleografický*

Hlaholice Emauzského zlomku je charvátská, není však ještě tak vyvinutá, jak ji známe z památek t. zv. zlatého věku charvátskohlaholského písemnictví.

Písmo je poněkud nakloněné a *visí* na linkách (zatím co písmo, které dodal obnovovatel začátku textu na levém sloupci strany A, na linkách *stojí*).

Některé vlastnosti hlaholice našeho zlomku svědčí o jejím vyšším stáří.

1. V ligatuře мл je doložen ještě starý tvar litery м (srov. Aa 3, Ba 15, Bb 17, 19), a to s čtverci hranatými. Jinak ovšem máme v našem zlomku latinské м, nejspíše původu beneventánského, které je také známo brzo (tak již z nápisu krčského, ze zlomků Vídeňských a pod.). — 2. Je tu zachováno také původní ⰺ (ι), celkem 11krát, z toho 10krát v iniciálkách, jednou pak v ligatuře мι Ba 18. Tento výskyt je asi příčinou zachování starobylosti této litery, která nemá snad jen jednu nožku (ı není tu vůbec doloženo) ani nemá vysoký trojúhelníkovitý podstavec, nemá tedy ještě podobu pozměněnou, jak tomu je již v charvátskohlaholských památkách nejstarší vrstvy, pokud má v nich platnost hláskovou. — 3. Litery ε (ⰵ) a д (ⰴ) jsou psány tak, že je většinou dobře patrné *zaokrouhlení* čárky spojující oba sloupce (srov. na př. Ⰵ v Ba 2, 5, 7, д v Bb 3, 5, 8, 14, zvl. v ligaturách). Starobylý tvar má také iniciální Ⰵ (malé kroužky, dole zakončení tupé a rovné, srov. Ba 7, Bb 7, 10), a také iniciální Ⰴ je dlouhé, s malými postranními kroužky (viz Aa 20, Ba 15). Při д(ⰴ) je arci pravý sloupeček většinou nižší než levý, ač je to někdy (na př. Bb 3,5) málo patrné; toto snížení se však začíná již brzy, podle popisu Vajsova je známo již ze zlomku sv. Tekly (Rukověť hlaholské paleografie 80, Nejstarší breviář 25). — 4. Při л (ⰾ) má petlice vyčnívající nad linku někdy podobu poseseknutého čtyřúhelníku (hruškovitou), připomínající trojúhelník. Podobně je tomu u litery c (ⱄ), jejíž základ jasně ukazuje stopy bývalého trojúhelníku (srov. Bb 6 a j.). U této litery jde opět o starobylý útvar, s oběma částmi přibližně stejně vysokými, bez prodloužení horní nebo dolní části; jen v majuskulách je podstavec protažen (Ab 5, Ba 20). Stopy trojúhelníku vidíme také ve spodku litery щ (ⱋ), ačkoliv je již spíše rázu čtverhranného (není však ještě vysoký, jak je tomu v památkách mladších). A podobně je starobylý útvar litery ч (ⱍ) v Ba 16 s trojúhelníkovitým vpravo obráceným dolejškem; třeba k tomu připomenouti, že při ч pravé hořejší raménko *není ještě zubovitě zlomeno!* — 5. Litera т (ⱅ) je velmi nízká v předložce ŏ a v drobném psaní (Aa 13, Ba 9, 19). Očka nebývají ještě zcela hranatá, i když jsou kromě uvedených případů protažena v čtyřúhelníky, ne však ještě vždy ve velikosti ostatních liter (sr. Ba 17); většinou jsou arci již stejně dlouhá jako nožičky litery ε (ⰵ), s níž se vy-

skytují v ligatuře (Ba 18, Bb 1). Majuskulní útvar této litery v Bb 3 má obě postranní části značně prodlouženy, ale ještě ne zcela hranaté. Celkem jde o útvar podobný tvarům známým z charvátskohlaholských památek staršího období. — 6. Starobylý útvar má i litera ϵ (э), která je opatřena příčnou linií, arci již jen jedinou (toto — jedna příčka — je již zjev starý, na př. již v Pražských zlomcích, Vídeňských listech a pod.); někdy (na př. v Ba 11, 13 — první —, Bb 6) přesahuje tato linka přes oblouček na druhou stranu, což je zajisté rys starobylý. Na jednom místě jsou jakoby patrné linky dvě (Aa 1 v -тϵ). Někdy není arci linka příčná jasně vidět (Ba 17, druhé v Bb 8), buď vybledla nebo je to počátek dalšího vývoje (linku opouští na př. již zlomek t. zv. Lublaňského homiliáře). — 7. Něco podobného je u litery оү (ꙑ). Tato litera má obě části k sobě sraženy; druhá část je vždy menší než první a výjimečně (srov. Ab 3, Bb 4) je vidět protaženou linku, zbytek to chvostíku „yžice“. „V mladších památkách bychom stopy tohoto chvostíku marně hledali,“ praví Vajs v Rukověti hlah. paleografie na str. 93. — 8. Litera л (+) má levé raménko o maličko kratší než pravé; prostřední sloupeček není protažen do výšky, litera není ještě dlouhá. Náš útvar se podobá formě této litery známé z památek starších. — 9. Starobylý je také útvar litery з (ⰸ) [litera ѕ (ⰷ) -*dzělo* není v našem zlomku obsažena]. Její očko není ještě prodlouženo jako na př. již v zlomku sv. Tekly nebo v misálu Novakově a litera nevybíhá z řádky jako v mladších rukopisech. Očko není prodlouženo ani v ligaturách, což Vajs (Nejstarší breviář 26) dokládá pro první breviář Vrbnický. — 10. Písmeno н (ⱀ) je nakloněno nalevo, při patě sloupku je jedna příčka, druhou zastupuje čárka prodlužující oblouček (je to tak známo již z Pražských zlomků). Útvar její odpovídá formám známým ze starobylých památek charvátskohlaholských. — 11. Starobylý útvar má i litera ρ (ⱃ), pravidelně s horní vodorovnou okrasnou linečkou, někdy velmi výraznou; opěrný sloupec bývá nakloněn napravo. — 12. Litera ц (ⱌ) (sr. Ba 13) má dole ještě opěrnou basi, jak je tomu v starších charvátskohlaholských památkách. Později je, jak známo, písmeno to užší a spodek končívá hrotem. — 13. Pokud jde o litery jerové, tu třeba povědět, že *starých* liter pro jer a jeř v našem zlomku již není. Jer se tu píše buď sloupkovitou čárkou, nahoře zakončenou příčnou opěrnou linečkou (tato čárka však již vyplňuje celou linkovou mezeru) nebo je místo jeru apostrof znatelně hranatě provedený, což je známkou starobylosti. Jos. Vajs praví v Nejst. breviáři 23: „Okolnost tato — totiž apostrof dosti zahrocený — jest rázovitá pro starší památky s písmem spíše oblým, kdežto mladší památky psané písmem ostřejším mají opačně apostrof obloučkovitý.“ T. zv. zlomky Krakovské, nedávno popsané Jos. Vašicou (Slavia 18, 1947—1948, 111—137), mají již většinou znak oblý, a jen třikrát je v nich ještě starší tvar hrotitý; v našem zlomku je však hrotitý útvar pravidlem. Někdy se v našem zlomku objevuje apostrof zvláště na konci řádku, zatím co uprostřed je zmíněný sloupeček, označující jerovou literu

(sr. Aa 2, Ba 11, 14). Pro malý rozsah zlomku a pro jeho částečně špatnou čitelnost nemůžeme říci, že by snad v něm (srov. Ba 9) nebo v knize, k níž náležel, nebylo bývalo jerových liter starší podoby vůbec (na př. v celém rozsáhlém prvním breviáři Vrbnickém je starý znak jen asi v 20 případech); podobně jako náš zlomek nemá ani t. zv. druhý zlomek Vrbnický, patřící do pokračování nejstaršího období hlaholice na charvátské půdě, starých znaků pro jer. — 14. K znakům starobylosti patří i to, že písmena iniciální jsou vyplněna suříkem, jak je to patrné tmavšími místy na snímcích. Vajs poznamenává, že „zvyk vyplňovati suříkem základní obrysy (kontury) písmen jest zvláštnost kodexů starší doby“ (Nejstarší breviář 28).

V našem zlomku, třebas obsahuje krátký text, je zřejmá *snaha po svazování či spřahování liter*. Vyskytují se tu tyto ligatury: зв (Ba 10, Bb 13, 15), гв (Ba 10), χв (Ba 18), лв (Ab 8, Ba 13), пв (Aa 1 a j.), тв (Ba 18, Bb 1), пвд (Ba 15), взв (Bb 18), зд (Bb 8), гд (Bb 14), вз (Bb 6), зл (Bb 9), лι (Ba 18), мл (Aa 3, Ba 15, Bb 17, 19), вл (Bb 6, 18), χл (Bb 17), гл (Bb 4, 12), пρ (Aa 18, Ab 8, Ba 3 — v inic. —, 8). Svazovány jsou obvykle dvě litery, jen ve dvou případech litery tři. Josef Vajs upozorňuje v své Rukověti hlaholské paleografie 108, že epocha charvátskohlaholská je bohatá na svaznice, „a sice od dob nejstarších“. Ale i v ligaturách, a mnohdy právě v nich, vidíme často ještě starobylý ráz, útvar liter.

Zlomek náš zná starobylé *zkratky*, a to б҃и Bb 13, ȏ Ba 3, бж҃иѣ Ab 9, г҃би Ab 19 a j., г҃на Bb 3, д҃ша Ba 8, Bb 8, д҃шоу Ab 3, дх҃ь Bb 5, н҃бс’ Bb 7, с҃им Ab 2 a j., ч҃скмь Ab 2 a j., с҃исе Ab 16, ср҃це Ab 12, м҃ст(ь) Aa 3 a j.; k nim přibylo několik případů dalšího vynechání liter, na př. бл҃гь = благь Aa 2. Titla se někdy vynechává nebo není patrná (srov. podobně v žaltáři Lobkovickém; Vajs, Psalterium XVII), srov. mé poznámky pod přepsaným textem. Dvakrát máme v našem zlomku nedopsané slovo (Bb 5, 8), podobně jak leckdy na konci stránky nebo řádku a pod. vidíme i v starých hlah. rukopisech prvního období.

Rozdělovací znaménka mají mezi verši nebo většími celky uvnitř veršů podobu t. zv. comma maius, které, jak výstižně poznal Vajs (Psalterium XV), „pausam recitandi significasse videtur“.

Celkem ukazuje paleografický rozbor zlomku na jeho poměrnou starobylost. Domnívám se, že podle vypsaných znaků nenáleží ještě do doby rozkvětu charvátskohlaholského písemnictví s vypsanou, tučnou a ostře hranatou hlaholicí, nýbrž do vrstvy památek přechodných, stojících na rozhraní mezi obdobím nejstarším a další vývojovou etapou hlaholského písemnictví na charvátské půdě. Mluvě o nejstarším období charvátskohlaholského písemnictví, rozlišuje náš první znalec památek tohoto druhu prof. Jos. Vajs (Rukověť hlaholské paleografie 137—143) podle starobylosti písma památky vskutku nejstarší od „pokračování těchto památek nejstaršího období“ (str. 141) a od zlomků z tohoto období, které jsou

„poněkud mladší“ (str. 142). Také I. breviář Vrbnický je paleograficky starobylý. Mezi tyto přechodné zlomky a památky kladu také náš zlomek žaltářní, asi na rozhraní století 13. a 14. Vznikla tedy památka, z níž je náš list malým pozůstatkem, podle mého přesvědčení kolem roku 1300 nebo o málo později, *nejspíše na samém začátku 14. století.* Srovnáme-li ji po stránce písma s jinými soudobými charvátskohlaholskými památkami, pozorujeme na př. podobnost s II. zlomkem Vrbnickým (srov. tab. XXVI ve Vajsově Rukověti; připomínám však, že tento zlomek má již také — vedle I — iniciální H). Písmo Emauzského evangeliáře prozrazuje již větší vypsanost. Ale je pokročilejší také již misál Vatikánský Illyr. 4, datovaný Jagićem na počátek 14. století (1317—1323)! Pro starobylé datování našeho zlomku nemůže být překážkou nedostatek starých liter pro jery.[7])

Žaltář (breviář), jehož byl náš list součástí, psán byl tedy nejspíše ještě před příchodem charvátských mnichů do Prahy do Emauz, v samém Charvátsku, a do Emauz se dostal s příchodem těchto charvátských mnichů. Tu ho bylo užíváno a tu byl také pozdějším obnovovatelem písma opravován (srov. Aa 1—4). Písmo tohoto obnovovatele nese, jak jsme viděli, známky stáří mnohem mladšího. Obnovení bylo zajisté potřebné proto, poněvadž již v staré době bylo písmo vybledlé — známka to opět většího stáří rukopisu. *Náš zlomek je tedy dědictvím z prvních dob slovanské bohoslužby v Emauzích.* (Archaisující ráz písma t. zv. zlomků Krakovských — je ovšem písmo, jazyk i text těchto zlomků pokročilejší než na zlomku našem — nebyl překážkou profesoru Vašicovi, aby položil vznik Krakovských zlomků do samých Emauz: nutila ho k tomu povaha textu zlomků; ale takové překážky při zlomku našem není.)

B. *Rozbor jazykový*

Náš zlomek náleží k srbocharvátské recensi církevněslovanského jazyka. Vyznačuje se jazykovou starobylostí, ale prozrazuje také stopy prostředí, v němž vznikl.

1. *Poznámky hláskoslovné*

a) *Jery.* Píše se, jak již pověděno, znakem jediným (buď jako sloupek zakončený nahoře opěrnou linečkou nebo jako hrotitý apostrof); projevuje se tu, jak je tomu v srbocharvátské recensi církevněslovanského jazyka vůbec, splynutí obou jerů. Znak nebo apostrof se zvláště pravidelně píše na konci slov; na straně B je výjimka jen v zkratce сйм чскм Ba 17 a u předložky в ve spojení se substantivem (Ba 20). Je to zjev pravopisný (písařský způsob), známý i z jiných památek a psaní znaku na absolutním konci slov se leckde dlouho drží.[8])

---

[7]) Není jich rovněž v Illyr. 4 a j. Srov. výše v rozboru paleografickém č. 13.

[8]) Upozornil jsem již na pravopisný zjev v našem zlomku, že se na konci řádku, patrně pro nedostatek místa, dává přednost apostrofu, zatím co uprostřed je znak pro jer, srov. Ba 11, 14, Aa2 a j.

Úplné vynechání znaku pozorujeme především v předponách въз- a съ- (v slově стоужише — PsaltSin. въстѫжишѩ —, Aa 16, Ab 15, Ba 10—11, Bb 14, máme přechod od въз- ve вьс-, вс-, с-, dosvědčený v těchto etapách i v jiných památkách), méně v kořeni slov. Proti 39 dokladům na straně B (v obou sloupcích), kde pozorujeme buď znak (14) nebo hrotitý apostrof (25), je vynechávka v 16 dokladech. (Na straně A je menší viditelnost apostrofů.) Znak pro polohlásku se píše i v případě t. zv. *r* nebo *l* sonans: прѣтрьже Ab 18, вл'ни Bb 6, 18, погльщена Bb 12, оумлькоу Bb 17. V t. zv. poloze napjaté (před jotací) píše se církevněslovanskou tradicí -и-: вжиѣ Ab 9, беззакониѣ Ba 4, дѣланиѣ Bb 2; naproti tomu je však п'ѣни Bb 11 (пиѣнi PsaltSin., Pog., Bon., Zagr., пїанный Sof., Buc., Mih.[1]), srov. podobně п'ѣнство Joel I, 5 (Jos. Vajs, *Propheta Ioel*, 1908, 5), a pod. doklady z misálu Illyr. 4 (Vajs, *Najstariji hrvatskoglagoļski misal*, 1948, 83); je pravděpodobné, že tu apostrof označuje jen měkkou výslovnost (takto rozumí podobným příkladům M. Valjavec v Radu 98, 1889, 8[9]) nebo označuje výslovnost *ja*. Vokalisace jeru není doložena, ačkoli je k ní příležitost; o vokalisaci v *a* mohl by nepřímo svědčit doklad В'с'кого Ba 7, kde se znaku užívá místo а (podobný doklad cituje Vajs z I. breviáře Vrbnického v Nejst. breviáři 9: всько, z Illyr. 4 v Najst. hrvatskoglag. Misalu 83: вськом, вськ', всько). Třikrát (jistě dvakrát) je doloženo sekundární е za ь v семртнѣи Ab 6, семртние Ab 17, snad i семртнѣх' (m. -их') Ba 9; podobné doklady máme na př. v I. breviáři Vrbnickém, v Illyr. 4, v žaltáři Lobkovickém a j. Jde o rys známý na př. z nářečí vrbnickoomišaľského; již V. Oblak konstatoval v AslPh 18, 1896, 241, že se na Krku projevuje vokalisace obojí, v krátkých slabikách е, jinak а. (V. též M. Małecki, *Przegląd słow. gwar Istrji 49.*)

b) *Nosovky.* Za nosové *ę* (ѧ, ѩ) máme v našem zlomku kromě jednoho případu, o němž bude ještě řeč, pravidlem е, za nosové ѫ je tu оу; srov. се (m. сѧ) Aa 1, Ab 11, [в](зв)аше Aa 15, стоужише Aa 16 a j., е (m. ѩ) Aa 17 a j., Сѣдеще (m. Сѣдѧщѧ) Ab 5, прогнѣваше Ab 8, раздражише Ab 10, семртние Ab 17, испвдет Ab 19, верѣе железние Ba 2—3, a p.; [о]врѣтоу Aa 12, дшоу Ab 3, лачоущ[оу] Ab 4, нищетою Ab 7, оузи Ab 18, поути Ba 4, взгноуша се Ba 7, пожроут' Ba 17, глоубинѣ Bb 4, a pod.

V jednom případě za ѩ je ѣ: Принѣт' Ba 3 m. Приѩтъ. ѣ za ѧ po *j* v tomto případě a slovese máme již v nejstarších zlomcích, podobně v I. breviáři Vrbnickém (Vajs, *Nejst. breviář* 12), v misálu Illyr. IV (Vajs, *Najstariji Misal* 84), v žaltáři Lobkovickém, Pařížském (Vajs, Psalterium XVII) a j. Je to rys dialektický, známý v nářečích čakavských a i mimo ně (není exklusivně čakavský, srov. M. Rešetar, AslPh 13, 1891, 101, M. Milčetić, Rad 121, 1895). V. Oblak upozornil v AslPh 18, 1896, 241, 244, že tento pochod (ję > ja) je v nejarchaističtějších nářečích krčských nejřidší a že na Krku a na severu vůbec je omezenější než jižněji a na jihu. Srov. též M. Rešetar, AslPh 17, 1895, 13, Primorski lekcionari

---

[9]) Srov. též Fr. Ryšánek, Slovanské studie 211—212.

109; Fr. Pastrnek, Chrvatskohlaholský rukopis sienský, Věstník Král. české společnosti nauk 1901, IV, str. 6; V. Vážný, Čakavské nářečí v slovenském Podunají, 1927, str. 142 (22); doklady u K. H. Meyera, *Untersuchungen*... 74, 97, 111; u M. Małeckého, *Przegląd słowiańskich gwar Istrji*, 1930, 58. Také v zlomcích Krakovských našel Vašica tento jazykový rys, opět jen u slovesa *prijęti*.

c) *Za* ѣ *se píše* ѣ, a to na všech místech, kde je očekáváme, na př. вѣкь Aa 3, свѣт’ Ab 9 (съвѣтъ), желѣзомь Ab 7, взнѣсє Bb 6 (възнѣсѧ), в т[роу-д]ѣх’ Ab 11, в тмѣ и в сѣни сємртнѣи Ab 5—6 a pod. S platností *ja*: ѣко Aa 2, бж҃иѣ Ab 9, таѣшє Bb 9, п’ѣни Bb 11, a pod. Jak jsme viděli, je zaznamenána výslovnost *ja* i za *ję*, a to v Приѣт’ Ba 3. Po *n* je -а v г҃на Bb 3 (дѣла г҃на; PsaltSin. г҃нѣ), srov. podobně u Vajse, *Psalterium* XIII: „Communis est scribis huius familiae post л, н, р usus scribendi а pro ꙗ (ѣ)“. Třikrát se píše -ѣ na konci slova m. -и: г҃вѣ Ab 14, Ba 15, Bb 14. Právě tento příklad je doložen i jinde a může být nepřímým svědectvím výslovnosti -ѣ na konci slova (podle výkladů L. Jakubinského bylo by možno pochopit výslovnost -*ě* jako -*i* na konci slov, srov. Zeitschrift f. sl. Ph. 1 (1925) 381 n., ale materiál náš je k závěrům příliš nepatrný). Doklad pro -*ě* v боурѣ Bb 16 třeba vykládat morfologicky.[10])

d) *Za -ti̯-* máme щ: лачоущ[оу] Ab 3—4, Єѣдєщє Ab 5, погльщєна Bb 13, a pod.

e) *T. zv. epenthetické l* máme doloženo v dokladu в кораблихь Bb 1.

2. *Z tvarosloví* můžeme zaznamenat řadu *starobylostí*.

a) *V skloňování substantiv.* Dobře jsou zachovány tvary deklinační *o-kmenové* (7. sg. n. желѣзомь Ab 7, злом’ Bb 9, loc. pl. m. в т[роуд]ѣх’ Ab 11, gen. pl. n. бл҃гь Ab 4, до врат’ Ba 9); *jo-kmenové* (loc. pl. m. в кораблихь Ba 20, Bb 1, gen. sg. n. бєзакониѣ Ba 4, gen. pl. n. бєзакони Ba 5); *a-kmenové* (gen. sg. хвалє Ba 18, изь тми Ab 17, loc. sg. в тмѣ Ab 5, в глоубинѣ Bb 4, instr. sg. инщєтою Ab 6—7, nom. pl. вл’ни Bb 6, 18, akus. pl. оузи Ab 18, gen. pl. ѿ вѣдь Aa 16, Ab 15, Ba 11, Bb 15, ѿ пагоубь Ba 14, loc. pl. в’ водах’ Bb 2); *jā-kmenové* (akus. pl. вєрѣє Ba 2), *i-kmenové* (nom. sg. m. [поу]т’ прави Aa 19, f. моудрост’ Bb 12, a pod., gen. sg. ѿ поути Ba 3—4, f. с[ѣ]ни Ab 17, loc. sg. в сѣни Ab 5—6, в радости Ba 19); *souhláskové* (akus. pl. чоудєса Ab 1, 20, Ba 16, Bb 4, слвса Ab 8—9, gen. pl. н҃бс Bb 7).

b) *V skloňování zájmen*, na př. akus. pl. є, gen. sg. n. в’с’кого a pod.

c) *V jmenném skloňování adjektiv a participií*: дш҃оу тщ[оу] Ab 3, врата мѣдєна Ba 1—2, в’ водах’ многа[х]’ Bb 2—3, слвса бж҃иѣ Ab 9, дѣла г҃на Bb 3, ѣко бл҃гь Aa 2; nom. pl. m. [жєждоу](щ)є Aa 13, творєщє Bb 1.

---

[10]) Jos. Vajs vykládá také případy tohoto druhu hláskoslovně (srov. Nejstarší breviář 12, Najstariji hrvatskoglagoljski misal 84). Srov. ještě dále v poznámkách tvaroslovných. Ikavsky by se ovšem i, koncové -ѣ vyslovovalo jako *i*. Je také мѣдєна Ba 1—2 (Psalt. Sin. мѣдѣна), výklad -є- z -ѣ- není jistý (srov. мѣдънаꙗ Bon., pod. Sof., Mih’, мѣдьнаꙗ Supr.).

d) Jsou zde *nestažené tvary složených adjektiv a participií:* gen. sg. f. семртние Ab 17, loc. sg. f. семртнѣи Ab 6, akus. pl. f. желѣзние Ba 2—3, nom pl. m. Ѳходещеи Ba 20.

e) Z našeho zlomku lze doložiti také *starobylé tvary slovesné.* Tvary *indikativu praesentis:* 3. pl. пожроут' Ba 17, Всходет' Bb 7, нисходет' Bb 7—8, испвдет Ab 19, Ba 15, 18; *imperativ:* Ісповѣдаите се Aa 1.

f) *Tvary starého nesigmatického aoristu:* 3. sg. наведе Aa 17, и(зв)еде Ab 16, Bb 15, Рече Bb 5, [изне]може Aa 14, спсе Ab 15—16, прѣтрже Ab 18; 3. os. pl. [не о]брѣтоу Aa 12, [из]нем[огоу] Ab 12, оумькоу Bb 17—18 (patrně i 19). Tvary t. zv. 2. aoristu sigmatického (delšího) nejsou tu doloženy.

g) *Tvary starého aoristu sigmatického:* 3. pl. взнѣсе се Bb 6 (s -c-), Взмеше се Bb 10 (s -ш-). Připomeňme i 3. sg. Прѣт' Ba 3 a бн Bb 12—13.

h) Je tu řada *aoristových tvarů sloves s inf. kmenem samohláskovým,* na př.: 3. sg. посла Ba 12, взгноуша се Ba 8, вста Bb 5, ста Bb 16—17, повелѣ Bb 16, скроуши Ba 1, сломи Ba 3; 3. pl. [в](зв)аше Aa 15, прогнѣваше Ab 8, смѣрише се Ba 6, видѣше Bb 3, a pod. Ve v. 9. (Ab 2) čteme насити, kde má PsaltSin. (a s ním Sof., Tolst.) насытилъ естъ; tvar aoristový je ve všech textech charvátskohlaholských a v Pog., Bon. a Buc. a je v textu nepochybně původní (za řec. aorist).

ch) *Imperfektum:* 3. sg. тѣше Bb 9 (m. тѣаше); stahování je v imperfektu sloves tohoto typu velmi brzké, srov. mé vývody k tomu v Slavii 11, 1932, 411; na půdě charvátské se tu zachoval starý tvar imperfekta (srov. různočtení k v. 26.).

i) Konečně připomenu *starobylé tvoření participia perfecti passivi:* [из']в(а)[вл](ени) Aa 4, погльщена бн Bb 12—13.

j) *Zvláštní poznámky* zaslouží čtyři tvary.

Tvar dat. sg. f. боурѣ Bb 16. Je doložen na půdě charvátské ve všech srovnávaných kodexech; v PsaltSin., Pog., Bon. je starý tvar боури. Vykládám tvar ten morfologicky přechodem od *jā*-kmenového tvaru k tvaru podle *ā*-kmenů; přechod ten byl způsoben ztvrdnutím měkkého *r* na půdě srbocharvátské, které nastalo v koncových slabikách velmi brzy; výslovnost *bura* a pod. umožnila včasné přitvoření tvarů podle tvrdého skloňování. Viz však též pozn. 10.

Dále je třeba ukázat na *ju*-kmenové tvary subst. господь; zatím co PsaltSin., Pog., Bon. a j. mají tvary většinou jen *jo*-kmenové, *o*-kmenové a naproti tomu tvary *ju*-kmenové nedůsledně a PsaltSin. výjimečně, na půdě charvátské (v našem zlomku a v srovnávaných památkách z tohoto území) jsou tvary tohoto způsobu *důsledně*: dat. sg. гви (psáno též гвѣ) má náš zlomek sedmkrát a spolu s ním také vždy všechny srovnávané žaltáře charvátskohlaholské, naproti tomu má PsaltSin. šestkrát гю a jen jednou гви, Pog. a Bon. mají čtyřikrát гоу a třikrát гви (jen ve v. 1. byl tento tvar obecně). I zde — v tom, že se skloňování tohoto typu více rozšířilo než jinde — vidím vliv prostředí srbocharvátského.

Malým písmem je psán, a proto je nejistý tvar с'мртнѣх' Ba 9—10 (lze

čísti -иχ' ?). Tvar na *-ěch'* by mohl ev. být utvořen podle skloňování zájmenného, jehož vliv se na půdě jazyka srbocharvátského v starší době hojně dokládá (srov. D a n i č i ć, Istorija oblika 160, 164, V a j s, Nejstarší breviář 20 atd.).

Konečně čteme v Ab 13 не в[ѣ] помоге[и], pod. ve všech srov. kodexech charvhlah. (PsaltSin., Pog., Bon. mají помагаѭи). Jde o participium praesentis act. od slovesa помошти s koncovkou analogickou podle měkkých kmenů, ale s ponecháním předcházející tvrdé souhlásky kmenové. Tvary podobného rázu na půdě charvátskohlaholské dosti se rozmohly, srov. na př. гредеи, чтеи z Habakuka (v. můj čl. o Jos. Vajsovi v Byzslav. 6, 1936, 229) a j.

3. *Po stránce syntaktické* lze zaznamenati jen rozdíly od stavu překladu v jiných kodexech a ev. odchylky od předpokládaného stavu původního nebo shody s ním, protože jinak máme před sebou týž překlad jako v PsaltSin. a pod.

a) Zcela v duchu slovanské skladby, která charakterisovala původní překlad, opakuje náš text ve verši 10. předložku ve rčení в тмѣ и в сѣни семртнѣи Ab 5 a spolu s ním také Lob., Par., Zagr., Pasm. (a také Zogr., Cloz., EuchSin. 39b 8—9, Supr.), zatím co PsaltSin., Pog., Bon. a j. druhé въ vynechávají. Není pochybnosti o tom, že zde zachoval náš zlomek a spolu s ním texty charvátskohlaholské původní překlad, opřený patrně o řecké znění s dvojí předložkou; PsaltSin., Pog., Bon. se od tohoto stavu odchýlily vlivem řeckého textu bez předložky na druhém místě. Blíže viz v poznámkách k verši 10. Podobné vynechání předložky je v PsaltSin. také ve verši 4.

b) Naproti tomu se *patrně aspoň ve dvou případech* shledáváme se syntaktickou novotou (v duchu jazykového vývoje) v tvaru adjektivním. Adjektivní tvar složený je totiž tam, kde PsaltSin. má ještě tvar jmenný, ve v. 7 (н[а поу]т' прави zl. Em., Lob., Par., Zagr., Pasm., pod Sof. a také v citátu obsaženém v EuchSin., proti на пѫтъ правъ PsaltSin., pod. Pog., Bon.), 10 (в тмѣ и в сѣни семртнѣи Emzl., Lob., Par., Zagr., Pasm., Bon., v citátu v kod. Zogr., dvakrát v EuchSin., proti съмрътьнѣ PsaltSin., Pog., v citátech v Mar., Cloz., Supr.), 14 (изь тми и с[ѣ]ни семртние Emzl. a srovnávané texty charvátskohlaholské, proti съмрътьнъι PsaltSin., Pog., Bon.), 16 (верѣе желѣзние Emzl., Bon., Lob., Zagr., Mih.; желѣзнъι PsaltSin., Pog., Buc., Tolst.; желѣз'не Par., Pasm.). Je obtížné pověděti v každém případě, jak znělo čtení původní; vzhledem k starobylému a hojnému doložení tvaru složeného musíme v něm někdy nepochybně spatřovati starobylou variantu, přesto však soudím, že aspoň ve verši 14. a 16. je novota v tvaru složeném.

c) Ve verši 22. má náš text (a s ním kodexy charvátskohlaholské) genitiv adnominální ve spojení жртвоу χвали, zatím co Pog., Bon., Buc., Mih.[1] mají adnominální dativ; v PsaltSin. je zde napsáno chybně жрътвѫ χвалѫ, a jistě nelze s určitostí říci ani, že je to místo původního ж. χвалѣ, jak praví S e v e r' j a n o v v své edici 142, ani že je to místo adjektiva

ж. хвалнж, jak soudí Valjavec v Radu 98, 1889, 78. Je však pravděpodobné, že zde byl původně adnominální dativ, genitiv mohl proniknouti při opravě na půdě charvátské snad vlivem latinského textu *sacrificium laudis.*

4. Pro *rozbor lexikální* platí totéž, co bylo právě pověděno o stránce syntaktické: slovní bohatství obsažené v našem textu je totéž jako v ostatních památkách, zejména též v PsaltSin., a stačí si proto všimnouti jen rozdílů v jednotlivostech.

Třeba vytknouti tyto tři rozdíly: ve verši 8. má náš zlomek spolu s Lob., Par., Zagr., Pasm., Bon., Mih.[1] adj. чловѣчьскъ, zatím co je v PsaltSin. a v Pog. чловѣчь, a podobně je tomu i ve v. 15. a 21.; ve v. 17 čteme dvakrát subst. безаконие, opět společně se všemi srovnávanými kodexy kromě PsaltSin. a Pog., kde je безаконьние (безаконениѣ, безаконнеи PsaltSin.); a konečně ve v. 18 čteme v našem zlomku opět ve spojení s Bon., Mih.[1], Lob., Par., Zagr., Pasm. в'с'кого брашна, zatím co je v PsaltSin., Pog. a Buc. вьсего.

Pro posouzení těchto rozdílů nemáme zatím po ruce rozsáhlý materiál lexikální, a proto se spokojím s jejich posouzením na základě nynějšího poznání daných poměrů. Podle výkladů Jagićových a Vondrákových a pod. má tu PsaltSin. a Pog. výrazy v překladu *mladší.* O dubletě чловѣчьскъ—чловѣчь pravil Jagić v Entstehungsgeschichte der ksl. Sprache 298, že prý je těžko rozhodnouti, který z obou výrazů byl v překladech původnější, Vondrák však dává přednost výrazu чловѣчьскъ (srov. LF 44, 1917, 51 a v Církevněslovanské chrestomatii 295). — O dvojici безаконие—безаконение se Jagić op. c. 282 vyjadřuje v tom smyslu, že v nejstarším překladě je normálně безаконие. Pokud jde o dublety вьсякъ—вьсь, dává Jagić op. cit. 285 přednost výrazu вьсякъ, který prý bývá později nahrazován zájmenem вьсь, hlavně před následujícím adjektivem nebo participiem a pod. Významné je, jak myslím, také rozložení výrazů v textech: mezi srovnávanými kodexy je PsaltSin. spolu s Pog. osamoceno proti ostatním památkám, mezi nimiž nacházíme nejen kodexy charvátskohlaholské, ale i Psalterium Bononiense, žaltář Mihanovićův a j. Podle dnešního stavu poznání věci lze proto míti za to, že v původním *překladě* byly na místech, o která nám jde, výrazy чловѣчьскъ, безаконие a вьсякъ a ty že pak byly v PsaltSin. nahrazeny výrazy чловѣчь, безаконение, вьсь; na půdě charvátské (též v našem zlomku) by se nám však byl zachoval *starší* stav překladu.

Z celého rozboru jazykového po stránce gramatické i lexikální vyplývá zjištění, že text v našem zlomku obsažený je velmi starobylý, i když se v něm zároveň projevuje prostředí, v němž vznikl. Malý rozměr zlomku neposkytuje ovšem dostatek materiálu k přesnějšímu určení místního prostředí ani nedovoluje obecnější závěry, tolik lze však povědět, že se neprotiví výsledkům, ke kterým vedl rozbor paleografický, naopak že je s nimi ve shodě.

C. *Rozbor textový*

1. Z textu v našem zlomku obsaženého a z jeho srovnání s textem obsaženým v PsaltSin. a v památkách pozdějšího původu rozličného prostředí jasně vyplývá, že v něm *jde o jeden a týž překlad jako v PsaltSin.*

2. I z našeho nevelkého zlomku je patrné, že je v něm, opět jako na charvátské půdě vůbec, dobře zachován *původní překlad pořízený z řečtiny.* To je odjinud zjištěno a v našem zlomku se to znovu potvrzuje. Tak je ve v. 2 [из']в(д)[вл](ѥни) za řec. οἱ λελυτρωμένοι (Vulg. *qui redempti sunt*); pod. ve v. 12., 23. Ve v. 7 je наведе е... в(нити) za řec. τοῦ πορευθῆναι (lat. *ut irent*). Ve v. 9 se jemně odlišuje (и)с(пл)ни za ἐνέπλησεν od насити za ἐχόρτασεν, zatím co má Vulgáta na obou místech *satiavit.* A text v. 29 І повелѣ боурѣ atd. za řec. καὶ ἐπέταξε τῇ καταιγίδι atd. úplně se liší od latinského *et statuit procellam in auram* atd., který je zcela jiný. Na všech těchto místech se překlad obsažený v Emauzském zlomku shoduje doslovně s textem známým z žaltáře Sinajského, stejně ovšem jako s překladem obsaženým v jiných textech charvátskohlaholských.

3. Ale z materiálu našeho je zároveň patrné, že *text Emauzského zlomku se na některých místech neshoduje s textem žaltáře Sinajského.* Již výše při rozboru syntaktickém bylo upozorněno na místo ve v. 10 (výklad syntaktický je v něm podepřen zněním řeckého originálu), kde proti znění textu v našem zlomku в тмѣ и в сѣни, potvrzenému v Lob., Par., Zagr., Pasm., v kod. Zogr., Cloz. a na jednom místě v Euch., potlačuje PsaltSin. druhou předložku (spolu s Pog., Bon. a j.), a bylo řečeno, že podobně postupuje i ve verši 4. — Ve verši 12. je PsaltSin. osamoceno proti ostatním kodexům jednak vynecháním, jednak dodáním spojky и· Jak ve verši 4. a 10., tak i ve verši 12. je příčinou změn doložených v žaltáři Sinajském nepochybně odchylný řecký text (srov. blíže mé poznámky k uvedeným veršům výše). — Jindy zase máme v PsaltSin. osobitou změnu, na př. ve verši 26., kde čteme дш҃ѧ... таѣшѧ proti singuláru v Emauzském zlomku (дш҃а... таѣше) a ve všech srovnávaných textech (srov. řecký originál ἡ ψυχὴ... ἐτήκετο a zde výše poznámky k tomuto verši). Tvar třetí osoby sing. imperfekta таѣаше (v té době zněl arci již zkráceně таѣше: stahování v imperfektních tvarech tohoto typu bylo velmi brzké) byl nahrazen třetí osobou pl. aoristu téhož slovesa podle smyslu místa a k plurálu slovesa byl přitvořen také plurál podmětového substantiva. Můžeme upozornit na př. na насъітилъ естъ v PsaltSin. (a s ním v Sof., Tolst.) proti насити v našem zlomku a podobně v Pog., Bon., Buc. a v textech charvátskohlaholských (v řečtině je aorist rovněž) ve verši 9.

Všimli jsme si rovněž v rozboru lexikálním některých nových výrazů v PsaltSin. Valjavec kdysi upozorňoval z ostatního textu žaltářního na tu okolnost, že v PsaltSin. jsou některé řecké výrazy již poslovanštěny, zatím co je v charvátských breviářích zachováno ještě jejich původní řecké znění nepřeložené.

V Emauzském zlomku a v ostatních srovnávaných památkách charvátskohlaholských a často i v jiných starobylých kodexech těchto a podobných změn není a není pochybnosti, že v PsaltSin. v těchto případech původní překlad zachován *není*. Tak je náš malý materiál *příspěvkem k potvrzení již proneseného, avšak materiálem šíře dosud nepotvrzeného poznání, že žaltářní text byl v Makedonii brzy podroben revisi, která záležela v srovnání podle řeckého originálu a v úpravě po jazykové stránce a pod. a která se obráží v PsaltSin.* (mohla být patrná již v jeho předloze), *ale do Charvátska se tyto změny již nedostaly.* Naším malým materiálem se potvrzuje podnětné zjištění Valjavcovo, vyslovené v Radu 99, 1890, 51—52: „Sinajski je psaltir prerad staroslovenskoga prijevoda, koji će biti dosta blizak slovenskomu izvor. prijevodu. ... Nu sve mi se vidi, da je hrvatilac psalama imao još stariji primjerak prijevoda pred sobom jer u hrvatskijem brevijarima dolaze ńeke premda malobrojne riječi neprevedene, koje su u sin. već posloveńene.“ Soudím, že toto zjištění, posilněné nyní naším skromným materiálem, stojí za to, aby bylo dále zkoumáno.[11]) Připomínám ještě, že se Valjavec, jehož rozpravu vysoce ocenil Jagić (Entstehungsgeschichte 248 n.), podnětně zabýval také poměrem charvátskohlaholských textů k cyrilským textům žaltářním; i k jejich vzájemnému poměru (na př. k poměru Pog. k Bon.) přináší naše srovnání malé příspěvky.

4. Ale i z našeho nevelkého textu je jasně patrné to, že *prošel* (většinou společně s ostatními kodexy charvátskohlaholskými, někdy se všemi, někdy jen s některými, někdy dokonce samostatně) *další úpravou na půdě charvátské.* Tato úprava se dála na podkladě srovnání s latinským textem a týkala se i leckterých změn jazykových a pod. V našem textu jde na př. o změny ve verši 3., ve verších 8., 15., 21., kdež byl místu od původu málo srozumitelnému (původní překlad byl grecismem) dán v Charvátsku smysl poněkud jiný (srov. varianty k těmto veršům a pozn. 5.), ve verši 20., v němž byl původní singulár zaměněn plurálem (a je tu též dvojí vynechávka spojky и), ve verši 25. (кста v zl. Em., Par., Pasm.: ста v PsaltSin., Pog., Bon., Lob., Zagr.) a pod. (Sem náleží i (п)омоге[и] v 12. v. ve všech charvátskohlaholských textech.) Někdy zachovává náš zlomek starobylejší znění než většina charvátskohlaholských kodexů a potvrzuje se celkem pozorování Vajsovo (Psalterium V) o velikých rozdílech mezi zachovanými texty. Srov. o těchto úpravách textu žaltářního na charvátské půdě obecně u Vajlavce v Radu 99, 1890, 52, a zvláště Jagić v Entstehungsgeschichte 248—251; měla by být však podrobněji zkoumána povaha a rozsah této úpravy.

---

[11]) Za pozoruhodné pokládal zjištění Valjavcovo Pastrnek v práci o charvátskohlaholském rukopise Sienském z r. 1901 v pozn. 5 na str. 6. Srovnáváním textu žaltářního z žaltáře Sinajského s citáty z žaltáře obsaženými v Euch. Sin. zabýval se nedlouho před svou tragickou smrtí Jan Frček a přišel, pokud se pamatuji, k podobným závěrům. Materiál Frčkův by měl být publikován.

IV. Závěr

Máme tedy před sebou zlomek, jeden zachovaný list z charvátskohlaholského breviáře, na němž je podán opis úryvku překladu žaltáře, asi ze samého počátku 14. století. Je to ovšem opis založený na předloze velice starobylé, sahající do doby mnohem starší.[12]) Rukopis vznikl, jak pověděno, ještě v Charvátsku a do Emauz jej přinesli charvátští mniši povolaní roku 1346 císařem Karlem IV. do Prahy. Jak si však vysvětlíme, že rukopis vznikl poměrně dlouho před jejich příchodem? Myslím, že odpověď musíme hledat v neutěšených poměrech na charvátském jihu v končinách, odkud mniši přišli. Tak se na př. mnichům z kláštera v opatství sv. Kosmy a Damiána na ostrově Pažmanu, kteří byli jistě mezi těmi, které císař do Prahy povolal (srov. Fr. Pechuška, ČKD 80, 1940, 14 až 54, 108—131, 192—208; Josef Vajs, Slavia 18, 1947, 223—225), zle vedlo za neustálých bojů rozpoutaných v 1. polovici 14. století mezi Be-

---

[12]) Nezabývám se zatím podrobněji otázkou, *odkud* se *původní* překlady do Charvátska dostaly. Soudím sám, že zde byly od počátku styky s Velkou Moravou i s Pannonií, že však zároveň nemnoho později povstaly a dlouho udržovány byly styky s hlaholským ústředím v Makedonii a v krajích sousedních. *Stavět oba tyto prameny v ostrý protiklad,* jak činí Geitler, *nepokládám za správné.* V dlouhých dějinách zkoumání sem příslušných otázek byl více zdůrazňován brzy jeden, brzy druhý pramen. Srov. k věci Fr. Pastrnek, OSN 13, 1898, 424—429, na př. na str. 426 mluví o „bezprostřední souvislosti hlaholského písemnictví chorvatského s první jeho dobou, která se rozvíjela na půdě moravskopannonské“. Podobně Fr. Pastrnek, VKČSN 1901, IV. pojednání. V. Jagić, Entstehungsgeschichte, 1913, str. 76 a na str. 246n. praví: „Würde der kroatische Glagolismus in einem so ausschliesslichen Kontakt mit Westmazedonien gestanden haben, wie es Geitler (Illyr. und slav. Schriften 155 a) und noch später zum Teil Vondrák (Glag. Cloz., S. 8—9) glaubte, so würden wir seine Heimat nicht im Norden (im kroatischen Küstengebiete und auf der Insel Veglia) aufzutreffen erwarten, sondern im Süden, etwa im Gebiete von Ragusa und im Gebiete der alten Stadt Dioklea. Es ist auch nicht einzusehen, soweit unser Auge in die Vergangenheit jener Gegenden vordringen kann, warum sich dort der Glagolismus nicht erhalten haben würde, wenn er je dort so geblüht hätte wie in den besagten Gegenden Kroatiens.“ Podobně soudili charvátští pracovníci, na př. Tom. Maretić, Franjo Fancev a j. Srov. na př. Maretićův článek *Prvi spljetski sabor i glagolica* ve Zborniku kralja Tomislava, 1925, 385—390, srov. tu zejména str. 389. Podobně učí Fancev v témž sborníku 509 n. K týmž názorům se kloní Weingart, Rukověť 84 a j. Na druhém stanovisku stál L. Geitler ve spise *Die albanesischen und slavischen Schriften,* 1883. Na str. 154 praví: Der glagolitismus der Croaten ist in jeder beziehung von dem bulgarischen abhängig sprachlich und graphisch. Na str. 155: Die glagolica kam nach Kroatien nicht vom norden, sondern aus dem Süden... Ich denke an eine fortwährende, langandauernde berührung der kroatischen künstenländer mit der südlichen heimat der glagolica, an einen fortwährenden nachschub bulgarischer handschriften, der insgesamt in eine Zeit fällt, da Pannonien für das slavische Schrifttum nichts mehr bedeutete. Totéž stanovisko poněkud zastával i Vondrák. V poslední době se touto otázkou opět zabýval K. Horálek (Slavia 19, 1950, 285—292) a rozhodně se přiklonil k názorům o balkánském prameni charvátského hlaholismu a proti přímé souvislosti této větve s velkomoravskou tradicí. O evangelijním překladě pravil: „Nepochybné shody s nejstarší balkánskou úpravou evangelního textu svědčí spíše pro možnost, že charvátskohlaholská literatura nemá přímé velkomoravské kořeny, že je tu třeba předpokládat balkánské prostřednictví.“ Celkem však myslím, že otázku tu bude třeba řešiti na širším základě a že nebudeme moci nechati stranou rozbor zvláště textu žaltářního, který se na území charvátské dostal nepochybně velmi brzo. Sám zastávám stanovisko, počítající s *obojím* pramenem charvátskohlaholského písemnictví.

nátčany a uherskocharvátským králem; bezprostředně před příchodem do Prahy neměli klidu a prostředků k práci literární. A podobný byl nepochybně tehdy osud i jiných klášterů. Papež Klement VI. se v listě k arcibiskupu Arnoštu z Pardubic z roku 1346 (9/5) zmiňuje o tehdejším těžkém osudu slovanských klášterů v pobřežním Charvátsku, o němž se dozvěděl od markrabího moravského Karla: mnoho klášterů s bohoslužbou slovanskou bylo prý zničeno a jejich mniši prý bloudí v zemi [srov. *Acta Clementis VI.*, pontificis romani, opera Lad. Klicman, Praga 1903 (Monumenta Vaticana I), str. 389: „... quod multa monasteria et loca monachorum nigrorum, sancti Benedicti et aliorum ordinum, in illis partibus huiusmodi ritum ex antiqua consuetudine usque in hodiernum diem tenencium, propter brigas et guerras illarum parcium destructa et ad nihilum sunt redacta, monachi, quoque et fratres monasteriorum et locorum predictorum, occasione huiusmodi nec deo nec christianis proficere nec eciam monasteria et loca ipsorum commode obtinere valentes, remanent vagabundi, propter quod cultus divinus et fides christiana in illis partibus minuuntur]; a dává svolení k založení slovanského kláštera pro tyto vypuzené mnichy v Praze. Ti tedy přinesli s sebou i starší knihy. V Emauzích se našeho breviáře dále užívalo a tam bylo také částečně obnoveno jeho písmo (srov. Aa 1—4); i to může svědčit, jak jsme viděli, o jeho větším stáří. A s klášterem sdílel náš rukopis i jeho další osudy.

Náš zlomek je malý, ale opět další svědek slovanské minulosti Emauz. V klášteře na Slovanech se konala bohoslužba podle knih z jihu přinesených; tu byly tyto knihy opisovány; tu se podnikaly nové překlady a další úpravy;[13]) zde se vyvinula překladatelská práce z češtiny do srbocharvátštiny;[14]) tu byly písmem hlaholským psány také biblické a vůbec náboženské knihy české a „není vyloučeno, že z tohoto kláštera působil církevněslovanský jazyk charvátské redakce poněkud na biblické překlady a zanechal i některá slova v staročeských slovnících, zvláště Klaretových" (B. Havránek, Čsl. vlastivěda, II, 1936, str. 12). Podle A. Frinty (Co daly naše země ... I, 1939, 59, a LF 67, 1940, 253) inspiroval se Hus k své revoluční pravopisné reformě právě v klášteře Emauzském, a to na příkladu českých rukopisů transkribovaných písmem hlaholským.[15]) A klášter byl také významným střediskem hlaholismu pro země sousední, střediskem, které vyzařovalo zpětný vliv i do Charvátska, a zároveň východiskem snah po slovanské sounáležitosti, *kterým byly posíleny starší tradice domácí* [v dopise Klementa VI (op. cit. 389) praví se také, že „in confinibus et circa partes regni Boemie, que de eadem lingua et vulgari existunt sint multi scismatici et infideles, qui, cum eis sacra scriptura latine dicitur, exponitur vel predicatur, nec intelligere volunt nec commode ad fidem christianam

---

[13]) Jos. Vajs, ČČM 75, 1901, 21—35 (Jos. Vašica, Slovanské studie, 1948, 159); A. Vykoukal, Slovanské studie 190, mluví o „pražském a emauzském Propriu".

[14]) Srov. B. Havránek, Co daly naše země Evropě a lidstvu, 1939, 52.

[15]) Viz však Fr. Ryšánek, sb. Slovanské studie, 1948, 211—212.

possunt converti dictique monachi et fratres vulgares predicatores, ritum predictum (t. j. v slovanském jazyce) habentes, in dicto regno et ipsius confinibus summe necessarii et utiles pro dei laude et augmentacione christiane fidei esse noscantur].[16]) Tuto kulturní tradici si dále osvojilo husitství a husité se dovolávali slovanské bohoslužby jako svého vzoru. Podle všech našich dnešních znalostí bychom proto neřekli, že slovanská bohoslužba v klášteře emauzském „živořila" (Vondrák, Církevněslovanská chrestomatie, 142); naopak, vydala všestranně hojné, významné a krásné plody a je naší povinností věnovati této epoše naší slovanské liturgie a kultury plnou pozornost a opravdový badatelský zájem.[17])

Josef Kurz

---

[16]) Viz V. Chaloupecký, Svatováclavský sborník II, 2, 1939, 454, 455. Také A. Florovskij uznává (Slovanské studie 230), že v Praze trval nepřetržitě od 10. do 14. století živý zájem o církevněslovanskou jazykovou tradici, i když na druhé straně nebylo přímé a nepřetržité souvislosti se starým obdobím církevněslovanské osvěty. Srov. k tomu také slova dopisu papeže Klementa VI. arcibiskupu pražskému Arnoštovi z Pardubic z 9. V. 1346 o poměrech v českých zemích.

[17]) K dějinám slovanského kláštera v Emauzích viz též M. Kostić, Glasnik skopljskog naučnog društva II, 1927, str. 160—165 (významnou recensi této práce napsal Josef Vajs, Slavia 7, 1928—1929, str. 157—159); Josef Vašica, Slovanská bohoslužba v českých zemích, Praha 1940, str. 24—31; Fr. Pechuška, ČKD 80, 1940, 14—54, 108 až 131, 192—208; Josef Vajs, Slavia 18, 1947, 223—225; V. Chaloupecký, Karel IV. a Čechy, úvod k překladu Vlastního životopisu Karla IV. od J. Pavla, Praha 1946; M. Paulová, Byzantinoslavica 11, 1950, 174—186.

K pramenům *Ohlasu písní ruských*

Naše literární historie se už po léta snaží odpovědět na otázky: jak dalece je Čelakovský ve svém *Ohlasu písní ruských* původní, co a nakolik převzal z různých písňových předloh a v kterých knihách se poučoval.

Ve své monografii o Čelakovském a jeho uměleckém díle, která leží hotova v rukopise, vymezil jsem podrobně u každého čísla ruského Ohlasu možnost i míru autorovy závislosti na té které předloze, při čemž jsem zdůraznil a objasnil vlastní tvůrčí podíl Čelakovského, který byl u nás dlouho skreslován: jednak přeceňován, jednak nazírán v nesprávném úhlu. Nesporně k tomu přispěla slova básníka samého, který v předmluvě k ruskému Ohlasu praví:

„Samo pak vymyšlení následujících písní v kroji ruském, jakož snadno sám zpozoruješ, *odnikud vzato není, vyjmeš-li užití rozměru*, některých tak nazvaných *stálých básnických forem*, po mnohých písních rozprostřených a stále se opětujících, užití též *několika gramatických zvláštností* a jiných některých *drobností*, což vše k lepšímu vytknutí *národní známky přičiniti se musilo.*“[1])

Tento úryvek z předmluvy Čelakovského byl jeho současníky, ale také ještě daleko později, brán příliš doslova. Čtenáři i kritikové se dívali na ruský Ohlas tak, jako by v něm Čelakovský ztvárnil zcela vlastní látku, uživ přitom toliko některých ustálených uměleckých formulí a charakteristických drobností ruských písní. Takové pojetí „originálnosti“ ruského Ohlasu zřetelně vyslovil ještě r. 1899 ve své slavnostní řeči o Čelakovském básník Jaroslav Vrchlický. Máchal v stati o ruském Ohlase (Listy filol. 1899) první a důkladně ukázal na mylnost těchto názorů. Od té doby se stále víc shledávalo, že Čelakovský přejímal ve většině čísel ruského Ohlasu nejen „kroj“ ruských písní, nýbrž také jejich prvky, motivy, ba mnohdy i celé situace. Ovšem nepřebíral je tak, aby ve svých básních ruské písně toliko parafrazoval. Zjistil jsem při rozboru Čelakovského překladů z ruských básníků, že Čelakovský ani „věrně“ nepřekládá, že místy proti originálu motivy vypouští nebo zas nové přidává. Do svých *Slovanských národních písní* nepřejímal Čelakovský z materiálu, který měl po ruce, všechno; vybíral si jen to, co se mu z jeho herderovsky zdůvodněného estetického stanoviska hodilo. Tím spíše postupoval tak v „ohlase“, v ozvěně této poesie. Čelakovský pronikl do ducha bylin a rozmanitých

---

[1]) Kursiva ode mne. A. Z

písňových typů ruských tak znamenitě, že dovedl motivy tam nalezené řadit v nové celky, po svém obměňovat a přetvářet v novou synthesu, která působila docela „ruským" dojmem, což Vacek Kamenický vyjádřil za všechny básníkovy současníky, když propověděl, že Čelakovský měl svoji lyru „potaženou strunami ze střev sobolových". Právě *synthesa cizích prvků* nejrozmanitější provenience, které Čelakovský obměnil a pro svůj účel upravil, je částí *samostatné* práce českého básníka.

Čelakovský se však nespokojoval všude toliko s tím, co látkově našel v ruských písních. On v duchu zvoleného thematu a také v duchu svého světového názoru i psychických disposic daný materiál *dobásňoval*. Dobře je to vidět na jeho postupu při „bylině" o Iljovi Muromci, kterého zlidštil, nebo na Čurilovi Plenkoviči, jehož docela v protikladu k bylinám charakterově přepodstatnil, nebo na Volžanínovi, kterého samostatně vytvořil, vycházeje tu z nepatrných podnětů, jež našel v ruských písních. Vnuká se mi tu obraz, jenž by mohl dobře postup Čelakovského práce vystihnout: Čelakovský tvoří jako autor mosaiky. Kaménky k svým obrazům — rozmanitých velikostí, někdy větší jich počet, jindy menší — přejímá z rozmanitých zdrojů. Než mosaiku složí, kaménky bedlivě ohledá, probere, upraví, aby posléze vytvořil celek, který je svým výsledným složením majetkem a dílem toliko jeho. Osobitost při řazení a obměňování přejatých motivů a tvarových klišé je v tvorbě umělců „ohlasového" typu odsouvána na druhý plán. Básníku jde především o to, aby nový útvar měl znaky skladeb, za jejichž ozvuk chce býti pokládán.

Čelakovský však jako umělec nemínil se spokojit s výtvorem suchým, který by předlohy toliko „objektivně" tlumočil. Naplňuje požadavek, který mu druh práce předpisoval, aby totiž nové celky odpovídaly duchu předloh, podal *svéráznou interpretaci ruských písní*. Zvýraznil ty rysy ruské písně, které hověly jeho uměleckým záměrům a konec konců také významným charakterovým rysům jeho osobnosti. V ruském Ohlase je to především laškovnost a humor, dobrosrdečnost, pohoda i rozmar písní, také jejich naivnost a sentimentálnost, na druhé straně šířka, slavnostnost ruských epických písní. Čelakovský básnil o rušných a pestrých situacích, mnohdy v dimensích zveličených — jako bychom za nimi viděli rozložitou zemitost jihočeského sedláka, u Čelakovského arci zušlechťovanou básníkovým širokým estetickým vzděláním a ciselérsky jemným smyslem pro detail.

Rysy umělého básníka poznáváme v Ohlase písní ruských na jisté logičnosti postupu při ztvárňování myšlenky, při rozvrhu děje, v motivacích činů a řečí nebo při gradaci motivů v lyrických básních. Silná reflektivnost Čelakovského-umělce byla tu vždy přítomna.

Tvárné prostředky ruských písní (paralelismy, antithesy, stálá epitheta, anafory, epifory, epanastrofy, srovnávací instrumentál atd.) musil však Čelakovský zachovávat, nechtěje setřít rázovitost své předlohy.

Ovzduší ruských písní snažil se Čelakovský vyvolat také přebíráním

ruských zvláštností slovníkových, frazeologických a syntaktických. Jakubec (*Lit. česká 19. stol. II*, str. 685) správně podotkl, že přebírání těchto rusifikujících elementů mohla motivovat „vědomá tendence básníkova, tehdejším buditelům vůbec vlastní: sblížit svůj národ s jinými národy slovanskými. Vedle této tendence, již můžeme v obměně shledat už v Slovanských národních písních, nesmí se arci zapomínat, jak tyto rusifikující prvky spolupůsobí v estetické výstavbě básní Čelakovského.

K tomu, aby mohl být vystopován poměr předlohy nebo inspiračního východiska k hotovému dílu Čelakovského, bylo třeba zjistit, jaké sborníky ruských písní a jaká theoretická díla o nich měl básník k disposici. Máchal správně usoudil, že klíč k poznání těchto pramenů nám poskytují Čelakovského překlady ruských písní v Slovanských národních písních. Sám určil tyto prameny:[2])

1. *Sobranije raznych pesen'* od Michaila Dimitrijeva Čuľkova (Časť I, Sanktpeterburg 1770),
2. *Novejšij i polnyj rossijskij obščenarodnyj Pesennik* (Moskva 1810),
3. *Novyj izbrannyj Pesennik* (Sanktpeterburg 1819),
4. *Novejšij vseobščij i polnyj Pesennik* (Sanktpeterburg 1819),
5. *Molodčik s molodkoju na guljane s peseľnikami* (Sanktpeterburg 1790),
6. *Drevnije rossijskije stichotvorenija* sobranyje Kiršeju Danilovym (Moskva 1818),
7. *Novejšij polnyj vseobščij Pesennik* (Moskva 1822), zachovaný s Čelakovského poznámkami v básníkově pozůstalosti.

Máchal připomněl také velmi důležitý spis Alexandra Sem. Šiškova *Razgovory o slovesnosti* (Sanktpeterburg 1811). Čelakovský znal ovšem ještě sborníky jiné. Tak překlad sbírky K. Danilova *Fürst Vladimir und dessen Tafelrunde, Altrussische Heldenlieder*, v Lipsku (1819) od Busseho. Tento celkem neznámý německý autor uváděl ruské písně ve čtyřstopých trochejích a tím jejich ruský ráz stíral. Sotva proto působil na Čelakovského, znalce uměleckého tvaru ruské písně. K básni *Udobření* Čelakovský sám citoval vysvětlení ze spisu Johanna Richtera *Russische Miszellen I.* (Lipsko 1803). Dějový půdorys básně *Odplata* vychází z Richterovy anekdoty. Fischer[3]) se dívá na tohoto Richtera jako na typického představitele intelektuálního světa německého, který zprostředkoval našim obrodičům leckterou informaci o slovanských národech.

Fischer upozornil na důležitou knihu Petra Otta von Goetza *Stimmen des rusischen Volks in Liedern* (Stuttgart 1828), jejíž četba u Čelakovského bezprostředně předcházela práci na ruském Ohlase. Ve své studii

---

[2]) Listy filol. 1899, 201 n.

[3]) O. Fischer vydal ruský Ohlas s bohatým výkladem ve sbírce Kytice, sv. 12 (poslední vydání připravil A. Grund r. 1949). Zde shrnul výsledky svého bádání o této sbírce básní.

v časopise Bratislava (VI, 1932) vyslovil Fischer theorii, že Čelakovský byl s Goetzem ve styku a že dostal od Goetza německou parafrázi písně *Jinoch,* kterou uveřejnil jako 26. č. ruských písní v 1. díle Slovanských národních písní. Připojil k písni versi polskou od Niemcewicze (*Bayki II.*, Warszawa 1820) a německou, která potom vyšla r. 1828 v knize Goetzově. Fischer konfrontoval místo v Čelakovského dopise Kamarýtovi, kde Čelakovský dne 12. února 1822 píše, že by mohli „vyvésti" *Hlasové Slovanských národů v písních,* s místem v Goetzových *Serbische Volkslieder* (p. III), kde německý překladatel slovanských písní sděluje, že měl srbské písně sebrány už v r. 1819 a že se od jejich vydání dal odvést myšlenkou na dílo, které mělo vyjít pod titulem *Stimmen der slavischen Völker in Liedern.* Fischer se táže, zda k této paralelnosti nepřispěla korespondence mezi oběma autory r. 1822. Už předtím nadhodil Fischer možnost prostřednictví Hankova. Pokládá totiž souběžnost vydavatelských snah Čelakovského a Goetza za nespornou. Nenašel však pro písemný styk obou žádného dokladu.

Podařilo se mi pro styk Čelakovského s Goetzem shledat neklamný písemný doklad. A opravdu prostředníkem zde byl Hanka. Jde sice o doklad z doby pozdější, ale celá jeho stylisace ukazuje na to, že Čelakovský byl prostřednictvím Hankovým s Goetzem v písemném styku už předtím.

Jak známo, měli se Čelakovský, Hanka a Šafařík odebrat na Rus za profesory slovanské filologie. Jednání o to vedl Hanka s P. I. Köppenem.[4]) Ale když Köppen odjížděl z Petrohradu na Krym, psal Hankovi o profesuře dne 1. (13.) června 1827 takto:

„In Beziehung auf Ihre, oder vielmehr unsre gemeinschaftliche Angelegenheit, betreffend die Slavischen Professuren, ist noch immer nichts etnschieden. Nun da ich Petersburg verlasse, wird wohl mein Freund Goetze (podtrhl A. Z.), den Sie durch seine deutsche Übersetzungen Russischer und Serbischer Volkslieder wohl aus dem Morgenblatte kennen werden, die ferneren Unterhandlungen mit Ihnen fortsetzen."[5])

Goetze (1793—1880), rodem baltický Němec, byl vysoký carský byrokrat. V oné době byl úředníkem ministerstva kultu. Jeho spisovatelské dílo patří zprostředkování kultury Slovanů a Němců. Köppen mluví o něm jako o příteli, ale co víc: jako o osobě i Hankovi známé. V Hankových listech by se mohl najít přímo i nějaký dopis od Goetza. Že Čelakovský věděl od Hanky všechno, co se týkalo Ruska, víme z toho, že většinu ruských pesenniků si půjčil od něho. Mezi oběma byl tehdy přátelský vztah.

Pokládám s Fischerem Goetzovu knihu pro genesi básní ruského Ohlasu za velmi důležitou. Fischer zdůraznil, že Goetze je „přesným německoruským protějškem k českoruskému překladateli a sběrateli Čelakovskému".[6]) Čelakovský nejmenoval ani v prvním ani v druhém vydání

---

[4]) Čelakovský Kamarýtovi dne 17. 9. 1827: „Skrze kathedry má v dopisu na starosti Hanka: Tvé ale dosud zprávy neobdržel." (ČK I, 320.)

[5]) V. A. Francev, *Pis'ma k Vjačeslavu Ganke iz slavjanskich zemel',* str. 464.

[6]) O. c., str. 12.

ruského Ohlasu Goetza jako svůj pramen.[7]) A přece se zmínka o hudebních nástrojích „husli“ a „hudok“ opírá o německý výklad Goetzův. Fischer připomíná ještě u čtyř poznámek Čelakovského v ruském Ohlase jako pramen knihu Goetzovu. Jde o tyto poznámky: 1. vysvětlení, že se v ruských písních *šibenice* nejmenuje přímo; 2. vysvětlení termínů *ataman* a *jesaûl* (zde ovšem přídavek „neboli *assavula*“ ukazuje, že Goetze pro toto místo nebyl pramenem jediným); 3. poznámka o patronymikách (*orel* — *orlovič*); 4. poznámka, vysvětlující termín *ponizová* města.

Fischer zdůraznil, že Goetzova kniha byla takovou knihou, již Čelakovský „po léta očekával“. Proto vedle úkolů, které sám v souvislosti s Goetzovou knihou bystře provedl, upozornil na nutnost rozboru Goetzova úvodu, kde se popisují charakteristické rysy ruských písní, a na důležitost srovnat Goetzovy tamní poznatky o ruské písni s praxí Čelakovského v ruském Ohlase.

Pokusil jsem se provést tento úkol. Poněkud jsem si jej rozšířil: všímám si totiž v knize nejen úvodu („prospectus“). V *Literrärische Nachweisung*, která předchází vlastní autorův úvod, připomíná Goetze dvanáct pramenů, z nichž je možno se poučit o ruské lidové písni, o ruských zvycích atd. Jsou zde dvá Čelakovského prameny k Slov. nár. písním: Richterovy *Miszellen* a Šiškovovy *Razgovory*. Jako č. 3. uvádí Goetze sbírku „německého hudebního skladatele“ Pratsche. Fischer upozornil na význam srovnání Al. Vostokovovy (vl. Osteneckovy) studie *Opyt o russkom stichosloženiji,* která vyšla v Petrohradě r. 1817, s prosodií ruského Ohlasu. Žel, vypracovat tento úkol jsem nemohl, protože tato kniha zůstala pro mne nedostupná. Myslím, že studium této publikace by mohlo přinést užitek pro obohacení našich vědomostí o metrice ruského Ohlasu. Čelakovskému mohla být pobídkou, aby se po knize sháněl, významná a nadšená připomínka Goetzova, který označuje knihu za „sehr vorzüglich“. Nevím, proč Fischer nepřipomíná ještě další literaturu, kterou má Goetze o ruské lidové písni. „Za 10“ mluví na př. Goetze o jedenáctém svazku *Trudy obščestva ljubitelej russkoj slovesnosti pri moskovskom universitete* z r. 1818, kde je článek Glagolovův *Über das Charakteristische der russischen Volkslieder.* Také tato publikace mi zůstala, bohužel, nedostupná.

Přejdu nyní k vlastní Goetzově předmluvě. Domnívám se, že její theoretické vývody přicházely Čelakovskému, který psal ruský Ohlas, jako na zavolanou. Je více než pravděpodobné, že převážnou část z toho, co bylo řečeno v knize Goetzově, Čelakovský už znal. Goetzova kniha sehrála v jeho rukou úlohu souhrnu poznatků o ruské písni. Fischer poznamenal, že Čelakovský mohl v Goetzově knize najít doklady k svým stálým epithetům. Podle mého soudu našel tam Čelakovský potvrzen a doložen svůj obraz ruských písní ještě v jiných směrech. Platí to na př. o přemíře deminutiv a slov lichotivých (Schmeichelworte), z nichž Goetze cituje na str. 11

[7]) V německém překladě básní, které poslal Goethovi (otiskl je Fischer v Germanoslavica I, 1932, str. 408 n.), Čelakovský však Goetza jako pramen uvádí!

tato: *meine Seele, Herzchen, meine Freude, Wonne, Hoffnung, Beerchen, mein Licht* a j., o metru ruských písní, o němž mluví tento passus z G o e t z o v y knihy:

„Die ältern russischen Volkslieder, zum Theil selbst diejenigen, welche erst vor dreissig oder vierzig Jahren entstanden sind, lassen sich eigentlich unter keine *bestimmte Regel der Metrik bringen. Sie haben weder Reim, Versmaß und Cäsur,* sondern eine Betonung, welche dem Genius der russischen Sprache um so eigenthümlicher zu sein scheint, als bei allen russischen Wörtern, *sie mögen noch so vielsylabig sein, der Accent immer nur auf einer einzigen Sylbe liegt. Die Sprache ist dadurch besonders* reich an Pyrrhichien.[8])

V citovaných řádcích našel Čelakovský potvrzeno, že ruské verše nemají přesná pravidla metrická, že nemají rým ani přesný počet stop ani caesuru. Verše mohou být o různém počtu slabik a mají určitý počet přízvučných vrcholů. Víme, že toto pravidlo epické básně ruského Ohlasu přesně zachovávají. Velmi důležitý je však také passus další:

„Wostókow in seinem obengeführten trefflichen Werken (v oné mnou připomenuté stati *Opyt*, A. Z.) versucht eine Eintheilung des Metrums der Volkslieder in ein *episches* und ein *lyrisches*. Im *lyrischen* sollen die Verse *eine gleiche Anzahl Füße haben* und sich unter eine *bestimmte Regel der Betonung bringen* lassen, im *epischen* dagegen *Betonung und Sylbenzahl veränderlich* sein.“[9])

Zde máme vysloveno theoreticky, co v ruském Ohlase převedl do praxe Čelakovský. Má totiž v Ohlase také dvojí druh básní: 1. s pravidelným rytmem (milostné písně, většinou strofické), 2. s verši o proměnlivém počtu slabik, kde počet přízvuků se od verše k verši mění (epické básně, hlavně heroické). Ale jděme dále. Podoba theorie Goetzovy s básnickou praxí Čelakovského je až překvapující:

„Nach der Betonung lassen sich die Volkslieder etwa *in zehn oder mehr verschiedene Versarten eintheilen.* Besonders ist *die letzte Betonung des Verses* zu bemerken, den fast der größte Theil der Lieder endigt sich mit einem Daktylus (—́ ◡ ◡) oder Amphimacer (— ◡ —). Ja man kann nich in Abrede sein, daß *oft erst durch die daktylische Endigung die Zeile zu einem Verse wird, denn nicht selten läßt sich das Vorhergehende durchaus nicht prosodisch messen.*“ (Citáty se str. 41—42).[10])

V těchto slovech se zdůrazňuje, že některé ruské verše (víme, že se to týká veršů básní epických) mají úplně setřen stopový půdorys, takže, jak připomíná Goetze, teprve poslední stopa, nejčastěji daktylská, dává řádku charakter verše. Tento metricky zastřený půdorys verše je možno u básní ruského Ohlasu zjistit. U takového verše se dá někdy pozorovat sklon k daktylu i na začátku. Goetze připomíná, že ruská píseň zná deset nebo více druhů různých veršů. I tuto tendenci k obměně „dlouhých“ veršů při rozboru metra básní ruského Ohlasu zjistíme. Z toho vidíme, jak Čelakovský theoretické připomínky Goetzovy knihy, v níž našel doloženu svoji znalost ruských písní, realisoval velmi přesně. Praxe ruského Ohlasu shoduje se s theoretickým Goetzovým konstatováním, že ruské písně jsou zřídka budovány ve strofách. A když, pak „als beschränkende Regel kann

---

8) Kursiva ode mne. A. Z.
9) Kursiva ode mne. A. Z.
10) Kursiva ode mne. A. Z.

man annehmen, daß *zu einer Strophe nie mehr als vier kurze*[11]) oder zwei lange Verse gehören“ (str. 42). Vzpomeňme tu jen případu dvou sousedních básní v ruském Ohlase (*Láska nad bohatství* — strofy s verši o 11 slabikách, většinou dvojveršové; *Píseň dětská* — strofy čtyřveršové, ale verše o malém počtu slabik) a musíme říci, že i zde se Čelakovský shoduje s Goetzem. Na str. 43—44 praví Goetze, že ruské verše neznají přesah a že se v nich málokdy objevují rýmy a asonance. V tomto bodě je poměr praxe Čelakovského k zásadě Goetzově modifikovanější — vcelku však se uplatňují Goetzovy these v epických básních Čelakovského. Autor ruského Ohlasu tedy český verš po stránce metrické značně „rusifikoval“; prostředky a způsoby této rusifikace si potvrzoval v německé knize o ruské lidové poesii. Při vytváření konkretních uměleckých projevů spolupůsobila ovšem silně tradice dosavadního českého verše a tradice české lidové písně. Čelakovský musil klenout kompromis mezi pravidly, jimiž se řídily ruské písně, a mezi dosavadní českou básnickou praxí.

Máme tedy v tomto případě doklad časové shody literárně teoretických nálezů o ruské lidové poesii se strany českého básníka-slavisty a východoněmeckého zprostředkovatele ruské kultury. Sociálně politická situace v střední Evropě už si žádala poučení o lidové ruské kultuře.

Artur Závodský

---

[11]) Kursiva ode mne. A. Z.

MATERIÁLY

Za českou předlohou staropolské bible

Polská věda věnuje neustále živý zájem vzácnému památníku českopolských styků 15. století, nedokončené polské bibli, neúplně zachované v maďarském Šarišském Potoku, jejíž původ se klade k r. 1455 a spojuje se s polskou královnou Žofií (BŽ). Četné studie i slovník vyrostly na podkladě jejího vydání Małeckým, k němuž přistoupilo fototypické vydání Bernackého;[1]) poslední zpracování a zároveň shrnutí všech problémů této památky přinesla se závažnými výsledky práce Urbańczykova, zahajující slibně sbírku *Z dawnych stosunków językowych polsko-czeskich.*[2])

Již od doby Dobrovského je známo, že staropolská bible vznikla z bible české, avšak s české strany nebyla dodnes dána uspokojující odpověď na otázku, který z hojných českých rukopisů stojí polské památce nejblíže či zda je možno nalézt přímo její předlohu. Hanka[3]) poukázal na příbuznost BŽ s nejstarší českou a slovanskou biblí Leskoveckou, kterou Dobrovský kladl do let 1390—1410, podobně Jireček spojoval BŽ s I. českou biblickou recensí.[4]) Teprve Vraštil v přehledném pojednání o nejstarších českých biblích[5]) se zmínil o bližší souvislosti BŽ s II. recensí a jeho soukromé sdělení o příbuznosti BŽ s biblí Boskovskou uvedl ve své studii také Polívka,[6]) který však předlohu nehledal, nýbrž vysvětloval polské znění prostě českou biblí Hlaholskou, i když poznal, že oba texty jsou především v Tobiáši velmi odlišné. Vraštil své tvrzení odůvodnil v široce založené práci o staročeském biblickém překladě, která ke škodě dalšího bádání nebyla dosud uveřejněna, pouze její nejdůležitější výsledky oznámil Vašica[7]) na základě výpisků, které si r. 1933 pořídil z Vraštilovy práce. V kapitole „Z které recense staročeské bible byla přepsána bible staropolská“ praví Vraštil, že text BŽ je zcela evidentní doslovný přepis z II. české recense, jak svědčí společné chyby a přepsání v BŽ a v bibli Boskovské.[8]) — V obsáhlém oddíle posuzuje rovněž Urbańczyk všechny dosavadní názory a odmítá opakovanou

---

[1]) *Biblia królowej Zofii*, wydana przes Antoniego Małeckiego. Lwów 1871. — Adam Babiaczyk, *Lexikon zur altpolnischen Bibel 1455*, Breslau 1906. — *Biblia szaroszpatacka.* Wydał L. Bernacki. Kraków 1930.

[2]) Stanisław Urbańczyk, *Biblia królowej Zofii a staroczeskie przekłady Pisma św.* Rozprawy wydziału filologicznego Pol. akad. um. t. LXVII nr. 2, Kraków 1946 — viz posudky J. Vašici (Čas. pro mod. filol. 31, 1948, str. 207—212) a A. Kellnera (Slavia 20, 1950, str. 94—98).

[3]) Dobrovského *Slavin,* vydání Václava Hanky z r. 1834, str. 393.

[4]) Jos. Jireček, Biblí staropolská, Čas. čes. musea 46, 1872, str. 297—312.

[5]) Acta Academiae Velehradensis 9, 1913, str. 39.

[6]) Jiří Polívka, *O staročeské předloze staropolské bible.* Sborník filologický 6, 1917, str. 2.

[7]) Josef Vašica, *Bible v české kulturní tradici.* Biblica, příloha časopisu Logos 4, 1949, str. 9, 11.

[8]) Podle výpisků prof. dr. Jos. Vašici, jemuž srdečně děkuji za jejich laskavé zapůjčení.

snahu polských vědců spojovat BŽ s českou biblí Záblackého, zachovanou v Polsku, kterou považuje za mladší recensi. Ve svém rozboru vysvětluje Urbańczyk polský text biblí Olomouckou, pokud je vydána, protože provést srovnání s některým rukopisem II. recense mu nebylo možné. Vinou válečného odloučení však bohužel Urbańczykovi unikla důležitá studie Rybova,[9]) která se sice polskou biblí nezabývá, avšak na drobném úseku z Isaiáše mistrovsky osvětlila čtyři recense, tradované od dob Dobrovského, a postavila všechno další bádání v oboru českých rukopisných biblí na nový základ. Z jejích výsledků je zde potřebí uvést objasnění celkového rázu t. ř. II. recense, k níž je také nutno přihlížet při rekonstrukci nejstaršího českého překladu, a položení přesné hranice mezi rukopisy II. a III. recense, která dříve nebyla jasná, takže mnohé jevy, týkající se teprve III. recense, často se připisovaly již II. recensi. Ryba ukázal také výhodnou methodu k zvládnutí rozsáhlého materiálu, podle níž je třeba prozkoumat co možná všechny památky, třebas na krátkém úseku; právě isolované hledisko bez ohledu na celek zdrželo až dodnes výzkum českých biblických rukopisů.

Na základě těchto poznatků mohlo začíti nové zkoumání otázky, kterému českému rukopisu stojí BŽ nejblíže, a to srovnáním šesti celků,[10]) vybraných vzhledem k problematice BŽ, se všemi dostupnými rukopisy I. a II. recense. Srovnání rozsáhlejších částí je výhodné tím, že nezachytí pouze jevy nahodilé a podá poněkud obraz jazyka a slohu jednotlivých památek i ve stylometrických podrobnostech. Zároveň však bylo nutno provést kontrolu srovnáním krátkých úseků u typických představitelů co možná ve všech biblických knihách.[11])

Přehled prozkoumaných biblí[12])

Ab — Boskovská, Olomouc, Univ. knih. I A 3
Ač — Bočkova, Brno, Mor. zem. archiv Mr 121/I, II
Ad — Duchkova (1433), Kroměříž, arcibiskupský archiv 7728/15923
Ai — Mikulovská, Brno, Zem. a univ. knih. Mk 1 (z archivu mikulovského I 173)
Aj — Litoměřická jednosvazková (1429), Litoměřice, knihovna biskupské residence B I F/2 (ztracený začátek až do Gen 37, 11 byl nahrazen později textem IV. recense)
Ak — Kunštátská, Brno, Zem. a univ. knih. Mk 3 (z archivu mikulovského I 175)
Al — Litoměřická zmrzlíkovská (1411—1414) díl I, III, Litoměřice, knihovna biskupské residence B I F/3 — 1, 2
Am — Mlynářčina, Praha, Univ. knih. XVII A 10
Ao — Olomoucká (1417), Olomouc, Univ. knih. I A 1; její Pentateuch jakožto I. díl vydala Akademie velehradská, Olomouc 1933

---

[9]) Bohumil Ryba, *Ochechule v staročeském biblickém textu.* Věstník České akademie věd a umění 51, 1942, str. 1—12.

[10]) Gen kap. 1—3; Ex 8; Ruth 1; 3 Reg. 21; 2 Esdr 8—9 (= v dnešní Vulgátě apokryf 3 Esdr od 8, 10); Tob 1—3.

[11]) Gen 32—36, 47—50; Lev 5, 1—9; Jos 6, 1—12; 1 Par 10, 1—5; 2 Par 9, 1—4; Judith 9, 1—10; Is 48, 16—49, 6; Jer 29, 16—31; Nahum 2, 9 — 3, 11; 1 Mach 2, 1—22. — Srovnáván byl také materiál, který uvádí Ign. Polkowski (*Rękopis biblii Czeskiej z r. 1476,* Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydz. filolog. A. U. tom. 10, Kraków 1884, str. 94—133): Gen 47, 28—29; Ex 12, 1—4; Lev 9, 1—3; Lev 19, 23—28; 4 Reg 11, 1—4 a Jan Janów (*Czeska biblja Záblackiego i polska biblja królowej Zofji,* Przewodnik bibljograficzny, Lwów 1926, nr. 6): Ex 14, 24—30; Deut 32, 1—12; 1 Reg 26, 3—16; Tob kap. 6.

[12]) Bližší vysvětlení značek viz B. Ryba a V. Kyas, *Označení českých biblických rukopisů a tisků,* Věstník České akademie věd a umění 61, 1952, 37—45; skupina *A* — rukopisné bible; *V* — výbory a části Starého Zákona, Vetus Test.; Al^1 = ante rasuram, Al^2 = altera manu in rasura, Al^{2m} = altera manu in margine, *Abčd* ... = shodné čtení rukopisů *Ab+Ač+Ad* ...

K nim patří tyto rukopisy, obsahující neúplný Starý Zákon:

Vc — Cardův, Praha, Strahovský klášter D G I 12 (Gen — Job)[13])
Vd — Dobrovského, Praha, Nár. museum IV B 13/II (Prov — Mach, Esdr — Esther před Is)
Vf — Fojtův (1484—88), Praha, Strahovský klášter D E V 18 (Par Mach Esdr — Job Prov Eccli Cant Sap)
Vg — hlaholský (1416), Praha, Nár. a univ. knih. XVII A 1 (Par — Job, Prov — Sir Ps)
Vh — kapitulní, knihovna metropol. kapituly B 85 2 (Is — Mal, Tob)
Vi — ilustrovaný (s husitskou bitvou), Praha, Nár. a univ. knih. XVII A 34 (Gen — Job 24)
Vj — žaltář s knihami Reg — Job, Praha, Nár. a univ. knih. XVII F 4
Vp — pálffyovský, Praha, Nár. museum III B 9 (Pentateuch z r. 1429, Ruth Mach)
Vt — Pentateuch (1469), Praha, Nár. museum III F 2 (první list ztracen, začíná Gen 2, 2)
Vv — větší mikulovský, Brno, Zem. a univ. knih. Mk 2 (z archivu mikul. I 174, Gen — Prov)

Podle Vraštila se sem řadí také rukopisy zahraniční: bible Moskevská (*Aq*)[14]), SZ varšavský z knihovny rodu Zamojských (*Vz*)[15]) a SZ královny Kristiny ve Vatikáně (*Vk*)[16]). Bible Jana Záblackého z let 1476—78 (*Az*) patří sem patrně jen částečně, neboť podle Urbańczyka (str. 41) je blízká Olomoucké pouze v Gen — Reg. — K II. recensi patří také počáteční knihy bible Dlouhoveského z r. 1475 (*Av* — Nár. a univ. knih. XVII A 37). Pouze zlomkovitě je možno uvádět čtení shořelé bible Leskovecké (*Aa*). Ze samostatných rukopisů knihy Tobiáše sem patří Tobiáš musejní (*TobM* — sign. II H 29) a Tobiáš z r. 1485 ze sborníku Nár. a univ. knih. XVII E 10 (*TobS* — list 140a — 155a). Zlomky z Proroků BŽ byly srovnány s Proroky rožmberskými (Vr — Nár. a univ. knih. XVII D 33) a s Proroky mladšími z r. 1429 (*Vq* — Nár. a univ. knih. XVII E 16). Jako představitelky III. recense je užito bible Šafhúzské (*Aš* — snímky v Nár. a univ. knih. fot. II 81).

Zpracování takto získaného materiálu s hojnými variantami[17]) znovu poněkud osvětlilo vývoj českého biblického překladu, to však ponechávám pro zvláštní studii. Zde stačí uvést, jak je dnes nutno chápat I.—III. recensi Dobrovského. Do I. recence, v níž se nejlépe odráží nejstarší český překlad, podle Dobrovského se řadí *Aalo Vg*, kdežto ostatní rukopisy, uvedené v našem přehledu, obyčejně se zahrnují do II. recense, ale rozdíl mezi I. a II. recensí prozatím přesně určit nelze; k I. recensi musíme však zcela jistě zařadit alespoň Genesi *Ak Vcp*. Rukopisy II. recense obsahují celkem nepříliš hlubokou úpravu prvního překladu a v jednotlivých biblických knihách se navzájem liší podle toho, zda bylo přijato novot více či méně. Výrazný je zvláštní typ II. recense, charakteristický slovy *Pán* a *kněz* místo *Hospodin* a *pop* a odstraňující skoro všechny vsuvky, zachovaný nejlépe v textech biblí *Ačim*, avšak v různých jejich částech nestejně (pro Genesi pouze v *Am*). Není proto možné mluvit o jednotné II. recensi, nýbrž o nejméně dvou úpravách prvního překladu (sr. pozorování Urbańczykovo na str. 42, avšak teprve podrobnější

---

[13]) Upozorňuji zvláště na tento důležitý rukopis, vystavený ve vitrině knihovny, o němž Dobrovský v Dějinách (str. 318 Jedličkova vydání) poznamenal, že jej získal z Moravy profesor lékařské fakulty Czarda. Na přídeští jej kdosi označil jako IV. recensi, avšak jeho text je téměř shodný s Vp, který určil jako I. recensi F. M. Bartoš v Čas. Nár. musea 103, 1929, str. 289.

[14]) Josef Kolář, *O české bibli z XV. věku v Moskvě*, Sitzungsberichte der kön. böhm. Ges. der Wissenschaften, Praha 1867, str. 21—26.

[15]) Jiří Polívka, *Ukázky z Varšavského Starého Zákona z pol. 15. století*. Listy filologické 21, 1894, 219—225.

[16]) Beda Dudík, *Iter Romanum*, Vídeň 1855, str. 215—220.

[17]) Srovnání textů mi bylo usnadněno půjčením snímků z archivu fotografií České akademie věd a umění, jehož správce prof. dr. Bohumil Ryba mi vždy vyhověl se vzácnou ochotou; jemu jsem zavázán díkem také za cenné pokyny pro tento článek.

rozbor ukáže, která úprava je mladší). Památky I. a II. recense tedy vskutku tvoří dohromady jednu skupinu a teprve rukopisy III. recense představují vědomě nový, zcela přesný překlad Vulgáty, proti prvnímu poněkud suchopárný, s latinisující syntaxí.

Obrátíme-li se ke znění polskému, ukazuje náš materiál v Genesi největší příbuznost BŽ s texty *Aklo Vcp*, jak dosvědčuje vedle stejného slovosledu a stylometrických podrobností celá řada společných čtení,[18]) na př.

Gen 1,2 spiritus Dei ferebatur super aquas	duch Boží *nášieše se* nad vodami *(Aaklo Vp)* (znášieše *Vc*, vznášieše *Az Vv*) duch boszy nasweczye(!) nadwodami *(BŽ)* duch Boží *nosieše se* nad vodami *(Abčdimv Viz)*
Gen 1,16 luminare maius, ut praeesset diei, et luminare minus, ut praeesset nocti	světlo věčšie, aby *dni svietilo*, a světlo menšie, aby *svietilo noci* *(Aklo Vcipv*; svietilo dni *Vi*, nad nocí *Viv)* Szwyatlo wyøczsze abi dnyu szwyeczylo · a szwyatlo mnyeysze abi noczi szwyeczylo *(BŽ)* světlo věčšie, aby *nad dnem panovalo*, a světlo menšie, *aby vévodilo nad nocí* *(Abčdimv Vz)*
Gen 1,29 omnem herbam afferentem semen super terram	všelikú zelinu nesúci siemě *podle přirozenie svého* na zemi *(Aklo Vcp)* wszelkye szele noszøcz szyemyø podlug przyrodzenya swego naszemy *(BŽ)* všelikú zelinu nesúci siemě na zemi *(Abčdimv Vivz)*
Gen 2,11 qui circuit omnem terram	ješto *se točí* okolo všie země *(Aklo Vcpv)* gez to szø toczy okolo wszytkyey szemye *(BŽ)* ješto *teče* okolo všie země *(Abčdimv Vi)*
Gen 2,19 omne enim, quod vocavit Adam animae viventis, ipsum est nomen eius	a ve všem stvoření duše živúcie, jakž jest Adam *nazval kterému jmě*, to jest jméno jeho *(Aklo Vcp)* A wewszem stworzenyu dussze zywøce · yakosz gest adam nazwal · ktoremu ymyø to gest ymyø gego *(BŽ)* a všecko, jakž jest Adam *nazval ve všem stvoření, ješto jest* duše živúcie, to jest jméno jeho *(Abdimv Viv)*

Uvnitř I. recense rozeznává Vraštil starší a mladší typ vzhledem k rozdílům mezi *Aa* a *Alo*. Rukopisy *Ak Vcp* by snad bylo možno spojit se starším *Aa* na základě úryvku u Hanky,[19]) rozsáhlejší materiál z Genese však bohužel chybí, takže tuto otázku je nutno ponechat novému zkoumání. Skupina *Ak Vcp* je polskému textu blíže než *Alo*:

Gen 1,26 ad imaginem et similitudinem nostram	k obličeji a *k podobenství* našemu *(Ačkm Vcp)* ku obliczu a kupodobyenstwu naszemu *(BŽ)* k obličeji a *ku podobizně* naší *(Abdilov Vivz)*
Gen 1,26 volatilibus caeli	ptactvu, ješto *léce* pod stvrzením *(Abčikv Vcpvz)* ptakom geszto latayø potstvorzenym *(BŽ)* ptactvu, ješto *shromážděno jest a léce* pod stvrzením *(Adlmo)*
Gen 1,28 benedixitque illis Deus	i požehna *jim Bóh* *(Abčdikmv Vcipvz)* y poszegnal gym bog *(BŽ)* i požehna *Bóh jich* *(Alo)*

[18]) Uvádějí se v přepise podle obvyklých zásad pro památky 15. stol., kvantita samohlásek je rekonstruována (označuje se nedůsledně pouze v malé části rukopisů). Pomíjejí se různosti pravopisné, hláskoslovné a nevýznamné tvaroslovné, zcela odchylná ojedinělá čtení se neuvádějí.

[19]) Slavin, str. 393; Gen 1,3 i povědě Bóh *Aak Vcp + II. rec.* (+*BŽ*) — *i vecě* Bóh *Alo*; Gen 1,4 viděv Bóh *Aak Vcp + II. rec.* (+*BŽ*) — viděl Bóh *Alo*; Gen 1,6 rozděl vody *Aakl*^{2} *Vc* — rozdělil vody *Al*^{1}*oqz Vp (+BŽ)* — rozděleny buďte vody *Abčdimv Viv* + *III. rec.* (dividat aquas).

Gen 2,2 complevitque . . . opus suum	i dokona . . . dielo své *(Abčdikmv Vciptv)* y dokonal . . . dzala *(BŽ)* i dokona . . . *všechno* dielo své *(Alo)*
Gen 2,3 quia in ipso cessaverat	neb v tom *sedmém* dni přestal *(Abčdikmv Vciptv)* bo wtem szodmem dnyu przestal *(BŽ)* neb v tom dni přestal *(Alo)*

Se zněním I. recense *(Aklo Vcp)* se místy shodují také jiné rukopisy, kdežto čtení zvláštní úpravy II. recense, pro Genesi zachovaná v *Al^{2}m Vt*, jsou od BŽ poměrně nejvzdálenější:

Gen 2,12 bdellium	drahé *kamenie*, ješto slove bdelium *(Abčkl^{1}ov Vcipv)* droge kamyenye gez to slowye bdelyum *(BŽ)* drahé *dřevo*, ješto slove bdelium *(Adil^{2}m Vt)*
Gen 3,1 serpens erat callidior (var. calidior)	had bieše *horčejší (Abčkoq Vcip)* wøsz bil gorøczszy *(BŽ)* had bieše *chytřejší (Adm Vtv;* lstivější *Ai*, zchytralejší *Al^2)*
Gen 3,7 aperti sunt oculi amborum	otevřesta (otvořista *Abčkq Vp)* se oči oběma, *totiž rozuma (Abčdkloq Vcipv;* rozum *Alo)* otworzyli szø oczy obyema · to gest oczy rozuma *(BŽ)* otevřesta se oči oběma *(Aimv Vt; vysvětlivka vypuštěna)*

Sledujeme-li však konec Genese, objeví se zřetelně změna v předloze BŽ: zatím co část jejího prvního písaře, zachovaná do Gen 36,5 (listu č. 21) se shoduje s *Ak Vcp* — rukopisy I. recense, část písaře druhého, zachovaná od Gen 47,27 (listu č. 22), nejvíce se shoduje s biblí Mlynářčinou *(Am)*, tedy v této knize s představitelkou zvláštního typu II. recense. Rozhraní v mezeře mezi prvním a druhým písařem BŽ je velmi výrazné:

Gen 32,2 castra Dei sunt haec	*tvrze* Božie toto jsú *(Abčdiklo Vcipv)* Stworzenye(!) bosze to gest *(BŽ)* *zástupové* Boží jsú toto *(Amv Vt)*
Gen 32,5 in conspectu tuo	před tvým *obličejem (Abdiklov Vciptv)* przed twym oblyczym *(BŽ)* před tvýma *očima (Ačm)*
Gen 32,11 matrem cum filiis	máteř s *dětmi (Abčdiklo Vciptv;* mateře *Ač Vpt)* maczyerz s dzeczmy *(BŽ)* matek s *syny (Am)*, máteř s syny *(Av)*
Gen 32,21 in castris	*v tvrzech (Abčdiklo Vcipv)* wtczwyrdzi *(BŽ)* *v staniech (Amv Vt)*
Gen 35,4 subter terebinthum	*pod terebintem (Abčdikl^{1}o Vcipv)* pod terabyntem *(BŽ)* *pod jedlí (Al^{2}mm)*, pod smrkem *(Av)*, pod smrčí *(Vt)*

Gen 48,17 graviter accepit	těžce to *přijal (Amv;* om. to *Av)* czyøszcze to przyyøl *(BŽ)* těžce to *vzal (Abčdijklo Vciptv)*
Gen 48,22 de manu Amorrhaei	z ruky *Amorrejských (Am Vt)* zrøkøø Amoreyskych *(BŽ)* z ruky *Amorejského (Abčdijklov Vcipv)*
Gen 50,5 quod pater meus adiuraverit me	žeť *mi jest otec umřel a* zaklel mě jest *(Am)* yszeczmy gest oczyecz umarl a zaklyøl myø gest *(BŽ)* žeť mě jest otec mój zaklel *(Abčdijkl Vciptv)*

Gen 50,6 sicut iuratus es	jakož *jsi zaklet (Am)* iakoszesz zaklyøt *(BŽ)* jakožť *jest zaklel tě (Abdjkl Vcptv;* zakletie *Ači)*
Gen 50,10 ad aream Atad, quae sita est trans Jordanem, ubi celebrantes exequias planctu magno	na městiště a Chad, ješto jest za Jordánem, kdežto učinichu *úctu za Jordánem* s velikým pláčem *(Am)* na myasto Athod geszto gest za Yordanem gdzeszto uczynyly ucztø zayordanem swyolykym placzem *(BŽ)* na městiště Atad, ješto jest za Jordánem, kdežto učinichu *úctu* (službu *Vtv*) s velikým pláčem *(Abčdijkl Vciptv)*

Tím je zjištěno, že první polský písař měl českou předlohu odlišnou od písaře druhého (přejímal z ní také slovo *Hospodin*, i když usiloval je nahrazovat jinak). Jak potvrdilo i srovnání celé Genese, patřila předloha prvního polonisátora k I. recensi, nikoli však ke známému znění *Alo*, nýbrž k neprozkoumanému typu, který v Genesi zachovaly rukopisy *Ak Vcp*. Z těchto tří památek je nejzajímavější *Vp* z r. 1429 tím, že podobně jako BŽ obsahuje text s hojnými vynechávkami a dosti chybný.[20]) Některé vynechávky a chyby má *Vp* shodné s BŽ, jako Gen 23,30 *keymenu(!) nowemu* Vp — *ku gymyenyu nowemu* BŽ (místo ke jmění rovovému, in possessionem monumenti, sr. Urbańczyk str. 71), Gen 27,23 *Tehdy on pozehnanye dawage znamenye gemu rzekl* Vp — *Tedi on dawayøcz znamyø pozegnanya rzekl* BŽ (m. požehnánie dávaje jemu, benedicens ergo illi; slovo *znamenie* je sem chybně vpleteno z předcházejícího řádku) a pod., viz také Vašica, Čas. pro mod. filol. 31, 1948, str. 211. Soudíme-li tedy podle *Vp*, je zcela nepochybné, že text české předlohy prvního polského překladatele byl místy velmi špatný, takže mnohé výtky polonisátoru bude nutno zmírnit i odvolat; je rovněž velmi pravděpodobné, že zkrácené a zmatené kapitoly v Genesi (Urbańczyk: „rozdziały streszczone", str. 45) nezavinil Polák, který na jiných místech překládal správně, nýbrž rovněž jeho předloha. Jistě byla těžká práce polonisátorova, jestliže našel v předloze takovéto přepsání: Gen 35,21 *Wyssed ottawad y rozpal stan strany wyczye stadne* Vp (m. stranú Věže stádné, fecit tabernaculum trans Turrem gregis) — není divu, že výsledkem bylo pak zkrácení: *Tedi wiszedl odtød* BŽ. Mnohem lépe než *Vp* zachovaly tento text *Ak Vc*, takže na základě těchto tří rukopisů a s pomocí *Alo* i textů II. recense lze českou předlohu prvního písaře BŽ dobře rekonstruovat.

Předloha druhého polského písaře obsahovala zřejmě zmíněný již zvláštní typ II. recense, zachovaný nejlépe v *Am*, k níž v dalších knihách přistupují *Ači*, což platí pro text až po knihy Paralipomenon, kdežto v Esdr — Judith se předloha BŽ více přibližovala obvyklému běžnému typu II. recense, ve zlomcích z Proroků pak je polskému textu nejblíže *Ai*. Pro přesnější určení bude však nutno nejdříve objasnit složitou filiaci českých rukopisů, jejichž pestrost dosvědčuje *Am*, která má v Esdr — Judith výrazy *Hospodin* a *pop!* Příklady čtení z ostatních částí bible:

Ex 8,3 in populum tuum et in furnos	mezi lid tvój a na *ohniště (Ačl²m Vv)* myedzi lyud twoy aognyska *(BŽ)* v lid tvój a na *nemocné (Abdijkl¹o Vcip; čtou lat. infirmos)*
Ex 8,26 quod si mactaverimus ea	a *zdali* bychom to *(Aim)* Azalybich mi temu *(BŽ)* a *zabili-li* bychom to *(Abčdjklo Vcipv)*

[20]) Na př. Gen 15,7 *genz sem tye wywedl z ruku kaldeyskych* m. z Ur kaldejských *(zur kaldeyskich* BŽ, de Ur Chaldaeorum); Gen 16,15 *Y powyedyela gest Akar abrahamowy syna* m. porodila jest *(porodzyla gest* BŽ, peperit); Gen 31,8 *czozt sye urody przyeczysteho to bud mzda twa* m. pstrého nebo peřestého *(czso sø urodzy pstrego to bødz zatwø sluszø BŽ*, variae erunt mercedes tuae); Gen 35,8 *placz dubna* m. pláč duba *(placz døba* BŽ, Quercus fletus) atd.

Lev 19,26 non augurabimini	nebudete *kúzliti (Ačl^{2}mz Vt)* nyebødzecze guslicz *(BŽ)* nebudete *vražiti (Abdjkl^{1}o Vciv*; vařiti *Ai,* nebudete vražiti točíš kúzliti *Vp)*
Deut 32,8 Quando dividebat Altissimus gentes	Když děléše *Najvyšší národy* (lidi *Vt) (Amz Vt)* Gdysz dzelil nawyssze narodi *(BŽ)* Když děléše *Vrchní rody* (lidi *Alo Vv*) *(Abčdijklo Vcipv)*
Ruth 1,17 Haec mihi faciat Dominus et haec addat	To mi, Bože, *daj a to mi učiň (Ačim Viv)* To my bosze day ato my uczin *(BŽ)* To mi, Bože, *učiň a to přidaj (Abdjklo Vc)*
1 Reg 26,6 ad... Abisai, filium Sarviae	k Abisai, synu Sarvie *(Aim)* Ku Abyzai, sinu Sarwye *(BŽ) (ed. Małecki)* k Abisai, synu *té panie jménem* Sarvie *(Abčdjklo Vcijv)*
3 Reg 21,21 interficiam de Achab mingentem ad parietem, et clausum et ultimum in Israel	ztepu z Achaba *až do psa* i mdlého i poslednieho z Izrahele *(Aim)* zbyiø s Achab asz dopsa ymdlego yposzlednyego s israhela *(BŽ)* ztepu z Achaba i mdlého i *zavrženého* i poslednieho v Izraheli *(Abčdjklo Vcijv*; v izrahelském lidě *Alo Vc)*
1 Par 10,3 vulneraverunt iaculis	ranichu jej *šípy (Aim)* ranyly gy szipi *(BŽ)* ranichu jej *plekny (Abčdjklo Vcfiv)*
1 Par 10,5 armiger	*oděnec (Aim Vv)* odzenyec *(BŽ)* *honec (Abčdjklo Vcfij)*
2 Par 9,4 pincernas quoque et vestes eorum	*podčešie i rúcha jich (Aim)* potczasza yrucha gich *(BŽ)* *šenky i jich oděvy (Ačdjk Vcfi)* podčešie i jich oděvy *(Ablo Vg^{2}v*; oděv *Alo Vg^{1})*
3 Esdr 8,79 misericordia abs te	milosrdie od tebe *vycházie (Abčdjklo Vcdfgi)* mylosyerdze ot cyebye wichadza *(BŽ)* milosrdie *se* od tebe *ukáže (Aim Vj)*
3 Edr 9,11 non possumus insubsidiati stare et hoc opus non est nobis unius diei	nemóžem my nedostatečni *dostati* a ten *úžitek* nemóž se skonati v jednom dni *(Aim Vj)* nyemozem mi nyedostateczny dostacz · aten uzitek nyemoze syø skonacz wgenem dnyu *(BŽ)* nemóžem my nedostatečni *ostati* a ten *účinek* nemóž se skonati v jednom dni *(Abčdjk Vcdfgi)*
Tob 2,3 exiliens de accubitu suo relinquens prandium, ieiunus	oběda nechav *z svého pokoje* vyskočiv lačen jsa *(Abčjk Vdfh + I. rec.)* obyada nyechaw z swego pokoia wiskocziw laczen søcz *(BŽ)* oběda nechav, vyskočiv lačen jsa *(Aim Vj)*
Tob 2,6 Dies festi vestri	Dnové vašich *svátkóv (Aim Vf^{2}j)* Dnyowye vaszich swyøtkow *(BŽ)* Dnové vašich *skutkóv (Abčjk Vdf^{1}h)*
Is 49,1 attendite	*pilně patřete (Ai)* pylnye patrzcye *(BŽ)* *pozorujte (Abčjkmo Vdhqr)*
Is 49,4 iudicium meum cum Domino et opus meum cum Deo meo	súd mój s Pánem a *dielo mé* s Bohem mým *(Ai Vhq)* sød moy spanem a dzalo me z bogem mim *(BŽ)* súd mój s Hospodinem (Pánem *Ač*) *jest a skutek mój* s Bohem mým *(Ačdjkmo Vdr)*

Nahum 2,11 pascua catulorum leonum	pastviště lvíčat *lvových (Ačim Vdhq)* pastwyszcze lwyøt lwowich *(BŽ)* pastviště lvíčat *(Abdjko)*
Nahum 3,8 Alexandria populorum	Alexandrie, *mající mnohé lidi pod sebú (Ai)* Allexadrye maiøcz wyele lyudzi pod sobø *(BŽ)* Alexandrie *lidské (Abčdjkmo Vhq)*

Co se týče knihy Tobiáše, kde Polívka považoval polský text za samostatný, vyjasní celou otázku rovněž náš materiál. Příčinou Polívkova omylu, který opravil již Janów, když pozoroval stopy české předlohy,[21] byla neznalost ostat. českých rukopisů, které mají celkem trojí překlad Tobiáše: nejstarší je obsažen v *Aadlo Vcgikv TobMS*, avšak v *Ad Vcv TobM* a patrně i v *Vk*[22] jde o jeho úpravu na způsob II. recense, jejíž znění se i zde navzájem poněkud liší. Druhý samostatný překlad, který z prvního vychází, není však pouhou jeho revisí (předpokládá i jinou latinskou předlohu), mají ostatní naše rukopisy II. recense; nový překlad třetí je v rukopisech III. recense. Všechny tři překlady se liší výrazně již v prvních verších:

I. *(Al)*

Za dávných časóv starého zákona byl jest jeden slúha přietel Boží milosrdie plný, jménem Dobeš, z pokolenie a z města Neptalim, jenžto město leží nad galilejskú vlastí nad těmi bydlišti Naason, stranú té cesty, ještо odtad jde na západ slunce, nalevo jmaje město jménem Sephet. A když ten muž Boží Dobeš byl jat těch časóv za krále asyrského, jenž jest slúl Salmanazar, tu jsa u vězení proto cesty spravedlnosti nenechal...

II. *(Ab)*

Tobiáš z pokolenie a z města Neptalimova, ještо město leží nad galilejskú vlastí nad těmi bydlišti Naazon, stran cesty, ještо vede na západ slunce, nalevo maje město jménem Sefet. A když bieše jat ve dnech Salmanazara, krále asyrského, avšak jsa tak u vězení, proto cesty pravdy neopustil...

III. *(Aš)*

Tobiáš z pokolenie a z města Neptalimova, kteréž jest v svrchnějších stranách Galilee nad Naason po cestě, kteráž vede k západu slunce, nalevo maje město Sefet, když jest jat byl ve dnech Salmanazara, krále asyrského, však u vězení jsa posazen, cesty pravdy neopustil...

Polský text je založen na překladě druhém (viz ukázku níže), kdežto Polívka jej vysvětloval překladem prvním sice také s užitkem, ale poměrně malým: v ostatních knihách se totiž texty I. a II. recense valně od sebe neliší, protože jde o pouhou revisi, druhý překlad Tobiáše se však od prvního liší ve značnější míře, takže Polívka z neznalosti českých rukopisů připustil samostatné polské zpracování.

Všechny dosud uvedené příklady také dostatečně charakterisují bibli Boskovskou, kterou Vraštil pokládal za zvláště blízkou BŽ. Proti všem dřívějším názorům byl Vraštilův poukaz na II. recensi nejblíže skutečnosti (pro části BŽ mimo prvního písaře), podrobnější zkoumání však objevilo lepší představitele neznámé české předlohy, než je *Ab*, totiž pro prvního písaře BŽ rukopisy *Ak Vcp*, pro ostatní *Ačim*. Vraštilovy nálezy společných chyb v *Ab* a *BŽ* (podle výpisků Vašicových) se týkají také jiných památek a otázku nerozřeší:

Gen 3,24 flammeum gladium atque versatilem — *plomienni myecz wrøku* BŽ = *plamenný meč v rukú*, toto čtení má však vedle *Ab* také *Ačiv Vit* (m. plamenný meč a vrtký, sr. Urbańczyk str. 61).

---

21) V uvedené studii *Czeska biblja Záblackiego*.
22) Podle úryvku u Dudíka, *Iter Romanum* str. 217.

Gen 13,5 greges ovium et armenta et tabernacula — *stada owyecz w abramowye stanu* BŽ = *stáda ovčie Abramovy (-mové Vp) i stanové:* toto chybné čtení mají *Abd Vp* m. stáda ovčie a bravové a stanové (sr. Urbańczyk str. 64).

Zbývá [23]) tedy Gen 6,16 Fenestram — *Akonce* BŽ = *O konce Ab (Okonce Aa* podle Vraštila) místo *Okénce* ostatních rukopisů (Urbańczyk str. 62) — jde tu jen o chybu, jejíž původ je vysvětlen rukopisem *Ab (Aa)*, podobně jako jiné ojedinělé chyby BŽ se najdou zase v jiných památkách. Shromáždí-li se totiž čtení všech zachovaných rukopisů, bude možno vysvětlit skoro celý text staropolské bible a tím poopravit, doplnit a rozšířit na celou BŽ cenné Urbańczykovy výsledky v kapitole „Emendacje zepsutych wyrazów". Několik příkladů osvětlí, jak je důležité znát všechny české rukopisy, aby se nečinily chybné závěry:

Gen 1,24 in genere suo — *w swem porodie Ad* = *wswem porodze* BŽ, tedy český původ m. v svém pořádě (pořiedě) ostatních textů (sr. Urbańczyk str. 60);
Gen 2,21 Immisit ergo Dominus Deus soporem in Adam — *I vpusti proto Hospodin Bóh otrápenie s e n n é v Adama Abikv Vciv* = *uczyøszone semye*(!) BŽ *(otrápenie snové Alo, otrápenie snu Ačd, tvrdé usnutie Am)*, sr. Urbańczyk str. 60;
Ex 6,15 Sohar et Saul filius Chananitidis — *Zoer a Saul, s y n O n e kananejské Ačmv* = *syn Ane kananeyskyey* BŽ; chyba vznikla v českých rukopisech: synoue > syn one > syn One (sr. Urbańczyk str. 75);
Ex 12,18 usque ad diem vigesimam primam eiusdem mensis ad vesperam — *až do dne XXI. téhož měsiece k večeru Am* = *asz do dnya dwadzeszczya pyrwego tegosz myeszyøcza kwyeczoru* BŽ; v *Ao* I. recense je ovšem jiné znění, sr. Urbańczyk str. 56.

Podobně i mnoho dalších dokladů sebraného materiálu staví polské překladatele, zvláště prvního, do mnohem lepšího světla, než tomu bylo dosud, neboť největší část jejich chyb měla zcela určitě již česká předloha. Urbańczyk ukázal velmi zřetelně, že každé sebemenší zkoumání BŽ polskými vědci se neobejde bez přihlédnutí k českým textům a že mnohé starší poznatky bude nutno v jednotlivostech opravit nebo je chápat jinak. Protože není každému jednotlivému badateli možné prohlédnout po každé všechny příslušné české rukopisy, bez nichž práce nemá spolehlivý základ, posloužilo by dalšímu bádání především nové praktické vydání BŽ[24]) s paralelním českým textem, nejbližším znění polskému, avšak i s variantami všech ostatních textů, pokud osvětlují polský překlad. Česká věda by zde sice musela přispět daleko největším podílem práce, zato však by tím vyplnila stoletou mezeru poměrného nezájmu a získala by sama vydání části jak první, tak druhé recense, která je ostatně klíčem k vyřešení většiny otázek stáří a vývoje textu českých biblických rukopisů. Naše zkoumání ukazuje, že základem pro Genesi do 36. kapitoly by byl jeden z textů skupiny *Ak Vcp* I. recense, pro ostatní části pak *Am* vedle *Ači*; podrobnosti poskytnou všechny ostatní rukopisy. Za příklad mohou sloužit následující ukázky z Genese a Tobiáše, osvětlující práci prvního a pátého překladatele BŽ.

Genesis, 3. kapitola

Bible Kunštátská *(Ak).*	Bible královny Žofie *(BŽ).*
1. Ale že had bieše horčejší všeho stvořenie živúcieho na zemi, ješto bieše učinil Hospodin[1]) Buóh; jenž vece k ženě: „Proč vám Buóh zapověděl, abyšte nejedli všeho ovoce rajského?"	Ale ze wøsz bil gorøczszy w swem(!) stworzenyu szywøcego naszemy · gezto bil uczynyl pan bog · gensze rzekl k szenye czemu wam bog zapowyedzal abiszczye nyegedly wszego owoczu rayskyego ·

[23]) Škrtáme Vraštilův příklad z Tob 2,17 (increpabat), založený na chybě vydání Małeckého („prorokowawszi"), zatím co rukopis BŽ má *porokowawszi.*
[24]) Viz kritiky dosavadních vydání u Urbańczyka str. 12n.

2. Jemužto žena odpověděla: „Ovoce s dřievie, ješto jest v ráji, jéme,

3. ale ovoce s dřeva, ješto jest prostřed ráje, přikázal nám Buóh, abychom nejedli ani se jeho dotýkali, abychom snad nezemřeli.“[2])

4. I otpověde pak[3]) had <k> ženě: „Nikoli smrtí neumřete,

5. ne<bo> vie Bóh, že kterýžkoli[4]) den jeho okusíte, otevrú[5]) se vaši oči[6]) a budete jako bohové vědúce dobré i zlé.“

6. Pak uzřevši žena, že jest dobré ovoce jésti s toho dřeva a krásné patřiti i[7]) hleděti rozkošné, i[8]) vze toho ovoce i sně a da jeho svému muži, jenž také sně.

7. I otevřesta[9]) se oči oběma, totiž rozuma, a když uznamenasta, že jsta nahá, zvázavše listu fíkového i[10]) učinista sobě věníky.

8. A když uslyšesta hlas Hospodina[11]) Boha, chodícieho po polednie hodině v ráji,[12]) skry se Adam i jeho žena před oblicějem Hospodina[11]) Boha prostřed dřeva rajského.

9. I zvola Hospodin[1]) Buóh na Adama a řka k němu: „Kde jsi“?[13])

10. Jenž vece: „Hospodine, hlas tvój slyšav[14]) v ráji bál[15]) sem se, protože sem náh, i skryl sem se.“

11. Jemužto Hospodin[16]) řekl: „I kto ukázal tobě, že jsi[17]) náh? Jediné[18]) žes jedl ovoce s toho dřeva, ještoť sem zapověděl jeho nejesti.“

12. I řekl jest Adam: „Žena, kterúžs[19]) mi dal tovařiškú, dala mi ovoce s dřeva, i snědl sem.“

13. I vece[20]) Hospodin[21]) k ženě:[22] „Pročs to učinila?“ A ona[23]) otpověděla: „Had mě jest pře<l>stil, i snědla sem.“

14. I vece[20]) Hospodin[24]) Buóh k hadu: „Protožes to učinil, budeš zlořečený a prokletý mezi vším stvořením i zvieřatóm zemským,[25]) budeš[26]) na prsech se plaziti a prst[27]) jésti po vše tvé dni.

15. Ustavímť nepřiezeň mezi tebú a mezi ženú a plodem tvým a plodem jejím, onať[28]) ztroskoce hlavu tvú a ty budeš lstivě lákati jejého[29]) chodidla.“[30])

16. Ženě pak řekl[31]) Buóh: „Rozmnožím tvú biedu i tvá početie, v strasti s bolestí budeš roditi své syny a pod mocí mužskú budeš a onť bude nad tebú panovati.“

17. A Adamovi pak[3]) řekl:[32]) „Protožes své ženy uposlúchal[33]) hlasu a jedl si ovoce s dřeva, ještoť sem byl přikázal, aby jeho nejedl, prokleta země v tvém diele, s úsilím pokrma zemského budeš požívati po vše dni věku tvého.

Gemusz to szona otpowyedzala · owoce zdrzewa gisto gest wrayu gemi · Ale owoca zdrzewa · gez to gest pozrzod raya przykazal nam bog abichom nyegedli · any szø gego dotikaly · abichom snacz nyeumarly ·

Y otpowyedzal wøsz k szenye · nykakye szmyerczyø nyeumrzeczye · bo wye bog · ze ktorikoly dzen gego ukuszyczye otworzø szø oczy wasze · abødzeczeye jako bogowye wyedzøcz dobre izle ·

Y uszrzala szona ze gest dobri owocz geszcz stego drzewa Akrazne nasrok a k wydzenyu roskoszne · wszøwszy tego owocza y sznye · ada gego swemu møszu · gensze tesze sznyadl ·

Y otworzyli szø oczy obyema · to gest oczy rozuma · Agdisz uznamyonalasta · zesta naga · awszøwszy lyszczye fikowe · uczynylasta sobye wyenyky. ·

A gdisz usliszalasta glos pana boga chodzøcego popoludnyu · skril szø adam igego szona przed oblyczym pana boga poszrzod rayskyego drzewa ·

Y zawolal pan bog na adama · arzkøcz knyemu · Adamye gdze gesz ·

gensze rzekl Gospodnye glos twoy slyszalesm wrayu · aboyalesm szø przeto yszem nag · iskrilesm szø Gemusz to pan rzekl ·

Y kto ukazal tobye zesz nag · gedno iszesz yadl sowocza tego drzewa · gesto czyezm zapowyedzal gego nyegeszcz ·

Y rzekl gest adam · zona yøszeszmy dal towarzyszkø dala my owocza sdrzewa ysznyadlezm ·

Y rzekl bog czemusz to uczynyla · Otpowyedzala · wøsz myø sdradzyl · isznyadlasm ·

Y rzekl pan bog ku wøszowy · przeto zesz to uczynyl · bødzesz przekløt azlorzeczenyk myedzy wszem stworzenym · yzwyerzøti szemskymy · A bødzesz napyerszach laszycz · aszemyø geszcz · powszitky twe dny ·

A ustawyø nyeprzyyazn myedzi tobø amyedzi zonø · aplodem twym · a plodem gey · A onacz stroszcze ysetrze glowø twoyø · ati bødzesz nyeprzyyaczyel stopam gey ·

Azenye lepak rzekl gest bog · rozmnoszø twoyø byadø y twa poczyøczya wstaroszczy · sboleszczyø bødzesz rodzycz swe syni apodmoczø møszkø bødzesz · aon bødze nadtobø panowacz ·

A adamowy rzecze przeto iszesz swey szoni posluchal glosu · ayadlesz owocz zdrzewa · gez to czyezm bil przikazal · abi gego nyeyadl · Przekløta szemya wtwem uczynyenyu s uszylym pokarma zemskyego bødzesz poszywacz powszitky dny wyeku twego

18. Trnie a hložie bude roditi a bylinu zem-
skú budeš jésti,
19. v potu svého obličeje budeš sobě chleba
dobývati, dokudž se v prst neobrátíš,[34])
z niežto jsi učiněn,[35]) neb si prach[36]) a
v prach se obrátíš opět."
20. I vzdě Adam jmě své ženě Eva, proto
aby matka[37]) byla všeho stvořenie člově-
čieho.
21. I učini Hospodin[38]) Buóh Adamovi a
jeho ženě sukně kožené a oblekl je
22. a řka:[39]) „Aj, toť Adam jako jeden
z nás učiněn jest věda dobré i zlé." A již[40])
proto, aby nedosáhna svú rukú na dřevo
života věčného neučesl ovoce a sněda byl[41])
živ na věky,
23. vypusti[42]) jeho Hospodin[43]) z ráje roz-
koší, aby dělal zemi, z niežto jest učiněn.
24. I vyvrže Adama z ráje a ustavi před
rájem rozkoší cherubin a plamenný meč a
vrtký[44]) k ostřiehaní cesty k dřevu života.

Tarnye a glog bødze rodzycz · abile szem-
skye bødzesz geszcz ·
wpotu swego oblicza bødzesz sobye chleba
dobywacz · Alysz szø wszemyø nawro-
czysz zgeyszeszto uczynyon · bo proch gesz ·
awproch szø obroczysz · Opyøsz
zdzal adam gymyø swey szenye gewa ·
przeto abi macz bila wszego stworzenya
czlowyeczego ·
Y uczynyl pan bog adamowy · agego szenye
suknye koszane · aoblek ge y rzekl · owa
tocz adam iako geden znas uczynyon gest ·
wyedzøcz dobre yzle · przeto abi nyedo-
szøgl swø røkø nadrzewo zywota wyeczne-
go A nyeuczosl owocza asznyadl · ibil bi
zyw nawyeky ·
Wipuszczyl gego sraya roskoszy · abi dza-
lal zemyø · sktoreyze to gest uczynyon ·
ywirzuczyl adama sraya · A ustawyl przed
ragem roskoszy cherubyn aplomyenni
myecz wrøku · kuostrzeganyu drogi ku-
drzewu zywota

Varianty: *Abčdiklmoqv Vciptv (Aq* pouze do v. 15 podle ukázky u Koláře) V nutných případech použito i *Aš*, neboť III. recense vycházela z některého textu staršího, modernisaci tvarosloví III. recense (na př. četné byl m. bieše) však u předlohy BŽ nepředpokládáme.

1) Pán *Aimqv Vtv*
2) neumřeli *Abloq Vcp*
3) pak *om. Aš*
4) kterýkoli *Alo Vi*
5) otvořie *Abčdmq Vi*
6) oči vaše *Abčdmov Vi*
7) a *Adš*
8) i *om. Ai*
9) otvořista *Abčq Vp*
10) i *om. Vt*
11) Pána *Amqv Vt*
12) v ráji ku povětří po poledni *Aš*
13) Adame, kde jsi *Abčdímv Vitv*
14) slyšal sem *Aš*
15) a bál *Aš*, i bál *Vv*
16) Pán *Am Vt*, Pán Buóh *Vv*
17) žes *Ai*
18) jedné *Vt*
19) jižs *Abčdimqv Vc*
20) řekl jest *Aš*
21) Bóh *Aq*
22) Bóh k ženě *om. Vp*
23) Ana *Abq Vci*
24) Pán *Amv Vt*
25) zvieřaty zemskými *Alm Vt*
26) a budeš *Ačd*
27) zemi *Aš*
28) a ona *Ai*
29) jejé *Abčdimqv Vcip*
30) jejích chodidl *Al*
31) řekl jest *Abčdimv Vipt*
32) vece *Alo*
33) poslúchal *Aš*
34) nevrátíš do země *Aš*
35) z niežtos učiněn *Vv*
36) prach jsi *Aš*
37) mátě *ostatní rkpy*
38) Pán *Aimv Vtv*
39) i vece *Aš*
40) A již *om. Aš*
41) i byl *Abčdilomv Viv*
42) vypustil *Vc*
43) Hospodin *om. Av Vp*
44) v rukú *Abčiv Vit*

Tobiáš, 1. kapitola

Bible Mikulovská *(Ai)*.

1. Tobiáš z pokolenie a z města Neptali-
mova, kteréžto[1]) město[2]) leží nad gali-
lejskú vlastí nad těmi bydlišti Naason
stran cesty, ješto[3]) vede na západ slunce
nalevo[4]) maje město jménem Sephet,
2. když[5]) bieše jat ve dnech Salmanazara,
krále asyrského, avšak tak jsa u vězení

Bible královny Žofie *(BŽ)*.

Tobyas spokolenya azmyasta Neptalymo-
wa gesz lezi nad galyleyskø wloscyø nad
tymy myesczcy Naazon stron drogy iasz
wyedze na zapad sluncza nalewye maiøcz
myasto Sefet ·
Agdisz ten møsz bozi Tobyas bil iøt we-
dnyoch Salmanazara krolya Asyrskego

proto cesty pravdy neopustil,

3. ale cožkoli mieti možieše,[6]) na každý den spolujatým bratřím,[7]) ješto z jeho rodu biechu, spomáháše.
4. A kakžkoli z rodu Neptalimova všech najmlazší[8]) bieše, avšak proto nic dětinských věcí nedržieše.
5. Neb když všickni k telcóm zlatým chodiechu, jež bieše Jeroboam, král izrahelský, učinil, on sám všech jiných se obina_
6. pojdieše[9]) do Jeruzalema k chrámu Božiemu a tam se modléše Pánu Bohu izrahelskému a všecky úrody a desátky své prvnie[10]) věrně oběrováše[11]) Bohu,
7. takže třetieho léta rozličným chudým i hostem i svým všecku desetinu rozdáváše.
8. Tyto i jiné věci k těm podobné podlé zákona Boha nebeského ještě dietětem jsa zachovávaše.
9. Ale když jest[12]) k mužským letóm přišel, pojal sobě ženu z svého pokolenie, jménem Annu, i zplodil[13]) z nie syna, jemuž jmě vzděl Tobiáš,
10. jehožto[14]) z jeho dětinstva Boha se učil báti a vzdržeti se od všelikého hřiecha.
11. A když pak v svém vězení bieše přišel s svú ženú i s svým synem do města Ninive se vším svým pokolením,
12. všickni jiediechu[15]) zápovědné[16]) krmě pohanské, jediný[17]) on sám ostřiehal duše své a nikdy jest[18]) sebe neposkvrnil v pokrmiech jich.
13. Protože jest pamatoval na Pána[19]) svým srdcem vším, i dal mu jest Bóh milost v obličeji krále Salmanazara,
14. takež mu jest[12]) dal moc, kamž by koli chtěl jíti maje svobodu, aby činil, co by koli chtěl.
15. Protož chodieše na však den navštěvuje těch,[20]) ješto u vězení biechu, dávaje jim napomínanie spasitedlné.
16. A když přijide do Rages, města medského, maje s sebú deset liber střiebra, ješto mu bieše ctí král dal, a bieše s ním mnohý zástup z jeho rodu,
17. vida jednoho jménem Gabelum z svého pokolenie potřebna, dal mu jest to drieve řečené střiebro pod zápisem.
18. Pak po mnohém času, když král Salmanazar umřel a syn jeho Senacherib kralováše miesto něho a syny izrahelské v nenávisti mějéše před svým obličejem,
19. v tu dobu[21]) Tobiáš[22]) chodieše každý den po všie rodině své těše je a což mohl z statku svého jim pomáhal:

20. lačné krmil, nahých[23]) přiodieval a mrtvé a zbité pochovával.

awszakoz tak søc wiøczstwye przeto drogy prawdi nye opuscyl
Ale czsokoly myecz mogl nakaszdi dzen spolu iøtim bracy gisz zgego rodu bily wspomagal
Akakokoly zrodu neptalymova wszech na mlodszi bil Wszako syø przeto nyczs dzecynskich rzeczi nye dzerzal ·
bo gdi wszitci ku cyelczom zlotim chodzily gesz bil Jeroboam krol uczinyl · on sam wszitkich gynich syø wyaruiøcz
chodzil do Jerusalem ku koscyolu bozemu atam syø modlyl panu bogu israhelskemu · awszitki urodi adzesyøtki swe pyrwe wyernye offeroval bogu ·
tak isze trzecyego lyata rozmaytim ubogym ygoscyem yswim wszitkø dzesyøcynø rozdawal ·
Ty ygine rceczi ktim podobne podle zakona boga nyebyeskego gescze dzecyøcyem søcz zachovaval ·
Ale gdi ku møskim lyatom prziszedl poiøl sobye zonø sswego pokolenya gymyenyem Annø · yurodzil znyey sina gemu gymyø zdzal tobyas
gegosz zgego dzecynstwa boga syø uczil bacz awzdzerszecz syø ot wszelkego grzecha
Agdisz potem wswem wyøzenyu bil prziszedl sswø zonø ysswim sinem do myasta Nynywe sewszim swim pokolenym ·
wszitci gedly zapowyedzane karmye poganske: geno on sam ostrzegal dusze swey anygdi syebye nyepokalyal w pokarmyech gich
przeto ysze pamyøtal pana swim syercem wszitkim · y dalmu bog myloscz woblyczu krolya Salmanazara ·
Takeszmu dal mocz dokodbikoly chcyal gydz maiøcz volenstwo abi czinyl czsobikole chcyal :
Przeto chodzil nawszaki dzen nawyedzaiøcz wszitki ti gisz wiøczstwye bily davaiøcz gym napomynanya zbawyenya
Agdisz przidze do · rages · myasta medzskego maiøcz ssobø dzesyøcz lyber srzebra geszmu bil czcyøø krol dal · abil snym vyelyki zastøp zgego rodu ·
Wydzøcz genego gymyenyem · gabelum · sswego pokolenya potrzebnego dalmu to przerzeczone srzebro pod zapysem ·
Potem pomalem czasu gdi krol Salmanazar umarl asin gego Sennacherib krolyowal wmyasto gego asini israhelske wnyenavyscy myal przed swim oblyczim
Tedi Tobyas møz bozi chodzil kazdi dzen powszey rodzinye swey cyeszøcz ge · a czsoz mogl zgymyenya swego gym pomagal ·
laczne karmyl · nage przyodzeval · martwe a zabyte pochovawal

21. A když král Senacherib bieše se vrátil od Židovstva utiekaje rány, jižto bieše naň Bóh přepustil pro jeho rúhanie, a rozhněvav se mnohé z synóv izrahelských hubieše, a[24]) Tobiáš pochováváše těla jich.	Agdisz krol Sennacherib wrocyl syø od zidowstwa ucyekaiøcz rani gesz bil bog nan przepuscyl prze gego urøganye · Aroznyewaw syø wyele ssinow israhelskich gubyl thobyas gich cyala pochowaval
22. To když královi pověděchu, káza jej král zabíti a jeho vešken statek pobral[25])	To gdisz krolyovy powyedzano kazal gy krol zabycz agego wszitko gymyenye pobracz
23. Ale Tobiáš s svým synem a s svú ženú téměř náh utekl[26]) a[27]) skryl se jest, nebo mnozí jeho milováchu.	Ale Thobyas sswim sinem az swø zonø nag ucyekl skril syø bo wyele gy mylowaly
24. Potom pak po pěti a po čtyřidceti dnech zabili sú krále jeho vlastní synové,	Potem popyøcy apoczterdzescy dnyoch zabyly krolya gego wlostnij sinowye
25. i[28]) navrátil se jest Tobiáš do svého domu a vešken jeho statek jest[29]) jemu navrácen.	a nawrocyl syø thobyas do swego domu a wszitko gego gymyenye gemu nawroczono

Varianty: *Abčjkm Vdfhij*; pro nutné vysvětlení také čtení I. překladu *(Aadlo Vcgiv TobMS)* a čtení III. překladu *(Aš)*.

1) ješto *Abčjkm Vdfhj*
2) město *om. Aš*
3) jenž *Vj*
4) na levé *Vh*
5) A když ten muž Boží Tobiáš *Abčjk Vdfj + I.*
6) mohl *I. + III.*
7) spolubratří *Ač*
8) najmladší *Ajm Vfj*
9) chodieše *Aš Vgjv TobMS*
10) prvé *Vj*
11) oféroval *Vc*
12) jest *om. I.*
13) urodil *Abčjk Vdhj*
14) jehož *Vv*
15) jedli *Vv*
16) zapověděné *Ab Vfhi*
17) jediné *Aj Vfi*
18) jest *om. Vc*
19) pamatoval Pána *Abčjkm Vdj*
20) ty *Vf*, všech těch *Abčjk Vjh*
21) tehda *Am*
22) muž Boží *add. Abčjk Vdfhj + I.*
23) nahé *Ak*
24) a *om. Abčjk Vdh*
25) pobrati *Ak*
26) utek *Abj Vd*
27) a *om. Abčj Vdfhi*
28) a *Abčjk Vdfhij*
29) jest *om. Vh*

Prozkoumání celé BŽ slovo za slovem s ohledem na původní český text povede nejúspěšněji k vyřešení všech nejasností v této památce skoro beze zbytku, takže bude možno s konečnou platností pojednat o technice polského převodu, o jeho jednotlivých překladatelích i o četných dílčích problémech polštiny 15. století. Náš rozbor učinil jakýsi průzkum, jehož výsledky bude potřebí doplnit ještě podrobnějším zkoumáním; ukázal především odlišnost české předlohy prvního polonisátora od předlohy částí ostatních. Není vyloučena možnost, že předloha BŽ byla pouze jediná a měla starší znění I. recense v části Genese, zatím co další text byl zvláštního typu II. recense — s obdobným jevem se setkáváme v *Akv* a patrně i v *Az:* písaři začali opisovat starší rukopis a teprve později se jim podařilo najít předlohu lepší, mnozí zřejmě neměli nikdy úplný text pohromadě a vypůjčovali si k opisování jednotlivé části, takže celek nepředstavuje jednotné zpracování. U staropolské bible však se zdá pravděpodobnější, že první písař začal psát podle rukopisu dosti starého a místy značně porušeného a špatného, a proto práce zanechal, snad ani další text neměl; v díle později pokračovali jiní, jakmile si opatřili novou předlohu. Tím by se i dala podepřít stará domněnka, že mezi prací prvního písaře a ostatními uplynulo delší časové období (spojení BŽ s královnou Jadwigou † 1399), není to však vysvětlení jediné ani nezbytné; další podrobný a úplný rozbor podá snad i zde výsledky určitější. Velmi podstatně může také přispět k řešení všech těchto problémů hlubší prozkoumání rukopisných biblí českých, drahocenného to pokladu českého národa, tak skvěle representujícího jeho kulturu ve 14. a 15. století.

Vladimír Kyas

Z korespondencji Alojzego Jiráska z Polakami

Alojzy Jirásek (1851—1930), twórca czeskiej realistycznej powieści historycznej, należał w swoim czasie do czołowych polonofilów czeskich. Już jako uczeń gimnazjum w Hradci Králové poznawał utwory pisarzy polskich albo w oryginale,[1]) albo w przekładach, przeważnie F. P. Voláka oraz F. L. Vorlíčka. Systematycznie zapoznawał się z literaturą polską za pomocą antologii H. Cegielskiego. Gorliwie sympatyzował Jirásek z powstaniem styczniowym. Jak czytamy w *Z mých pamětí*, kupił sobie nawet podobiznę Mariana Langiewicza, nie przypuszczając, że ów znajdował się wówczas w niedalekiej twierdzy w Józefowie.

W latach późniejszych, Jirásek dawał wyraz sympatyom do bratniego narodu polskiego w licznych utworach. Zagadnienie to omówili już Bohumil Vydra[2]) oraz prof. Stefan Wierczyński.[3])

W/w autorzy nie wyczerpali jednak tematu, pomijając w swych rozprawach szereg utworów Jiráska, m. in. opowieść p. t. *Z malých cest*, legendy ze *Starých pověstí českých (O Čechovi, O Krokovi, O Janošíkovi)* oraz sztuki *Jan Žižka* i *Jan Roháč*.[4])

Jirásek, który utrzymywał stosunki z takimi polonofilami czeskimi jak z Eduardem Jelínkiem,[5]) Franciszkiem Alojzym Horą,[6]) Franciszkiem Kvapilem oraz Janem Rokytą, korespondował również z licznymi Polakami. W archiwum jego, zdeponowanym w Muzeum Jiráska w Pradze, znajdują się 4 listy Zyndram Kościałkowskiej z lat 1884—1888, 6 listów Stanisława Pazurkiewicza (1925—1927), 2 Jana Żytowicza (1918), 5 Macieja Szukiewicza /1906—1926), 9 listów tłumaczki utworów Jiráska na język polski, Marii Wysłouchowej (1890—1901), oraz 2 tłumaczki Stelli Olgierd (Łazarskiej) (1927). Kontakt piśmienny utrzymywał Jirásek m. in. również z tłumacką *Maryli* oraz *Psiogłowców*, Julią Fischerową-Dutkowską, z którą spotkał się osobiście w roku 1930.

---

[1]) Język polski studował z podręcznika O. A. Špachty p. t. *Krátká mluvnice polská.*

[2]) *Alois Jirásek a Poláci*, Praha, 1939. Vydra jest również autorem artykułu p. t. *Alois Jirásek a Polsko*, Literární rozhledy (1930), nr. 9.

[3]) *Motywy polskie u Alojzego Jiráska*, Przegląd Zachodni (1951) nr. 3/4.

[4]) Bronisław Cirlić uważa za polonicum również i powieść *Psohlavci (Alojzy Jirásek, przyjaciel Polaków*, Vieś [1951] nr. 41). Chodowie są jego zdaniem pochodzenia polskiego. Por. m. in. książkę *Res publica Bohemiae* Pawła Stranskiego ze Zap (ur. 1583), jednego z imigrantów czeskich z okresu pobiałogórskiego, zamieszkałego przez 10 lat w Toruniu, który uważa Chodów za potomków Polaków, osadzonych przez księcia Břetislava w roku 1039 w lesie Czrnin. Henryk Vančura w swej książce *Dějiny někdejšího král. města Klatov* twierdzi natomiast, że las Černín nie znajdował w okolicach Domažlic, głównego miasta Chodska, lecz w okolicach miasta Berouna w Czechach środkowych.

[5]) Jelínkowi dedykował w 1890 r. napisaną nowelę *Tčevská hranice.*

[6]) Wacław Jílek opublikował na łamach Slavii XIX (1950) 382—393, korespondencję Jiráska do Hory.

Uwagę Fischerowej-Dutkowskiej, Polki, żony Czecha, zamieszkałej w Berounie, na utwory Jiráska zwrócił zasłużony szerzyciel idei czesko-polskiego zbliżenia kulturalnego Józef Svítil-Karník.[7]) Na prośbę Dutkowskiej zwrócił się Karník jesienią 1925 roku do autora *Bratrstva* po zezwolenie na przekład Maryli. Odpowiedź nadeszła dnia 22 grudnia 1925: „Vaše zpráva mne velmi překvapila. Bratři Poláci dívají se z patra na naše písemnictví[8]) a jestliže se vyskytne překlad z češtiny, nenajde nakladatele, jak sám o tom uvádíte doklady. Děkuji paní Fischerové, že si mé »Maryly« povšimla a ji do svého mateřského jazyka přetlumočila. Ochotně svoluji a přeji, aby výsledek práce té ji potěšil.“[9])

Bohumil Vydra, wówczas lektor języka czeskiego na Universytecie Warszawskim, zajął się sprawą wydania przekładu w Polsce.[10]) Ukazał się on w roku 1927. Krytyka polska, której nie obce były przekłady utworów Jiráska, przyjęła i tłumaczenie Maryly[11]) bardzo przychylnie. Obszernie omówił przekład J. Magiera w artykule *Pan Tadeusz i Maryla* na łamach łódzkiej Prawdy z dnia 8. I. 1928 roku. Magiera w czeskiej noweli dopatrywał się nawet pewnych wpływów dzieł Sienkiewicza. Jirásek zareagował na ten artykuł, przesłany mu przez tłumaczkę Maryli w liście z dnia 6. II. 1928 r.: „Díky také za číslo »Prawdy« s úvahou o »Maryle«. Úvaha ta mne velmi zajímala, dovoluji si však upozornit na to, v čem se pan Mgr. mýlí. Sienkiewicz neměl na mne žádného vlivu vůbec, také ne při »Maryle«. Tu jsem psal před 40 léty, r. 1884, kdy jsem ze Sienkiewicze neznal nic; ani jsem snad o něm nevěděl. Kde p. Mgr. ty »odbłyski« ze Sienkiewicze vycítil, nevím,“

Ponadto nie zgadza się, jak słusznie zauważył prof. Wierczyński w artykule *Motywy polskie u Alojzego Jiráska,* literacka chronologia. Można dopatrywać się w Maryli „... pewnych analogii z Sienkiewicza (Maryla a Basia z »Pana Wołodyjowskiego«) porwanie dziewczyny a podobny wyczyn Kmicica (w »Potopie«), ale to są podobieństwa słabe... »Maryla« napisana była w r. 1884 i 1885, »Potop« zaś wyszedł w r. 1887/8.“

Po wydaniu polskiego przekładu „Maryli“, Dutkowska zabrała się do tłumaczenia *Psohlavců,* powieści która ukazała się już w roku 1902 w przekładzie Marii Wysłouchowej, jednak w znacznym skrócie. Mając gotowy przekład, tłumaczka, nie znająca jeszcze osobiście Jiráska, zdecydowała się, odwiedzić autora Psiogłowców w Pradze. O tym spotkaniu pisze Fischerowa-Dutkowska w artykule *Garść wspomnień o Alojzym Jirásku:*[12]) „W dłuższej przyjaznej rozmowie o przekładzie »Psiogłowców« podkreślił (Jirásek) swój pogląd, że żadna gwara nie może zastąpić pięknego narzecza chodzkiego, więc w całym przekładzie należy zastosować język literacki... Potem rozmawiał ze mną o Polsce, o Krakowie z Wawelem, Barbakanem, Sukiennicami i kościołem Mariackim. Mile wspominał swój pobyt w Zakopanem i w Krakowie, gdzie zatrzymał się przed laty, pisząc swe dzieło »Bractwo« (»Bratrstvo«) 3tomową historyczną powieść. Rozmowa przeszła na literaturę polską i na sławnych pisarzy polskich: »Najmilszym

---

[7]) Por. *Jan Karník—Dr. Josef Svítil,* 1870—1930, *sborník k šedesátinám.* Nové Město na Moravě, 1930, oraz Dziś i Jutro (1950) nr. 19, (233).

[8]) Por. zdanie w brulionie listu Jiráska do Jana Żytowicza z marca 1918 „V Polsku Bohemica non leguntur“.

[9]) Por. J. Svítil—Karník „Jirásek a jeho překladatelka“, Národní politika, 19. V. 1931.

[10]) Por. również J. Svítil-Karník *Dva naši přátelé,* Lidové listy, 11. XI 1927.

[11]) Motto XIV rozdziału zaczerpnięte jest z *Pana Tadeusza.*

[12]) Dziś i Jutro (1950) nr. 19 (233).

z nich i najbliższym memu sercu był zawsze i jest Wasz wielki Mickiewicz. Jego Pana Tadeusza czytałem niezliczoną ilość razy w oryginale i w pięknym przekładzie El. Krásnohorskiej a także i w przekładach na inne języki. Zazdroszczę Wam, chociaż równocześnie cieszę się, że takie arcydzieło macie w swej literaturze.«"[13])

Zdawało się, że przeklad Psohlavců podzieli los pierwszej tłumaczonej przez Dutkowską z literatury czeskiej powieści *Vdavky Nanynky Kulichovy* Ignáta Herrmanna, której maszynopis wędrował z Krakowa do Warszawy, z Warszawy do Poznania, nigdzie nie mogąc znaleść nakładcy. Ta sama odyssea czekała i maszynopis Psiogłowców. Przekład tego utworu Jiráska, wydany dopiero w Polsce Ludowej w roku 1948 przez Sp. Wyd. Wiedza, prasa polska powitała serdecznie. W Trybunie Ludu nr. 192, z dnia 16 lipca 1949 czytamy: „... Dobrze się stało, że utwór ten o tematyce tak aktualnej w chwilach wielkich przemian społecznych ukazał się dzisiaj na półkach księgarskich. Wydaje się nam, iż powinien się on znaleść w bibliotekach gminnych, w świetlicach robotniczych i w szkołach."

W 1949 r. nakładem Książki i Wiedzy ukazał się ponownie przekład Maryli. Kuźnica pisze m. in: „... Tymi szczegółami narracyjnymi pragnie Jirásek jak kdyby podkreślić przyrodzoną więź łączącą dwa bratnie i sąsiednie narody, zarówno w potrzebie wojennej, jak i w czasie pokoju...". Również i w prasie czeskiej znajdziemy wzmiankę o powyższym przekładzie Maryli. Práce z dnia 20. X. 1951 pisze: „Okresní národní výbor ocenil práci kulturní pracovnice. Paní Julie Fischerová-Dutkowská z Berouna přeložila do polštiny Jiráskovu »Marylu«."

Oprócz Psohlavců oraz Maryli po roku 1945 wydano w dużych nakładach tłumaczenia następujących utworów Jiráska: Skaláci, *Skałakowie*, tlum. W. Madejski, Warszawa 1949, Ráj světa, *Uroki świata*, tłum. Z. Hierowski, Warszawa 1950, II wyd. Warszawa 1951,[14]) Filosofská historie, *Studenckie dzieje z dawnych lat*. tłum. N. Zalewska, Warszawa 1950,[15]) Na staré poště, *Na starej poczcie*, tłum. N. Zalewska, Warszawa 1950.[16])

Przygotowano pozatym do wydania m. in. przekłady *Bratrstva, Proti všem, V cizích službách* oraz *Temna*.

Cyfry nakładów tłumaczeń dzieł Jiráska, dobitnie świadczą o popularności pisarza w Polsce. Twórczość jego dociera za pomocą sieci bibliotek ludowych do wszystkich warstw bratniego narodu, budząc w nich miłość i sympatyę do ojczyzny wielkiego Czecha.

Publikując niniejszym korespondencję Alojzego Jiráska do Julii Fischerowej-Dutkowskiej, zawierającą 6 listów oraz 4 widokówki z lat 1927—1929, stanowiącą ciekawy przyczynek do biografii wielkiego polonofila, pragnę złożyć serdeczne podziękowanie Julii Fischerowej-Dutkowskiej oraz Józefowi Svítilowi-Karníkowi za przesłany mi materiał rękopiśmienny i źródłowy.

Jerzy Slizinski

---

[13]) Opis spotkania J. Dutkowskiej z Alojzym Jiráskiem znajdujemy również w w/w artykule Svítila-Karníka. Por. również artykuł tegoż *Alois Jirásek a Polsko*, Lidová Obroda, 19. VIII. 1951.

[14]) Ráj světa tłumaczył F. Krček w r. 1897.

[15]) Filosofská historie tłum. F. Krček w r. 1912 oraz St. Alberti, Warszawa 1927.

[16]) „Na staré poště" tłumaczyła w roku 1928 Stella Olgierd.

V Hronově 14. října 1927.

Vážená paní![17—18])

Děkuji Vám za všecku přízeň věnovanou mé „Maryle" a za její překlad, který, jak jsem zvěděl z listu p. prof. Vydry, buď již vyšel nebo vyjde. Škoda, že, když Jste „Marylu" překládala, nebylo ještě nového vydání, třeba že není v něm žádných podstatných změn. Dovoluji si Vám zaslati toto nové vydání „Maryly" a prosím, abyste je ráčila laskavě přijmout na památku.

Poroučím se Vám v dokonalé úctě oddaný

Alois Jirásek

V Praze 19. prosince 1927.

Vážená paní![19])

Přijměte, prosím, vřelé mé díky za milý svůj list a za výtisk „Maryly", kterou Jste do své mateřštiny zdařile, krásně přeložila. Způsobila Jste mně velké potěšení, za které jsem Vám upřímně vděčen. Obzvláště by mne těšilo, kdyby se splnilo, co píšete, že kniha o Maryle bude dobře působit mezi Vašimi krajany pro lepší poznání a shodu českopolskou. Jsem shody té horlivým vyznavačem jako od své mladosti vřelým milovníkem slavného polského písemnictví. Mám jedinou poznámku, kterou mně, doufám, nezazlíte, že by místo „tvrz"[20]) lépe bylo „twierdza" nebo „kasztel", neboť dvůr je folwark, jak také máte, který býval při tvrzi. Domkovská tvrz měla svůj hospodářský dvůr. Ale to je maličkost, které si jen autor povšimne, a vážená překladatelka mu připomínku, laskavě, doufám, promine. Těšilo mne mimochodem řečeno, že jsem se shledal s woźnym, jak přiléhavě přeložen náš „komorník" (soudní). Vzpomněl jsem si také na woźného z „Pana Tadeáše".[21]) Ještě jednou srdečné díky vážená paní za Váš překlad a za Vaši laskavost. Račte prominout, že tak pozdě píši. Stále churavím a poslední dobou také zrak můj neslouží, jak by měl.

V hluboké úctě Vám oddaný

Alois Jirásek

[17—18]) Por. list Jiráska z dnia 7. X. 1927 r. do Svítila-Karníka: „...Z listu pana prof. Vydry, kterýž list došel mne v polovici min. měsíce, jsem se dozvěděl, že paní Fischerová »Marylu« přeložila a že povídku tu vydá »Biblioteka Groszowa« ve Varšavě, nebo snad že »Maryla« tam vyšla. Škoda, že »Maryla« vydaná jako II. svazek mých Sebraných spisů, tenkrát ještě nebyla vydána, aby paní Fischerová podle tohoto vydání překládala. Nějakých větších změn není v novém vydání a tak nebude na závadu, když překlad vyjde podle staršího vydání. Rád bych tuto novou knihu poslal paní Fischerové. I prosím Vás, abyste byl té lásky a napsal mně její adresu." (Opublikowany w artykule Svítila-Karníka *Jirásek a jeho překladatelka*, Národní politika, 19. V. 1931.)

[19]) Fragmenty tego listu cytowali Svítil-Karník w artykułach *Jirásek a jeho překladatelka* i *Alois Jirásek a Polsko*, Lidová Obroda, 19. VIII. 1951 oraz B. Vydra w rozprawie *Alois Jirásek a Poláci*, Praha, 1939. Przekład listu przytacza również J. Fischerová-Dutkowská w artykule *Garść wspomnień o Alojzym Jirásku*, Dziś i Jutro (1950) nr. 19.

[20]) W w/w artykule pisze Dutkowska: „Korektor Biblioteki Groszowej, bez porozumienia się ze mną zmienił w moim przekładzie średniowieczny »dworzec« na »dwór« a »dwór« na »folwark«." Por. również Svítil-Karník, *Jirásek a jeho překladatelka*: „...Když »Maryla« konečně vyšla v pěkné úpravě, měla překladatelka radost značně zkalenu, neboť pořadatel sbírky o své újmě změnil některá slova, jimiž překladatelka po úradě se svým polským příbuzným, učeným historikem města Bochně snažila se přesně vystihnout starobylé a odborné výrazy Jiráskovy. Změny pořadatelem provedené byly vesměs pochybeny a na úkor správnosti překladu."

[21]) Stosunek Jiráska do Mickiewicza maluje korespondencja Jirásek-Machar, ogłoszona w Pestrém týdnu 1931.

Widówka V Praze 24. ledna 1928.

Velevážená paní!

Srdečné díky za milý lístek, který mne velmi těšil. Píši pozdě, nemohl jsem pro churavost hned poděkovati. Přeji Vám, aby pobyt v milém domově byl Vám co nejpříjemnější.

V hluboké úctě Vám oddaný *Alois Jirásek*

V Praze 6. února 1928.

Vážená paní![22])

Srdečně děkuji za album Krakova, které mně připomenulo staroslavné město, když jsem se před mnohými léty na své cestě za „Bratrstvem" tam stavil. Díky také za číslo „Prawdy" s úvahou o „Maryle". Úvaha ta mne velmi zajímala, dovoluji si však upozornit na to, v čem se pan Mgr. mýlí. Sienkiewicz neměl na mne žádného vlivu vůbec, také ne při „Maryle". Tu jsem psal před 40 léty, r. 1884, kdy jsem ze Sienkiewicze *neznal nic*; ani jsem snad o něm nevěděl. Kde p. Mgr. ty „odbłyski" ze Sienkiewicze vycítil, nevím. Račte prominout, že o tom píši. Poroučí se Vám, vážená paní, v hluboké úctě oddaný

Alois Jirásek

Widówka. V Praze 5. dubna 1928.

Vážená paní!

Díky za laskavé a mně zvláště milé přání k svátkům. Přeji, abyste jich s váženou svou rodinou ve zdraví příjemně užila. Těší mne, že Vaše choroba přešla a přeji stálého zdraví. V upřímné úctě Vám oddaný

Alois Jirásek

V Praze 1. prosince 1928.

Vážená paní![23])

S potěšením jsem přečetl Váš list ze dne 28. XI. Rád svoluji, abyste přeložila „Psohlavce" do polštiny. Mám v milé paměti Váš krásný překlad „Maryly" a tak se těším na „Psohlavce" v polském rouše.

Po novém roce začnou vycházeti po sešitech v novém vydání mých Sebraných Spisů jako svazek XV. Sem tam je v nich menší oprava, nikde však podstatnější změna. Je možná překládati z nynějšího vydání, ale pokusím se, abych Vám mohl poslat či posílat po menších částkách nové vydání, které začali tisknout. „Psohlavci" vyšli v polském překladu W. Wysłouchowé před *dvaceti* léty (1902). Nemýlím-li se, je ten překlad místem zkrácený, ale dnes už nevím nic určitého. Vy, vážená paní, zajisté přeložíte dílo celé, beze změny. Chodského podřečí není možná v překladu nahradit. Zůstalo by při spisovném jazyku tak jako i v jiných překladech.

Děkuje Vám, vážená paní, za přízeň projevenou „Psohlavcům", jsem v upřímné úctě Vám oddaný *Alois Jirásek*

---

[22]) Fragment tego listu cytuje S v í t i l - K a r n í k w artykule *Jirásek a jeho překladatelka*. Fragment tego listu w tłumaczeniu polskim przytacza również Dutkowska w w/w artykule. Por. również B. Vydra, op. cit.

[23]) List ten, w tłumaczeniu polskim przytacza D u t k o w s k a w w/w artykule. Fragmenty tego listu cytuje również S v í t i l - K a r n í k w artykule *Jirásek a jeho překladatelka*.

Widówka. V Praze 22. prosince 1928.

Velevážená paní!

Srdečné díky za milá přání.

Šťastných a veselých svátků a všeho dobrého v novém roce přeje Vám a vážené rodině v upřímné úctě oddaný

Alois Jirásek

V Praze 31. ledna 1929.

Vážená paní!

Dovolil jsem si před časem Vám oznámit, že pošlu čistou korekturu „Psohlavců" posledního vydání. Posílám ji dnes a prosím, abyste ji laskavě přijala a užila jí při svém překladu, na který se těším. „Psohlavci" vycházejí teď po sešitech a potrvá ještě nějaký týden, než bude dílo ukončeno. Proto zatím jen tu korekturu. Račte podle ní překládati. Jest to poslední a místy opravené vydání.

Poroučí se Vám v upřímné úctě oddaný

Alois Jirásek

V Praze 8. dubna 1929.

Vážená paní![24])

„Psohlavci" vycházeli po sešitech, nyní byli vydáni také samostatně. Dovolil jsem si Vám výtisk zaslati, abyste jej laskavě přijala jako projev mé úcty a na památku. Račte dovolit, abych pověděl, jak mne těší a jak si toho vážím, že tato má kniha došla Vaší přízně.

Poroučí se Vám v upřímné úctě oddaný

Alois Jirásek

Widówka. V Praze 27. prosince 1929.

Velevážená paní!

Srdečné díky za milý sváteční lístek. Přeji všeho dobrého v novém roce, zvláště stálého zdraví. S potěšením jsem četl zprávu o překladu „Psohlavců".

Poroučí se Vám v hluboké úctě oddaný

Alois Jirásek

---

[24]) List ten v tłumaczeniu polskim przytacza J. Fischerová-Dutkowska w w/w artykule. List ten przytacza równiez Svítil-Karník w w/w artykule.

KRITIKY A REFERÁTY

H. Koneczna, W. Zawadowski: **Przekroje rentgenograficzne głosek polskich.** Warszawa 1951, 146 obr., 16 str.

Dílo uvedených autorů je práce velmi záslužná, neboť podává svislé podélné průřezy postavení mluvidel při artikulaci všech polských hlásek, a to pro 4 různé osoby, vesměs dlouho usazené ve Varšavě. Tyto předběžné údaje dávají už předem poznat, že právě v tomto užití rozličných subjektů a v podání několika obrazů pro každou hlásku záleží velká cena této práce, i když je obrazem pouze jediné polské výslovnosti, výslovnosti varšavské. Hlavní její přínos je ovšem v tom, že především doplňuje starší obrazy hlásek od Benniho *(Palatogramy polskie*, 1931, které jsou vlastně přetiskem starší práce *Metoda palatograficzna w zastosowaniu do spółgłosek polskich* z r. 1917), opřené vesměs jen o palatografii a přímé pozorování; dodávám k tomu, že palatogramy polských samohlásek v té podobě, jak je otiskl Benni r. 1931 a předtím ve Sborníku Rozwadowského z r. 1927 *(Kilka palatogramów pełnogłosek polskich*, s. 415—425), pokládám za méně spolehlivé nežli jeho palatogramy polských souhlásek, i když také těm lze leccos vytknout. Dále tato práce dobře nahrazuje dosavadní *Obrazy głosek polskich* od Abińského (1925), opřené pouze o subjektivní zkušenosti a přímé pozorování, a konečně doplňuje vhodně řadu slovanských prací podobného druhu, vykonaných již pro ruštinu (Jen'ko, *Opyt primenenija rentgenografiji k izučeniju artikuljacij* v Izvestija otd. russk. jazyka i slovesnosti, XVII, 1913, s. 261—304), češtinu (Hála-Polland, *Artikulace českých zvuků v rentgenových obrazech*, 1926), srbocharvátštinu (Miletić, *Prilog za ispitivanje artikulacija pomoću rendgenovih zrakova*, Južnoslovenski filolog VII, 1927/28, s. 160—200), slovinštinu (Bezlaj, *Oris slovenskega knjižnjega izgovora*, 1939) a bulharštinu (Stojkov, *Bălgarski knižoven izgovor*, 1942).[1])

Pro informaci čtenářů dodávám, že spoluautorka tohoto spisu, paní Halina Koneczna, četla mou recensi v rukopise a přičinila k ní řadu poznámek: k jejím námitkám i vysvětlením v nynějším znění recense přihlížím.

Rentgenogramy byly provedeny v Rentgenologickém ústavu lékařské akademie ve Varšavě, jehož ředitelem je prof. Dr Witold Zawadowski. Postup při práci byl podobný jako Pollandův a můj. Pro zjasnění méně patrných oblastí mluvidel bylo užito kontrastní hmoty, nevadící pokusné osobě a neporušující artikulaci (je na př. s podivem, že ještě v roce 1929 pracoval Angličan Stephen Jones, *Radiography and pronunciation*, The British Journal of Radiology, 1929, se dvěma řetízky položenými přes jazyk a přes měkké patro, tedy starou metodou Barthovou-Grunmachovou, *Röntgenographische Beiträge zur Stimmphysiologie*, Archiv f. Laryngologie u. Rhinologie, XIX, 1907, 396—407, kterou jsem odsoudil již ve své a Pollandově práci z r. 1926, s. 7). V jedné důležité věci se však

---

[1]) Práce Jen'kova je časově první slovanská práce tohoto druhu, avšak rentgenogramy v ní otištěné trpí velmi nejasností, přirozenou v době, kdy rentgenografická metoda byla v úplných začátcích. Nedostatek fonetického vzdělání (autor byl učitelem hluchoněmých) projevuje se v této práci rovněž velmi rušivě.

polští autoři od našeho českého postupu liší, a to tím, že v nákresech, pořizovaných podle originálních rentgenogramů, zakreslili různé, často až 3 obrysy jazyka stejným způsobem, t. j. plnými čarami. Když tyto různé čáry identifikují buď jako střední linii nebo okraje jazyka, bylo by bývalo s prospěchem pro usnadnění studia rozlišit tyto linie též graficky.

Dále bych měl ještě několik poznámek, týkajících se provedení kreseb. Především na mnoha nákresech je obrys hrotu, této nejdůležitější artikulační části jazyka, neúplný. To je ovšem škoda, poněvadž se tím obraz jazyka stává kusým, což při některých hláskách citelně vadí. Podle písemného sdělení autorky nebyl rentgenový obraz hrotu jazyka většinou dostatečně jasný, ježto prý sliny smývaly baryový nános, a to hlavně na jeho spodní straně; proto prý na kresbě tuto část vynechali. K tomu dodávám, že jsme s Pollandem dostali jasný spodní obrys hrotu i bez užití barya a dále, že by se byli autoři velmi zavděčili čtenářům, kdyby byli chybějící obrysy podle pravděpodobnosti alespoň vytečkovali, a to s pomocí zřetelných obrazů jiných. Krom toho se mi některé detaily nákresů nezdají ve shodě se skutečností; jsou to hlavně ostře špičatý čípek (na př. obr. 4, 16, 32, 59 a j. další), příliš zaostřené konce předních řezáků (skoro na všech obrazech), nezvykle zvlněná linie měkkého patra (na př. obr. 12) a konečně velmi kolísající obrys zadní stěny hrdelní, jehož různé obměny u téže osoby nelze vždy vysvětlit jen tím, že — jak praví autoři — hlava pokusných osob nezaujímala vždy stejné postavení. Ale to vše jsou jen drobnosti, které mi vadí jakožto zkušenému odborníku, jež však celkový obraz hlásky neporušují.

S hlediska neodborníka, který se bude spisem zabývat (jsem přesvědčen, že po této knize se bude sahat velmi dlouho), provedl bych některé kresby jinak: zejména bych naznačil zřetelněji důležitou věc, totiž rozlišení tvrdého a měkkého patra, a to zakreslením paterní kosti v celé její podobě, vynechal bych dlouhé kořeny zubů, jež obraz zbytečně komplikují a jsou pro artikulaci zcela bez významu; rovněž bych vypustil dutinku Morgagniho, jejíž účast při tvoření hlasu je sporná, při tvoření hlásek pak se rovná nule; věnoval bych nakonec i větší pozornost bedlivému přezkoumání — na originálním rentgenogramu — oblasti velopharyngální, obrysům stěny hrdelní, čípku a měkkého patra. Reprodukčnímu oddělení tiskárny bych vytkl bezdůvodné zmenšení obr. 21 (ve srovnání s obr. 20, představujícím průřez hlavy téže osoby).

Na konec bych dodal, že reprodukcí originálních rentgenogramů mělo být připojeno více než jediná. Zvýšený náklad na tisk by byl vyvážen snadnější možností kontroly. Prof. Koneczna mi však sdělila, že to bylo z technických důvodů nemožné.

Dosavadní poznámky se týkaly obrazů samých. Přejděme nyní k úvahám fonetickým. Zde nejprve za veliký přínos této práce nutno uznat z obrazů zjevný polymorfismus realisace daného fonému, a to nejen u různých osob, nýbrž i v opětované výslovnosti téže osoby. Tak na př., jak prof. Koneczna sama upozorňuje, pokusná osoba I vykazuje jistou pohodlnost artikulace retní proti osobě II, u níž je činnost rtů vydatnější; osoba I vyvažuje tento svůj nedostatek zesíleným posunem jazyka (jde tu hlavně o samohlásky řady zadní, u nichž právě účast retního otvoru je při vytváření charakteristického ústního formantu velmi důležitá). Jak patrno, běží v tomto případě o zajímavý zjev, totiž o kompensaci artikulačních složek mluvního ústrojí.

Druhou ukázkou artikulačního polymorfismu je nestejná svalová činnost různých osob, pokud se týče patrohltanového závěru (vyřazení dutiny nosní z účasti při artikulaci samohlásek nenosových). Zde zdůrazňuji nápadný rozdíl mezi osobami I a II, z nichž druhá artikuluje často s velem nedovírajícím, a to vesměs při samohláskách *a, o, e,* nikdy však při *i, y, u*; příčinou tohoto zjevu je různý stupeň napětí měkkého patra

v souhlase s výškou jazyka v dutině ústní, jak jsem vysvětlil — s poukazem na obdobná zjištění známého staršího českého fysiologa J. N. Čermáka (*Über das Verhalten des weichen Gaumens beim Hervorbringen der reinen Vokale.* Sebrané spisy I, 1. 1857, str. 432-8) — již při popisu rentgenogramů českých, vydaných r. 1926. Do jaké míry taková citelnější nasálnost ovlivňuje výslovnost osoby II, autorka neudává, správně však upozorňuje na akustický rozdíl, plynoucí z artikulační nestejnosti obou zmíněných osob; u druhé z nich „rezonans nosowy dominuje... nad rezonansem ustnym“, kdežto u první je účast obou dutin celkem v rovnováze.

Rentgenogramy souhlásek prý nepřinášejí podle slov autorky samé nic příliš nového; zde prý valný díl práce vykonal Benni svými palatogramy. Této autorčině přílišné skromnosti musím odporovat. Palatogramy samy nabývají určité hodnoty a názornosti právě teprve ve spojení s rentgenogramy (dodal bych ještě: a s linguogramy, jež bohužel dosud pro polštinu chybějí, ačkoliv metoda sama je poměrně snadná). Uvedu tedy sám několik důležitějších zisků, plynoucích z otištěných rentgenogramů souhlásek. Jsou to:

1. názorný obraz rozdílu v postavení jazyka při souhláskách palatálních a palatalisovaných;

2. zachycení obou artikulačních fází při afrikátách;

3. instruktivní vyobrazení rozdílů mezi *ł* a *u̯*.

Autorka sama upozorňuje na tato fakta:

1. Při souhlásce *j* (čili jak ona píše *i̯*) jazyk se staví níže a méně dopředu nežli při *i*. — To je konstatování v daném případě správné a zjev sám pravděpodobný: polské *i* je totiž značně zavřené, citelně zavřenější nežli *i* české. Je však potřebí k tomu dodat, že různý stupeň nadzdvižení jazyka k patru není podstatnou příčinou rozdílu mezi *i* a *j* (*i̯*), jak by se mohlo podle autorčiny stylisace zdát; ta je v artikulačním úmyslu, jímž je vytvoření dutiny při *i* a vytvoření úžiny s třecím šumem při *j*. Nic nevadí, že bývá úžina při *j* dosti široká a tím třecí šum této souhlásky citelně oslaben.

2. Při vyšším postavení jazyka se dostavuje pevnější uzávěr nosní, zvětšení objemu dutiny hrdelní, nadzdvižení epiglottidy (hrtanového příklůpku), kosti jazyční a dutinek Morgagniho. — Velmi dobré upozornění. Sám bych však raději stylisoval onu větu tak, že posun jazyčné masy kupředu vzhůru přináší s sebou nutně nadnesení celého hrtanu, který je s jazykem vzadu pevně spojen, a nemluvil bych vůbec o jazyční kosti, tím méně o dutinách Morgagniho, jakožto o věcech pro popis hlásek zcela zbytečných.

3. Větší artikulační energie souhlásek neznělých (nehlasných) se projevuje nejen zesílením závěru při oklusivách nebo zmenšením úžiny při frikativách, nýbrž i pevnějším závěrem patrohltanovým (kromě nosních souhlásek ovšem) a větším nadnesením hrtanu. Dodal bych k tomu — což autorka jistě ví —, že se projevuje i v činnosti rtů, vzdálenosti čelistní, zkrátka ve všech artikulačních složkách.

4. Souhlásky *ś, ź, ć, ʒ́* nejsou, jak prý se často tvrdí, předojazyčné a přednější než *š, ž, č, ǯ*, nýbrž spíše středojazyčné, palatální. — S tímto popisem zcela souhlasím; ve svých přednáškách o polské fonetice jsem vždy zdůrazňoval, že souhlásky *ś, ź, ć* v dnešní své podobě mají blíže k českým *š, ž, č* (na rozdíl od ruských, které si uchovaly historickou i artikulační příbuznost se *s, z, c*), a vyvozoval jsem z toho dále, že Čech při praktickém nácviku palatálních polských sykavek a polosykavek má vycházet od svých *š, ž, č*, v čemž mu bude artikulační podporou i skutečnost, že tyto české souhlásky nejsou tak tvrdé (temné) jako polské a že se Polákům proto zdají mírně změkčenými. Na rozdíl od autorky bych však nepokládal artikulaci palatálních sykavek za kombinaci dvou artikulačních postavení, tím méně ji uváděl v souvislost s podobnou prý kombinací při samo-

hláskách předních „łączących w sobie dwie artykulacje: przednią i odpowiednią tylną" (str. 11 dole). Jednak je zásadní rozdíl mezi oběma skupinami, jak jsem jej přesně specifikoval ve svém a Sovákově spise *Hlas, řeč, sluch* (2. vyd. 1947, s. 134), jednak podstatou nejen předních samohlásek, nýbrž všech samohlásek vůbec je vznik dvou resonančních dutin, avšak jakožto důsledek pouze jediné artikulace (s. 110 téhož spisu, a hlavně s. 153—163 mé *Akustické podstaty samohlásek*, 1941).

5. Citelné stažení jazyka dozadu a nadzdvižení jeho zadního dílu k měkkému patru při *r* může prý být příčinou, proč při neuskutečnění kmitavých pohybů hrotu dojde tak snadno k vytvoření *r* velárního. — To je výklad zcela originální; můj rentgenografický obraz *r* vykazuje sice rovněž znaky zde uvedené, musím však doznat, že jsem jich nedovedl užít k této dosti pravděpodobné interpretaci.

Vedle uvedených přínosů posuzované práce musím však bohužel pronést i některé výtky:

a) Autorka neudala, zdali obrazy představují hlásky vyslovené isolovaně anebo v slovech. Pro jejich hodnocení a použití by bylo takové sdělení velmi užitečné, zejména pro nasalisované samohlásky, zvláště však pro souhlásky *ṭ, ḍ, ṇ*, jejichž artikulace není možná bez vyslovení následují postalveolární sykavky nebo afrikáty, tedy v slovech typu *trzeba, drzewo* a pod.; souhlásky *ṭ, ḍ, ṇ* nejsou přece v polštině fonémy, nýbrž jenom kombinatorní varianty (autorka dodatečně oznámila v dopise, že „były wymawiane w wyrazach *trzeba, drzewo, Andrzej*, ocywiście z przetrzymaniem tej pozycji — bez przejścia do następnej spółgłoski").

b) Autorka mluví o dvou resonančních dutinách *ústních*, což není správné. Ve svém písemném sdělení se dovolává jednak C. Stumpfa (*Die Sprachlaute*, 1926), jednak svého krajana Skorupky. Jenže Stumpf na místě citovaném Skorupkou, t. j. na str. 246—7 mluví pouze o dvou formantech pro samohlásky přední a jediném pro samohlásky zadní, neříká však výslovně, že zdrojem obou je dutina ústní. Ve skutečnosti je tomu tak, že každá samohláska má dva formanty, jeden vznikající v dutině ústní, druhý v dutině hrdelní (při samohláskách nosových přistupuje k těmto dvěma formantům přirozeně ještě třetí — nosní). Podrobnosti o tom v. v mé *Akustické podstatě samohlásek*.

c) Škoda, že ani pro jedinou osobu nebyly podány rentgenogramy všech hlásek; celkový obraz artikulace se tím stává neúplným. Podle autorčina písemného sdělení má prý pro osobu II všechny obrazy, jenže některé z nich pro jejich menší zřetelnost neotiskla.

d) S autorčinou klasifikací polských samohlásek nesouhlasím v tom, že by *y* bylo „postpalatalne" čili uprostřed dutiny ústní, tak jako *a*, které se rovněž označuje za „postpalatalne"; tento svůj omyl autorka v dopise uznala.

Podotýkám při této příležitosti, že je celkem zbytečné a čtenáře matoucí mluvit o pohybech jazyka v dutině hrdelní; mohlo by se totiž podle autorčiny stylisace zdát, jako by nejzadnější samohláskou bylo *o*; rozhodujícím jest jenom celkové postavení jazyční masy v dutině ústní.

Na konec několik drobných poznámek k některým jednotlivým obrazům:

a (obr. 8—12): Měkké patro tu jen v jediném případě tvoří úplný závěr se stěnou hrdelní: *a* II má dokonce dosti široký průchod (obr. 11); tím se potvrzuje známý fakt, konstatovaný už J. N. Čermákem (v. výše) a doložený mými rentgenogramy, že totiž velární závěr je při *a* nejslabší.

ę (22—25): Na všech obrazech vidíme nápadně silné přivření retního otvoru; není to snad až koncová fáze této nosovky?

u (26—29): Tyto obrazy jsou mi velmi vítány, neboť nanovo potvrzují správnost mé kresby českého *u* v *Artikulaci českých zvuků v rentgenových obrazech*. Zmiňuji se o tom proto, že prof. Šrámek pokládá (LF LXXIII, s. 239) můj obraz za „nemožný“; doslovně praví: „non est factum, sed artefactum“. Prý proto, že jsem na kopii originálního rentgenogramu „obrysy (totiž mluvidel) okreslil tužkou, fotografii(!) smyl a dostal ‚skizzu‘; tato skizza Hálova je skreslení samohlásky u“: Škoda, že Šrámek při té příležitosti nesdělil, jak se to má provádět jinak a že se o správnosti obkresu nepřesvědčil na připojené kopii originálního rentgenogramu (obr. č. 17). Ještě podivnější je však, když se domnívá, že lehký styk konce čípku s nadzdviženým jazykem uzavře vstup do dutiny ústní. Taková interpretace rentgenogramů je velmi mechanická a Šrámek učinil tuto nepromyšlenou výtku — podobně jako všechny ostatní — bez náležitého uvážení a zcela zbytečně. Podobný styk čípku s jazykem je vidět i na polských rentgenogramech (srv. na př. obr. 22 a 23 představující nosové *o* ve výslovnosti téže osoby) a mají jej na př. též Parmenter—Treviño ve studii *Vowel positions as shown by X-ray* (The Quarterly Journal of Speech, XVIII, 1932) i mnozí jiní.

u̡ (43—46): Podle nákresů řadí se zřejmě k samohláskám předním a není tedy „postpalatalne“, jak tvrdí autorka.

i (51—55): Překvapuje, že se hrot jazyka velmi často neopírá o dolní řezáky. Autorka v dopise sdělila, že prý „w polskim języku przy samogłosce *i* czubek języka najczęściej nie dotyka do dolnych siekaczy ani do dolnych dziąseł“. Jsem přesvědčen, že se mýlí.

p: Na obr. 61 je jazyk příliš smrštěn; je ten obraz spolehlivý?

ť, ď (79—82): Názorný doklad rozdílu mezi palatalisovanými *ť, ď* (v slovech cizích) a plně palatálním *ň* v slovech domácích (obr. 83).

Veláry (85—96): Zajímavé ukázky posunu velární artikulace před *e, i* a dále obrazy velárního *η, ή*.

Afrikáty (98—108): Zde jsou jasně patrny rozdíly mezi různými jejich skupinami a zejména — jak už bylo dříve připomenuto — zachyceny obě artikulační fáze; škoda, že význam četných obrysů jazyka nebyl zdůrazněn kresbou.

Labiodentály (109—112): Tu překvapuje retozubný závěr; čekali bychom spíše úzký průchod mezi dolním rtem a horními řezáky. Je kresba správně provedena?

Sykavky (113—128): Při *ś, ź* (121—128) je všude hrot jazyka nahoře, u alveol; to je velmi důležité zjištění, neboť podporuje mínění o nynější artikulační příbuznosti těchto souhlásek se souhláskami *š, ž* (v. výše).

Souhlásky *l-ové* (135—141) podávají názorně a zřetelně rozdíl mezi *ł, u̯, ľ* a *l*.

Tím končím své poznámky o recensovaném spise. Věnoval jsem mu hodně pozornosti, poněvadž si ji plně zaslouží; jde totiž o práci, která přes řadu některých nedostatků přináší mnoho velmi cenných, protože názorných poznatků pro každého, kdo se zabývá fonetikou polštiny. Škoda, že textová část knihy je tak skoupá na výklady, ačkoliv se jich tu nabízí — jak z několika mých náznaků patrno — spousta nepřeberná. Autorka však slíbila, že podá podrobný výklad o získaných poznatcích ve zvláštním spise (*Studium eksperymentalne artykulacji głosek polskich*). Doufáme, že se tohoto jejího spisu brzy dočkáme, a přejeme jí k práci mnoho zdaru.

Bohuslav Hála

Kovács Endre, **Magyar-cseh történelmi kapcsolatok** (Maďarsko-české historické styky). Budapest 1952. Vydal Historický ústav Maď. akademie věd. 374 str.

Maďarský slavista Endre Kovács publikoval již řadu statí o české historii a literatuře; jen z posledních let uvádíme jeho přehled o pojetí husitství v české historiografii (hist. časopis Századok, 1949), studii o vztahu Jana Nerudy k Petőfimu (lit. hist. časopis Irodalomtörténet, 1950) a zprávu o literatuře v dnešním Československu (lit. měsíčník Csillag, 1951).

Dílo o česko-maďarských historických stycích vyplňuje velkou mezeru. Dřívější maďarská historiografie byla silně nakažena šovinismem; maďarsko-slovanských styků si buďto vůbec nevšímala, anebo si jich všímala jen za tím účelem, aby mohla dokumentovat falešnou theorii o „kulturní převaze" Maďarů nad sousedními slovanskými národy. Nejnápadnější je tato snaha v historiografii horthyovského Maďarska, která — jak Kovács připomíná — sloužila přímo revisionistické politice maďarských vládnoucích tříd. Česko-maďarské styky byly buržoasní maďarskou historiografií obzvláště zanedbávány. Prvním cílem Kovácsovy knihy je odstranit tento nedostatek.

Přátelství mezi lidově demokratickým Československem a Maďarskem vyvolalo naléhavou potřebu hlubšího studia česko-maďarských historických styků. Je pochopitelné, že toto studium nesmí být jen mechanickým hromaděním faktů, musí se zaměřit především na takové pokrokové vztahy, které nás sbližují i v přítomnosti. Stává se i to, že pokrokové a přátelské vztahy byly v minulosti zamlčovány nebo falešně intepretovány; tu je úkolem marxistického historika, českého nebo maďarského, přehodnotit dřívější výsledky a očistit je od nánosu buržoasní historické vědy.

Úkol, který Endre Kovács vzal na sebe, je tedy veliký a odpovědný. Chtěl, jak sám píše, „usnadnit orientaci ve vzájemných historických vztazích obou národů, dát vědeckým pracovníkům podněty v souvislosti s jednotlivými problémy". Dílo tedy není výsledkem mnohaletého studia pramenů, nýbrž jakousi první pomocí; v tomto smyslu je nesporně cenným vodítkem a dobrým základem pro další rozšířené a prohloubené bádání v této oblasti.

Kovács nesleduje historii česko-maďarských vztahů až do našich dnů; o historii styků od první světové války připravuje totiž Historický ústav Maď. akademie věd zvláštní publikaci. Vzhledem k tomu, že Kovácsovo dílo je psáno pro maďarskou stranu, jsou v něm osvětlovány některé kapitoly české historie dosti podrobně. Zvláště si všímá také vztahů slovensko-maďarských všude tam, kde to bylo s hlediska problematiky česko-maďarských styků nezbytné. Slovensko-maďarským stykům však bude také věnována zvláštní publikace. V recensi se omezíme na nejdůležitější styky, které jsou významné s hlediska historického vývoje obou národů.

Kovács rozvrhl materiál do sedmi kapitol: *I. Počátky česko-maďarských styků* klade Kovács do posledního desetiletí IX. a na začátek X. století, kdy maďarské kmeny obsazují Karpatskou kotlinu a útočí na Velkomoravskou říši. Setkáním Maďarů se Slovany v Karpatské kotlině se dovršuje vývoj maďarského ethnika a maďarského jazyka. Odtud probírá autor především dynastické styky v době Arpádů a Přemyslovců; podrobněji se zmiňuje o úloze Sv. Vojtěcha a českých kněží při šíření křesťanství v Uhrách; tato úloha je velmi významná, dosud je však hypothesou tvrzení, že sám Vojtěch byl křtitelem a vychovatelem Sv. Štěpána. V dalším probírá autor historii válek mezi českými a maďarskými panovníky tohoto období a historii hospodářských styků až do XIV. století, kdy vzniká (r. 1335) první hospodářská smlouva česko-maďarská; proti rakouské konkurenci spojuje se Jan Lucemburský s uherským králem Karlem Robertem z Anjou. Kromě dynastických styků existovaly ovšem také

živé styky mezi obyvatelstvem obou zemí; v prvních staletích uherského státu přichází do Uher hodně českých osídlenců, z nichž vzešel nejeden známý šlechtický rod uherský. Památku českého osídlení zachovávají jména maďarských obcí jako *Csehi, Csehipuszta, Egercsehi* a j. Prolínání obyvatelstva bylo ovšem oboustranné, jak opět dokazují názvy moravských obcí: *Uhřičice, Uherce, Uhřinov* atd. V době živých styků za vlády Anjouovců v Uhrách a Lucemburků v Čechách se zaznamenávají i styky kulturní, jejichž skvělým monumentem je dílo maďarských sochařů Györgye a Mártona Kolozsváriho: Sv. Jiří na Hradě pražském. Ve XIV. století můžeme mluvit již o intensivních stycích česko-maďarských.

II. Kapitola o *husitství* zahrnuje období od husitských bouří do úmluvy krále Matyáše Korvína s Janem Jiskrou z Brandýsa. Husitství mělo velký ohlas mezi obyvatelstvem Uher; fakta, o nichž Kovács referuje, většinou nejsou nová, ale v tomto uspořádání mnohem více než kdykoliv dosud, vyniká význam vzájemných česko-maďarských styků v tomto důležitém dějinném období. Předpokladem toho, aby se husitství jako společenské hnutí i ideologie vznítilo v Uhrách, byla především podobnost společenského vývoje v obou zemích, třebaže Kovács velmi správně zdůrazňuje i specifické odchylky: pokročilejší diferenciaci městského obyvatelstva a následkem toho větší význam městské chudiny v sociální radikalisaci hnutí v Čechách, dále větší sevřenost vládnoucích tříd v Uhrách, což Kovács vysvětluje tím, že v Čechách byl odpor proti bohatému kleru tak silný, že i mnozí členové šlechty se octli v táboře „proticírkevní třídní koalice“, t. j. na straně husitů. Účast šlechty v uherském husitském hnutí byla velmi slabá, vždy kolísavá a kompromisní, vcelku bezvýznamná; masovou základnou maďarského husitství bylo téměř výlučně poddanstvo. (Ke specifičnosti společenské situace v Čechách přispělo zajisté i národnostní složení obyvatelstva, problém německo-český, který byl v buržoasní historiografii přeceňován, ale zasluhuje snad více pozornosti, než je tomu u Kovácse). Mutatis mutandis byly však protifeudální tendence v obou zemích stejně silné, situace poddanstva stejně zoufalá, rozpínavost světské moci církve stejně veliká, a proto sémě husitství padalo u maďarského obyvatelstva na neobyčejně plodnou půdu.

Zprostředkovateli česko-maďarských styků tohoto období byli studenti z Uher, kteří studovali v rozhodujících letech Husova vystoupení a husitských bouří na Karlově universitě: Maďaři i Slováci. Otázku, jaký byl číselný poměr maďarských a slovenských studentů v Praze, považuje Kovács právem za podružnou, nejen proto, že *všichni* studenti z Uher patřili na universitě *k národu českému,* nýbrž i proto, že po návratu do Uher obohacovali svými pražskými poznatky stejnou měrou maďarský i slovenský lid. Kovács uvádí řadu jmen z universitních matrik, bohužel neúplných; někdy je maďarský původ posluchače zjištěn nepochybně, jindy jen dohadem. I z jiných pramenů víme ovšem o tom, že maďarští studenti se stávali v Praze stoupenci Husova učení; z nejvýznamnějších je Balázs (Blasius) z jihouherských Kamenic, o němž maďarský kronikář píše, že „odjel do Čech, do velkého města husitů, Prahy, tam nassál humanistické vědění a notně se nakazil ďábelskou zlobou husitského kacířství“. Velký význam těchto styků uznávala, ač nerada, i dřívější katolická historiografie maďarská, sám autor základní monografie o této otázce, Tóth-Szabó Pál, který připouští, že „maďarští studenti se zúčastnili veřejných diskusí, sami takové diskuse pořádali, kázali v kostelech, rozšiřovali Husovo učení slovem i písmem v Praze i mimo Prahu“. V r. 1420 žádali husité Zikmunda o veřejnou audienci, na níž by dokazovali pravdivost a spravedlivost pražských artikulů ve čtyřech jazycích, m. j. také maďarsky, což se mohlo stát jen přičiněním maďarských husitů. Zikmund ovšem této žádosti nevyhověl.

Setba husitsví začala v uherské zemi brzo klíčit; Kovács ukazuje, že již při prvních útocích husitů na Slovensko byli čeští bojovníci vítáni poddaným lidem, který se často i přidával k vojsku sirotků. Husitské vlivy sílí zejména po Lipanech, kdy jsou husité již stálými hosty na Slovensku. Rozkvět maďarského husitství připadá právě na druhou polovinu třicátých let; tehdy papež posílá proti maďarským husitům, „horším než čeští kacíři", svého osvědčeného inkvisitora, františkána Jakuba z Marchie; these, které čteme v hlášení inkvisitora, dokazují nad slunce jasněji ideovou totožnost maďarského husitství s *radikálními* směry husitství českého. Je velmi důležité — a zčásti ovšem vyplývá ze struktury uherské společnosti — že maďarské husitství se přiklání k táborské myšlence a jako takové se projevuje i ve velkém povstání sedmihradského poddanstva r. 1438. Maďarská kultura vděčí husitství za mnoho; také první maďarský překlad bible je dílem maďarských husitů, je právem nazýván *maďarskou husitskou biblí.* Kovács se zmiňuje o dalším osudu jednoho z překladatelů, husitského kněze Valentina, který hlásal husitské učení v Turecku a byl proto na příkaz sultána umučen. Turci byli zpravidla lhostejní k náboženským rozkolům v lůně katolické církve a kacířství spíš podporovali; skutečnost, že tentokrát tak ostře zasáhli, svědčí o sociálně radikálním charakteru maďarského husitství. (Dřívější maďarská buržoasní věda někdy popírala husitský původ zmíněného překladu bible; její argumenty byly však uměle konstruované a již sama skutečnost, že v textu této bible — neúplné — se aplikuje Husova reforma českého pravopisu na maďarštinu, je výmluvným důkazem ve prospěch husitského původu překladu. O tom podrobněji v nové publikaci: Kniezsa István, Dějiny našeho pravopisu do doby knihtisku, Budapest 1952, str. 146 a n.).

Podrobně se pak zabývá autor taženími husitů do Uher, později Jiskrovým panstvím na Slovensku; ukazuje kulturní účinky dlouhotrvajícího styku, z nichž nejdůležitější je rozšíření češtiny na Slovensku do té míry, že i maďarští feudálové si často dopisovali česky. Husitská tradice na Slovensku plynule přechází do českobratrské, zejména poté, když se Matyáš Korvín zmocňuje Moravy.

III. *Společné boje proti německé a turecké expansi.* V této kapitole pojednává autor 1. o českých žoldnéřích ve vojsku Jana Hunyadyho a krále Matyáše, 2. o vztahu krále Matyáše k Čechám, 3. o maďarsko-české družbě proti Turkům v XVI. století. První a třetí bod uvádí materiál o účasti českých vojáků na obraně Uher proti Turkům. Podstatné zde je, že v této bojové družbě žijí dále tradice husitského vojenství; husitské zbraně a husitské metody válčení měly významnou roli v bojích největšího vojevůdce maďarských dějin, Jana Hunyadyho. Tato skutečnost dokresluje profil velkého vojevůdce, o kterém je známo, že se nebál opřít o lidové vrstvy a byl takřka symbolem družby Maďarů, Rumunů a Slovanů proti společnému nepříteli. Později, v době Matyáše, přešlo celé vojsko Jana Jiskry do královых služeb a stalo se jádrem obávané „černé armády". Jeden z kapitánů této žoldnéřské armády, František Hág, padl při obležení pevnosti Šabac a soudobá píseň o této události vyzdvihuje hrdinství Čechů, bojujících po boku Maďarů proti Turkům. Česká vojska krvácela spolu s Maďary také v katastrofální bitvě u Moháče r. 1526, po níž se Habsburkové zmocnili na bezmála 400 let české i uherské koruny. Po této době se stává pravidlem, že české země přispívají na obranu Uher proti Turkům peněžitou kontribucí a někdy také vojskem.

Velmi zajímavým a diskutovaným problémem je spor krále Matyáše Korvína s Jiřím z Poděbrad. Maďarská historiografie zde musí podrobit důkladné revisi feudálně buržoasní stanovisko, které schvalovalo Matyášovo počínání a odvolávalo se na jeho koncepci, posílit uherský stát výboji na západ, aby pak snadněji čelil tureckému

náporu. Naproti tomu Kovács správně ukazuje, že k útoku na Čechy nepřiměla Matyáše nějaká velkolepá koncepce, nýbrž touha vytěžit co nejvíce z příznivé pro něho zahraniční konstelace. Je zcela na místě Kovácsovo zjištění, že Matyášova válka proti Čechám „byla přece jen dobyvačnou válkou, která ve značné míře překážela konsolidaci sousední země a pomáhala Habsburkům... Válkou proti Čechám se Matyáš zpronevěřil tradiční maďarské zahraniční politice, která spatřovala hlavního nepřítele v Turcích a proti ním soustřeďovala všechny síly země“. (Škoda, že Kovácsův výklad není zde dosti resolutní; snad by nebylo na škodu ukázat na tomto místě, jak pokrokoví současníci odsuzovali Matyášovu politiku proti Čechám a jak později i takový obdivovatel vskutku skvělé Matyášovy osobnosti, jako Mikuláš Zrinský mladší, zatracoval v této otázce Matyášovo počínání.)

IV. *Styky v období reformace.* Na začátku této kapitoly předkládá Kovács materiál o působení Čechů při šíření protestantismu na Slovensku; jde ovšem především o *lutherský* směr reformace, který spojoval Čechy i Slováky dlouho i poutem jazykovým. Je známa důležitost těchto styků ve vztahu česko-slovenském; Kovács však ukazuje již v XVI. století styky také mezi maďarským *kalvínstvím* a *Jednotou*, jež stála mezi lutherstvím a kalvínstvím, často však blíže ke kalvínství než k lutherství. Ve druhé polovině 16. století nabývá opět důležitosti s maďarského hlediska pražská universita, jíž opět vyhledávají s oblibou studenti z Uher, Maďaři i Slováci. Výměna protestantských kněží mezi oběma zeměmi je běžným zjevem. V XVII. století v období zesílené protireformace, zejména po Bílé hoře, utužují se styky mezi českými a maďarskými protestanty. Do Uher (také ovšem zejména na Slovensko) přichází kromě kněží také mnoho českých měšťanů, zpravidla dobrých řemeslníků, kteří přispívají k hospodářské síle země.

V podkapitole o společných bojích proti rakouské kolonisaci probírá autor zejména historii *konfederací* maďarských, českých, moravských a rakouských stavů; tento druh spojenectví se vyskytuje po prvé v době povstání Štěpána Bocskaye a pak, úspěšněji, v roce 1608, kdy protestantští stavové českých zemí i Uher podporovali svorně Matyáše v jeho konfliktu s Rudolfem II. Nejtěsnější je tato spolupráce v době českého povstání, kdy spojencem Zimního krále a českých stavů jsou maďarští stavové a sedmihradský kníže Gabriel Bethlen. Bethlen přispěchal na pomoc českému povstání již v srpnu 1619, obsadil celé Slovensko a přešel se svými vojsky na moravské a rakouské území; v listopadu 1619 svolal sněm uherských stavů do Bratislavy a na tomto sněmu byla opět uzavřena konfederace mezi uherskými, českými a rakouskými stavy. V Čechách byla konfederace proti Habsburkům uvítána s velikým nadšením, v Praze a ve Slezsku vyhlášena i s kazatelen, vyzvánělo se na Tedeum. Spojenectví s uherskými stavy a se sedmihradským knížetem nemohlo zachránit české povstání. Bethlen sice dosáhl skvělých vojenských úspěchů, ale české stavovské vojsko nemohlo účinně odporovat císařským a utrpělo osudnou porážku na Bílé hoře, kde spolu s ní bojoval i předvoj maďarských pomocných sborů. Hlavní pomocné síly byly na cestě, v době bitvy však teprve u Kolína. Bethlen válčil pak déle než rok s Habsburky, a i když r. 1622 uzavřel s nimi v Mikulově příměří, nezapřel své české spojence: u něho nalezli útočiště vynikající vůdcové povstání, Jindřich Matěj Thurn, Jan Jiří markrabě Krnovský a jiní. (Také spojenectví Bethlena s českým povstáním je jednou z těch kapitol česko-maďarských styků, které bude nutno blíže osvětlit. V minulosti se snažila buržoasní historiografie obou stran podceňovat význam spojenců; v české historiografii se na př. mluvilo o Bethlenovi jako o člověku „vrtkavého“ charakteru, nespolehlivém dobrodruhovi; naproti tomu maďarská historiografie ráda poukazovala na to, že české stavovské povstání, téměř od první chvíle desorganisované a opuštěné, nemohlo být sedmihradskému knížeti rovno-

cenným partnerem. Skutečnost je ta, že Bethlen byl suverénním panovníkem, jenž dělal svou evropskou politiku v zájmu sedmihradského státu, a jeho spojencem byl spíš Fridrich Falcký než čeští stavové; Bethlen se snažil v Sedmihradsku o centralisaci státní moci a likvidaci politických práv šlechty; jeho spojenectví se stavovskou šlechtou, ať už maďarskou nebo českou, mohlo být jen příležitostné. Pokrokovou je tato tradice především proto, že ukazuje podobnost osudů obou národů v okruhu habsburského mocnářství.)

V dějinách česko-maďarských historických styků je jednou z nejvýznamnějších episod pobyt Jana Amose Komenského v Sedmihradsku. Komenského styk s maďarskou kulturou se ovšem neomezuje na léta 1650—1654, kdy prodléval v Blatném Potoce; jeho jméno bylo již mnohem dříve známo na sedmihradském knížecím dvoře a na učení gyulafehérvárském (Alba Julia), kde působili jeho kolegové profesoři Alsteda Piscator; již r. 1633 se stala dvě jeho díla, jmenovitě slavné Ianua a Physica, v Sedmihradsku školními učebnicemi a učila se z nich i sedmihradská knížata. Komenský měl ve čtyřicátých letech maďarské žáky, kteří šířili jeho popularitu v Sedmihradsku; již v r. 1643, za života knížete Jiřího I. Rákócziho, obdržel Komenský první pozvání do Sedmihradska. Druhé pozvání mu posílá již vdova po knížeti, Zsuzsanna Lórántffy; v krásném dopise formuluje, jaké úkoly čekají Komenského v Blatném Potoce: „. . . ježto víme, že ty v pokročilém věku věnuješ své stáří veřejnému blahu, nepovoláme tě k obtížným pracím v zaprášené škole, ale přejeme si, aby naši učenci . . . rektoři a učitelé pod tvým vedením čím dále v žádoucí reformě pokročili.“ Kněžna slibuje samozřejmě také důstojné hmotné zabezpečení, právo kdykoliv odejíti a vyhovuje i tomu přání Komenského, aby v potocké škole dostalo několik moravských studentů bezplatné zaopatření. Rozhodujícím motivem pro přijetí pozvání (r. 1650, tedy již po westfálském míru!) byla naděje, že mocná sedmihradská knížata budou s to zlomit habsburskou moc a umožnit českým exulantům návrat do vlasti. Nebyla to ovšem jen chladná a střízlivá strategická úvaha, jak dokazuje citát z Komenského, uvedený Kovácsem: „. . . vydal jsem se na cestu se souhlasem, pověřením, ba povzbuzením svých přívrženců, neboť když tolik mých vyhnaných moravských krajanů žije ve městech jasného knížete pod jeho blahovolnou ochranou, zdálo se mi nevhodné, abychom nedali najevo svou vděčnost, naskytne-li se taková příležitost.“ Komenského pobyt v Uhrách byl velmi plodný, napsal zde několik velmi významných děl, mimo jiné *Orbis pictus*; jeho kritika feudální sedmihradské společnosti, již vyslovil zejména v projevu *Gentis Felicitas*, hluboce zapůsobila na současné i pozdější Maďary. Je to kritika s posice nastupujícího měšťanského světového názoru, kritika laskavá a chápavá, dojemným způsobem ohleduplná k maďarské národní citlivosti, ale přitom přísná a spravedlivá: odhaluje feudální zaostalost, irracionalitu hospodaření, kulturní temnotu. Komenského myšlenky padaly na plodnou půdu u jedné z největších postav maďarské pedagogie, současníka Komenského, Jánose Apáca Csereho. Nověji se hledají ohlasy názorů Komenského také u velkého spisovatele a politika, Mikuláše Zrinského ml. (Maďarská pokroková kultura pěstovala vždy s láskou a vděčností odkaz Komenského. V nedávno vyšlé bibliografii maďarské literatury o Komenském podařilo se autorovi bibliografie, J. Bakosovi, sestavit neméně než 901 titulů; díla Komenského byla vydávána latinsky i v maďarských překladech, památka Komenského žije v maďarské krásné literatuře a v poesii v řadě ód; je znám také obdiv největšího maďarského básníka XX. století, Endre Adyho, ke Komenskému.)

V. *Styky v období národního probuzení a buržoasní revoluce.* První část této kapitoly je věnována obrozenským stykům, otázce, v níž největší část práce máme ještě před sebou. V období předobrozenském, jak ukazuje Kovács, mají ještě pořád veliký význam vzájemné styky českých a maďarských protestantů; markantními představiteli těchto

styků jsou lidé jako Valesius, český protestant, který studoval na kalvínském učení v Debrecíně, sám vychoval řadu protestantských kněží, kteří se pak po vydání tolerančního patentu Josefa II. vracejí do Čech, aby oživili zeslabenou víru protestantskou. V této době přispěchali českým protestantům na pomoc také maďarští kněží, kteří se usídlili v Čechách: v Lysé József Szalay, v Horatovicích Péter Molnár, v Libiši na Mělnicku János Végh, jehož Václav M. Kramerius dokonale naučil češtině a jenž se dokonce stal českým církevním autorem.

Styky rázu náboženského odtud postupně ztrácejí na významu; zato jsou stále častější vzájemné styky učenců, spisovatelů. Nejdůležitějším poučením, které si z této kapitoly odneseme, je to, že v období národního probuzení a obrození vzájemné styky pokrokových představitelů obou národů *se množí a sílí* a teprve ve čtyřicátých letech, těsně před revolucí, je vztah obou národů zkalen projevy buržoasního šovinismu. Národní probuzení Čechů i Maďarů začíná ve sféře jazykové. Filologické zájmy spojují maďarské i české učence tohoto období; zvláště vyzdvihuje Kovács styky Dobrovského s maďarskou vědou a připomíná, že Dobrovský se zabýval vedle slavistiky také maďarským jazykem a maďarskou historií a dopisoval si s maďarskými učenci. Po návratu ze své severské studijní cesty Dobrovský referoval slovenskému učenci Ribayovi a poukázal na potřebu styků mezi maďarskými a finskými filology. Na Dobrovského výzvu, která byla otištěna ve vídeňském maďarském časopise, reagoval Ferenc Verseghy, pokrokový spisovatel a účastník maďarského jakobínského spiknutí; Verseghy navázal okamžitě styky s finským profesorem Porthanem. Tak se zasloužil Dobrovský o ugrofinskou linguistiku. Styky Palackého, Šafaříka a Kollára s maďarskou kulturní sférou jsou dostatečně známy; jim také věnuje Kovács v této kapitole hodně pozornosti.

V obrozenském období byl hospodářský a kulturní vývoj sledován oboustranně s velikými sympatiemi; slavný maďarský literární historik Ferenc Toldy navštívil r. 1830 pražské Národní museum a napsal o tom článek s titulem *Staročeská literatura*, kde se vyslovuje s velikým uznáním o kulturních pokladech českého národa a zejména o *Rukopisech*, o jejichž pravosti ovšem Toldy nemohl pochybovat; navrhuje, aby aspoň výňatky z nich byly přeloženy do maďarštiny. České úspěchy jsou pravidelně kladeny maďarské společnosti za vzor; sám velký buditel, hrabě István Széchényi, se zmiňuje po své pražské cestě s nadšením o rychlém rozvoji Čech: „Böhmen sich verändert und zum grössten Vortheil verändert gefunden. Allenthalben finde ich Vorwärtsschreiten, nur Hungarn rührt sich nicht von Fleck“ (cituje Kovács z deníku Széchenyiho). V lecčem jsou ovšem zas Uhry dále a pak se na ně odvolávají pro změnu na české straně. Časopisy *Květy* a *Česká včela* pravidelně přinášejí zprávy o kulturním rozvoji Maďarů, nejednou s připomínkou, aby to bylo pro Čechy povzbudivým příkladem. Na maďarský příklad se odvolává r. 1845 také Karel Havlíček Borovský (v dopise V. Weidenhofferovi), když píše, že od Maďarů se lze naučit, jak milovat svůj jazyk a svou vlast a jak ubránit její práva.

První disharmonie v těchto vztazích se projevují tehdy, když se slovenský národ začíná intensivněji domáhat svých práv v rámci Uher; na základě slovanské vzájemnosti a tradičních styků česko-slovenských vzniká spojenectví mezi Čechy a Slováky proti maďarským feudálům, kteří se sice domáhali svých práv proti Vídni, ale nedůtklivě odmítali oprávněné požadavky Slováků. Tento odpor proti maďarským feudálům byl bohužel často příliš zevšeobecňován a poškozoval mezinárodní postavení maďarského lidu. Je ovšem naprosto správné a spravedlivé, že Kovács zde vyzdvihuje především chyby na maďarské straně; ukazuje, že i skvělá osobnost Kossuthova byla často kritisována s české strany pro nedůslednost politiky v otázce národnostní. Dříve, než vznikne národní

stát český a maďarský, octne se tak české stanovisko v rozporu s maďarským; v rozhodujícím roce 1848, když Slováci, podvedeni Vídní, se postavili proti maďarské revoluci, jsou vinikající představitelé českého národa, Palacký i Havlíček, na jejich straně. (Cenným doplňkem této otázky jsou stati Józsefa Révaie o maďarské revoluci r. 1848 až 1849, vydané také v českém překladu v sborníku *Uměli jsme žít pro svobodu*, 1952. Révai zde přesvědčivě ukazuje, že maďarsko-slovenský — a tím ovšem také maďarsko-český — spor r. 1848 byl tragickým nedorozuměním. Velikou vinu na tomto nedorozumění má šlechtické vedení maďarské revoluce, velmi úzkoprsé v otázkách národnostních; ale Révai zdůrazňuje i to, že maďarská revoluce byla věcí naprosto spravedlivou, podle Marxova hodnocení významnou s hlediska evropského pokroku; odpor proti ní byl pochybeným krokem a hnal vodu na mlýn reakci.) Kovács probírá pak dosti podrobně události revolučního roku, zmiňuje se o vykázání maďarských delegátů ze Slovanského sjezdu v Praze, které J. V. Frič tolik odsuzoval, analysuje vývoj Fričových názorů na maďarskou otázku a zdůrazňuje, že tento mladý radikální demokrat první z Čechů dokázal dát své sympatie maďarskému revolučnímu hnutí a hledat formy spolupráce. Začátkem roku 1849 však nastává celkový obrat v nazírání Čechů na události v Maďarsku; v březnu 1849 byl v pražském Platýzu manifestačně spálen obraz charvatského bána Jelačiće, který se demaskoval jako žoldák Vídně a 11. března provolávali čeští studenti před Prašnou bránou slávu Kossuthovi. Český lid prohlédl a pochopil, že má společné zájmy s maďarským národem, bojujícím proti rakouskému despotismu; Štúr, který byl ještě v zajetí austroslavické koncepce, si trpce proto Fričovi stěžoval. (Věc maďarské revoluce se stávala mezi českým lidem čím dál populárnější, pokud však jde o Havlíčka, zde je Kovács na omylu: z některých formulací Národních novin totiž Kovács vyvozuje, že v tuto dobu již i Havlíček „vyvodil trpké důsledky svých politických omylů“, ve skutečnosti však zůstalo Havlíčkovo stanovisko ke Kossuthovi a maďarské revoluci i nadále nedůvěřivé.)

VI. *Styky v období habsburského absolutismu.* Krásnou kapitolou pokrokových česko-maďarských styků jsou přátelství mezi Čechy a Maďary, uzavíraná v kasematech rakouských vězení, v Olomouci, Josefově, Mukačevě, Komárně a jinde. Z pamětí Józsefa Barsiho, politického vězně v Olomouci se dovídáme, že mezi jeho spoluvězni byli i Karel Sladkovský a Karel Sabina; s největší láskou však mluví Barsi o jistém Karlu Tučkovi, s nímž jej sblížil obdiv mladého Čecha k Petőfimu; kvůli Petőfimu se rozhodl Tuček, že se naučí maďarsky a Barsi se stal ve vězení jeho učitelem. Také J. V. Frič získal mnoho maďarských přátel, když byl vězněn v Komárně. Frič se pak stýkal v emigraci i s Kossuthem; v období habsburského absolutismu se projevují na české i maďarské straně snahy o sblížení. Dokladem toho je Fričův spis *Buď jasno mezi námi*, přátelské gesto českého revolucionáře vůči Maďarům. (Po revoluci zrevidoval i Kossuth svůj dřívější postoj v otázce národnostní a jeho plán „Dunajské federace“, jejž vypracoval v emigraci, zdůrazňuje potřebu bratrského svazku Maďarů s okolními slovanskými národy; Kossuth dochází k přesvědčení, že svoboda Slovanů a svoboda maďarského národa jsou si navzájem předpoklady. O tom také podrobně v zmíněných statích Józsefa Révaie.)

Zvláště podrobně se pak zabývá Kovács v této kapitole kulturními styky česko-maďarskými mezi lety 1849—1867. Na prvním místě se zmiňuje o Mansuetu Riedlovi, maďarském vědci, který byl nadšeným průkopníkem česko-maďarského přátelství v létech 1854—1860 v Praze. Riedl „neměl v sobě povýšenost a aversi vládnoucích tříd proti jinojazyčným národům... neměl strach z projevů slovanské vzájemnosti, začal studovat českou vědu a beletrii, četl denní tisk a časopisy se zvláštním zřetelem k problémům, které se týkaly maďarství“ — píše o něm Andor Sas (cit. Kovács). Riedl působil na

maďarské katedře pražské university a získal si velké zásluhy na poli literárního zprostředkování; z jeho kruhů vychází řada překladů maďarských básní do češtiny, byl pravděpodobně v osobním styku i s Nerudou a není vyloučeno, že také přispěl k velkému zájmu českého básníka o Petőfiho. Riedl se ovšem neomezil na popularisaci maďarské literatury v Praze, snažil se přiblížit i českou kulturu Maďarům; dokladem toho je jeho překlad *Královédvorského rukopisu* do maďarštiny.

Z literárních styků se Kovács zabývá zvláště podrobně dvěma: vztahem Nerudy k Petőfimu a Boženy Němcové k Uhrám. Vztah Nerudy k Petőfimu byl již dostatečně osvětlen; v české literatuře o Petőfim věnoval této otázce pozornost zejména Pavel Bujnák, nověji m. j. prof. Julius Dolanský (v publikaci *Alexander Petőfi*, 1949). Je známo, že Petőfi byl nejoblíbenějším básníkem Nerudovým, a je velmi záslužné a správné, že Kovács poukazuje na společenské pozadí tohoto duchovního setkání. Nerudův obdiv patřil nejen Petőfimu, nýbrž i slavné maďarské revoluci z r. 1848; v šedesátých letech století si pokrokoví Čechové uvědomují, co bylo r. 1848 zmařeno, je zde nové oživení politického ruchu a snaha o nápravu; Petőfiho literární a politický boj se stává v českém životě tohoto období aktuální. Tuto analogičnost historické situace podtrhuje i jistá podobnost sociálních podmínek obou velkých básníků a snad i některé podobné rysy jejich povahy. Krásným monumentem Nerudova vztahu k maďarské revoluci je Nerudova báseň *Honvéd*, jíž otiskl J. V. Frič ve svém ženevském časopise *Čech*. Nerudova báseň o hrdinném bojovníkovi maďarské revoluce je ostrou kritikou kompromisnictví v českém politickém životě. Tím to však nekončí: slova refrénu Nerudovy básně („My neumíme ještě umírat“) se stanou heslem bulharských vlastenců v jejich boji, r. 1882 je přeložena Nerudova báseň do bulharštiny a slavná slova se stanou r. 1899 mottem letáku T. Načova proti caru Ferdinandovi Koburskému. Jan Neruda navštívil pak Uhry r. 1869, tedy po vyrovnání rakousko-maďarském, kdy spor mezi českou buržoasií a maďarskými vládnoucími třídami byl značně vyhrocen; i zde však Kovács zdůrazňuje, jak Neruda dovedl odlišit maďarský lid od vládnoucích vrstev a podle toho rozdílel svou kritiku i sympatie. Totéž platí o vztahu Boženy Němcové k Uhrám; Němcová popisuje život uherského města Balažských Ďarmot v podobném duchu, jako kdysi Komenský Sedmihradsko: vidí zaostalost venkovského městečka a vyslovuje kritiku, která je tvrdým rozsudkem pro vládnoucí řád, ale ani v nejmenším se netýká prostého pracujícího lidu.

V závěru kapitoly probírá stručně Kovács vztah Jakuba Arbesa k maďarství, zejména jeho sympatie k veliké selské válce Dózsově a k Lajosi Kossuthovi.

VII. *Styky Čechů a Maďarů v rakousko-uherské monarchii.* V první části této kapitoly se zabývá Kovács vnitropolitickou situací v habsburském mocnářství v šedesátých létech XIX. století. Hořejší vrstvy obou národů, českého i maďarského, octnou se zde v příkrém sporu; české stanovisko federalistické a maďarské stanovisko dualistické jsou neslučitelné; Maďaři se octnou v rozporu nejen s uherskými Slovany, nýbrž se všemi slovanskými národy habsburské říše. Zde pak Kovács koriguje velmi rázně stanovisko dřívější maďarské historiografie. Maďarská marxistická historiografie již konstatovala osudné následky rakousko-maďarského dualismu, pokud jde o sociální vývoj v Uhrách a o životní podmínky maďarského lidu; Kovács pak poukazuje zejména na to, jak maďarská politika, řízená hrabětem Andrássym, mařila cílevědomě české státoprávní snahy. Následek této politiky spatřuje Kovács také v pozdější rusofilské orientaci české buržoasie, což na maďarské straně vyvolávalo obvyklý poplach a obavy z panslavismu. Nutno zvlášť vyzdvihnout, že Kossuth, žijící v emigraci, se postavil upřímně a jednoznačně na obranu českých požadavků: „Slyšel jsem povídat, že české hnutí je hnutím

panslavistickým, a proto že je musíme potlačit — píše Kossuth r. 1869. — Já s tím nesouhlasím. Čechy chtějí být národem, nikoliv pouhým přívěskem malého Rakouska, nikoliv předlitavskou provincií. A český národ, který už za svobodu trpěl tolik, jako žádný jiný národ, český národ, který byl prvním bojovníkem svobody svědomí v Evropě — tento český národ má skutečně právo býti národem a spravovat si své věci samostatně — a toto jeho právo není ani o vlásek menší než totéž právo maďarského národa . . .“ Kovács připomíná, že česká veřejnost se v době dualismu zajímala o Kossutha; dokladem jsou stati J. A r b e s a a Adolfa S r b a v Osvětě (r. 1884 a r. 1893). (Kossuth předvídal velmi jasně, do jaké katastrofy se řítí zahraniční politika habsburského mocnářství, budovaná na vratkých základech dualismu: „Nedopusťte, aby se Maďarsko stalo tou hranicí, na níž neúprosná logika historie spálí rakouského orla!“)

Druhý bod této kapitoly je věnován maďarskému a českému dělnickému hnutí; chvályhodná je snaha autorova postavit proti sporům vládnoucích tříd v době dualismu obrazy dělnické solidarity; je velká škoda, nikoliv ovšem vinou autorovou, že tato část knihy dopadla neúměrně stručně; omezuje se spíš na srovnávání vývoje dělnického hnutí u obou národů, o skutečných vzájemných stycích nám poví autor velmi málo. K takovým stykům — arci nepřímým — patří pomoc českých dělníků při založení prvního slovenského socialistického časopisu, Nové doby v Budapešti r. 1897. V Budapešti pracovalo mnoho českých dělníků, byli zpravidla uvědomělými Čechy a zároveň prodchnuti myšlenkou proletářského internacionalismu.

V závěru knihy věnuje pak autor několik stránek období před první světovou válkou. Ukazuje, jak násilná maďarisační politika maďarských vlád prohlubovala propast mezi slovenským (a tím i českým) a maďarským národem, jak z viny vládnoucích tříd vzniká umělá přehrada mezi českým a maďarským lidem — přehrada, která nás oddělovala do nejnovější doby a mohla být odstraněna jen vítězstvím lidové demokracie v obou zemích, kdy budování socialismu vytvořilo mezi českým a maďarským národem pouto zájmové shody, upřímného bratrství.

Máme-li posoudit Kovácsovu knihu, je třeba mít na zřeteli velikost úkolu, který si vytyčil. Taková studie, má-li být opravdu vyčerpávající, může být jen dílem celého kolektivu. Přitom Kovácsova iniciativa byla nejen odvážná, nýbrž i oprávněná; mezerovitost dosavadních výzkumů na tomto poli plně zdůvodňuje vydání díla povšechnějšího, jen nutno mít na zřeteli, že takové dílo je výchozím bodem a nikoliv shrnutím vědeckého úsilí. Všechny chyby, jež lze této knize vytknout, si autor sám uvědomil a v předmluvě vysvětlil. Z povahy díla vyplývá jistá nahodilost v proporcích; jednotlivé problémy jsou projednávány nikoliv v tom rozsahu, který jim podle významu přísluší, nýbrž podle bohatství materiálu, který byl k disposici; tím je celkový pohled na česko-maďarské styky poněkud skreslen. I když však autor nepřidal mnoho k materiálu, opírá se o solidní znalost výsledků maďarské i české, starší i novější vědy. Uvádíme zde zdaleka ne úplný výčet českých autorů, na které se Kovács odvolává: Bidlo, Flajšhans, Fučík, Goll, Holinka, Hromádka, Hrubý, Chaloupecký, Klíma, Kreibich, Krofta, Macůrek, Mukařovský, Nejedlý, Novotný, Pražák, Říha, Tadra, Tobolka, Urbánek, Vojtíšek a mnoho dalších. Kovácsova kniha je plodem velkého úsilí a užitečným přínosem. Jak autor sám prohlašuje, nečiní si v žádném směru nárok na úplnost. Další práce se může a má ubírat dvojím směrem. Za prvé, je nutno zorganisovat detailní probádání všech nadhozených důležitých problémů, za druhé — a to nám zůstal Kovács dlužen více než faktografii — udělat kroky k synthese česko-maďarských historických styků, nebát se poukázat na *nesporné a hluboké analogie v českých a maďarských dějinách.* Jen tak dostává smysl zdánlivě nahodilá snůška faktů, jen tak si plně uvědomíme, co to znamená, že naše národy po tolika staletích nyní po prvé žijí vedle sebe v nerušeném přátelství.

Petr Rákos

ZPRÁVY

W. K. Matthews, **Languages of the U. S. S. R., Cambridge 1951.**

W. K. Matthews byl profesorem angličtiny na universitě v Rize do r. 1940, nyní je profesorem ruštiny na universitě londýnské. Měl tedy příležitost seznámit se přímo s některými jazyky Sovětského svazu a theoreticky poznat i ostatní.

Úkolem jeho knížky je napsat přehled jazyků Sovětského svazu a povědět o každém něco zajímavého. To se mu jistě podařilo. Skutečně autor zná prakticky celou řadu jazyků a dovedl povědět leccos i o těch, které nezná.

Ale — tady začínají naše námitky — autor nemá pražádného vztahu k současnému stavu věcí v SSSR. Jeho politické názory občas problesknou — mluví na př. o „annexi" baltských států. S tím souvisí i jeho chápání jazykové politiky. Základem dnešní jazykové politiky SSSR je podle autora „usmíření" (appeasing, str. 120) národních menšin tím, že se pěstují národní jazyky. Ruština však prý se přece neustále rozšiřuje, protože příslušníci malých národů v pocitu méněcennosti (sense of inferiority) užívají rádi „lingua franca", který prý je ruština. Je jasné, že autor není seznámen a že vůbec nepovažuje za svou povinnost se seznámit s literaturou, která by mu vysvětlila základy jazykové politiky Sovětského svazu. Neví, jak tíživé problémy tu byly geniálně rozřešeny, nejvýše tu vidí takové věci, jako „srážku mezi tatarským nacionalismem a ruským komunismem" (str. 80).

Tyto autorovy názory nejsou v knize podrobněji vyloženy. Ale jeví se v celkovém zpracování, dokonce již ve výběru materiálu, kde je vynechána s ostatními jazyky, většinou cizími, i moldavština, označená prostě za rumunský dialekt. Jeví se i v uspořádání látky: Počíná se drobnými jazyky paleoasijskými, přechází se k významnějším jazykům uralským, altajským, kavkazským a končí nejvýznamnějšími jazyky, indoevropskými, čímž se zájem čtenářův přesunuje na zajímavosti jazyků paleoasijských. Konečně samo zpracování látky je „apolitické". Mluví se o nejstarších dokladech jednotlivých jazyků, o počtu jejich příslušníků, o genetické souvislosti s jinými jazyky, a pak se popíše jazyk podle význačných vlastností hláskosloví, gramatiky, slovníku.

Po stránce informativní má knížka svůj význam, a nedopatření, chyby nebo věci budící nesouhlas jsou v tomto popisném materiálu jen zřídka — na př. na str. 126 se počet Kazachů udává na 39 milionů, na str. 20 a 122 se uralské jazyky dělí na finské, ugrijské a samojedské, ač běžné je dělení na ugrofinské a samojedské, na str. 117 se říká o ruštině, že je konstruktivně flexivní jazyk ve srovnání s angličtinou, franštinou, ba i němčinou. Autor zná a uvádí početnou literaturu a může tak uvést mnoho faktů.

Může tedy kniha povědět něco o hláskosloví, o gramatice, o pravopise, o genetických souvislostech — ale ve věci jazykové politiky a skutečného vztahu jazyků a národů v SSSR projevuje — nejmírněji řečeno — naprostou neinformovanost.

Vladimír Skalička

Български език. Орган на Института за български език при Българската Академия на науките. Год I., София 1951.

R. 1951 začala Bulharská akademie věd vydávat tento časopis s podtitulem „trimesečno naučnopopuljarno spisanie“; vyšla nejprve dvě dvojčísla o 264 stranách dohromady. Členy redakce jsou vedle akademika St. Romanského profesoři sofijské university L. Andrejčin (jako odpovědný redaktor), Vladimir Georgiev, Iv. Lekov, K. Mirčev a St. Stojkov. (Adresa redakce je: Sofija, bul. Ruski 21 a administrace: Sofija, ul. Serdika 4.)

V čele prvního dvojčísla je programové prohlášení redakce, že se kolektivním úsilím ve smyslu učení Stalinova bude snažit o sjednocení a ustálení spisovné bulharštiny po všech stránkách. To je právě účelem Ústavu bulharského jazyka při Akademii, o kterém zde referuje jeho předseda St. Romanski, že vznikl r. 1947 rozšířením slovníkové komise „Služba za bălgarski rečnik“, založené již r. 1942. Od r. 1950 jmenovaný Institut pracuje hlavně na těchto úkolech: 1. na revisi pravopisné reformy z r. 1945; 2. na slovníku spisovné bulharštiny; 3. na speciálním slovníku Chr. Boteva; 4. na dvoujazyčných příručních slovnících: bulharsko-českém, bulharsko-maďarském, turecko-bulharském, rusko-bulharském a později bude se pracovat též na slovníku bulharsko-ruském.

Jinak je skoro celý objemný dvojsešit vyplněn referáty, pronesenými na vědecké konferenci o bulharském pravopise, která se konala na půdě Akademie 20.—22. června 1951. Z nich zasluhují pozornosti i našich bohemistů všeobecný úvod i doslov akademika T. Pavlova, zásadní projevy bulgaristy L. Andrejčina a ministra Dr K. Dramalieva, jakož i výklad St. Ilčeva o psaní cizích slov. Celkem se této ankety zúčastnilo 49 mluvčích, mezi nimi (vedle filologů mladé i staré generace) též spisovatelé, učitelé, lektoři, studenti, asistenti i korektor a sazeč. Rozumí se, že byly vysloveny názory často protichůdné a návrhy též velmi radikálních změn grafiky. Proti těm hájen požadavek neodchylovat se zbytečně od současné shody s ruskou azbukou.

Také ve druhém dvojčísle se ještě dva články týkají sporných otázek bulharského pravopisu a je tu i přehled časopiseckých příspěvků o něm, vyšlých po oné konferenci. Obecného zájmu jsou tu články prof. Andrejčina o významu fonetiky a prof. Lekova o způsobech vývoje slovanských jazyků, aplikující názory sovětského jazykozpytce G. Sanžejeva. Úvaha prof. K. Mirčeva volá po brzkém pořízení atlasu bulharských nářečí a příspěvek Makedonce Kosty Cărnušanova *Izopacenijat makedonski ezik na skopskite Titovci* odmítá nynější útvar spisovné makedonštiny pro jeho posrbštění (pravopisné i slovníkové) a pro zbytečné oddálení od bulharštiny i od makedonských nářečí.

Druhou polovinu tohoto dvojčísla vyplňují jednak recense a zprávy, jednak výklady o jednotlivostech bulharského jazyka, a to i odpovědi na otázky, týkající se správnosti orthoepické i morfologické, tedy věci jazykové kultury, kterým slouží i poradna („služba za ezikova i pravopisna konsultacija“) v Institutu bulharského jazyka při BAN. Na konci nalézáme bibliografii jazykovědných prací, uveřejněných v bulharském tisku od 1. ledna do 30. září 1951.

Jak patrno, převzal recensovaný orgán Institutu vlastně celý jazykovědný program dosavadního časopisu Ezik i literatura, o kterém jsme referovali ve Slavii. V květnu r. 1952 byl dokončen jeho VII. ročník za redakce zčásti totožného složení (odpov. redaktorem byl doc. S. Rusakiev). Poslední čísla jsou již obsahu převážně literárněvědného a kritického, na který se nyní patrně tento časopis specialisuje.

Antonín Frinta

Sovětská literární věda o Adamu Mickiewiczovi

U příležitosti stopadesátého výročí narození A. Mickiewicze byla v SSSR vydána četná jeho díla ve statisícových nákladech, bylo započato s monumentální edicí jeho sebraných spisů v pěti svazcích pod hlavní redakcí básníka F. M. Rylského, mezi jehož zdařilými překlady vyniká zvláště mistrovský převod *Pana Tadeáše*. Moskevský Slovanský ústav věnoval největšímu polskému básníku vědecké zasedání. S těmito skutečnostmi jsou spjaty tři nejdůležitější práce o A. Mickiewiczovi: obsáhlá předmluva M. Živova k prvnímu svazku sebraných spisů a práce S. Sovetova a Je. Goverdovské, Uč. zap. Inst. slav. AN SSSR 2 (1950). Všechny tři práce se velmi podrobně zabývají především pobytem A. Mickiewicze v Rusku, vlivem ruské demokratické kultury a Puškinova realismu na ideový i umělecký vývoj polského básníka.

Předmluva Marka Živova, *Адам Мицкевич. Вехи жизни и творчества.* Собрание сочинений, I, Moskva 1948, přesvědčivě ukazuje na lidové kořeny tvorby A. Mickiewicze a na význam jeho pobytu v Rusku. S lidovými písněmi seznámil se Mickiewicz již v dětství a ještě v Paříži znal jich celé desítky zpaměti, oceňoval je vysoce ve svých přednáškách z dějin slovanských literatur. Již v *Písni filaretů* je přímo programová zmínka o lidové poesii a balady pak čerpají přímo z thematiky lidové poesie. Vysoké ocenění polské lidové poesie vedlo pak Mickiewicze i k poesii německé a anglické, které rovněž se přikláněly k thematice lidových bájí. I v *Grażyně* snaží se básník v posledních verších spojit svůj příběh s lidovými pověstmi. *Dziady* pak svým líčením starých lidových obřadů čerpají plně ze zdroje lidového života, lidové poesie. — Hluboký význam pro politický i umělecký vývoj A. Mickiewicze má jeho pobyt v Rusku. Již na Mickiewiczovy balady působil Žukovskij, jehož vliv byl zamlčován a jednostranně zdůrazňovány vlivy západní. V Rusku se Mickiewicz seznámil s Puškinem, Gribojedovem, Žukovským, Krylovem a j. Vřele se spřátelil s děkabristy Rylejevem a Bestuževem, k nimž ho vedly především politické sympatie. Mickiewicz byl obklopen láskou a úctou ruské společnosti; s pomocí ruské literární kritiky ostře kontrastovaly nenávistné útoky polských pseudoklasiků. *Krymské sonety* byly již za tři měsíce po svém vydání přeloženy do ruštiny, s podporou ruských přátel vyšel i *Konrád Wallenrod,* v němž úloha lidové poesie sílí, stává se revoluční výzvou a důraznou připomínkou národní povinnosti. Úvodní část Konráda Wallenroda přeložil největší Mickiewiczův přítel A. Puškin, na nějž Mickiewicz vzpomíná v básni *Pomník Petra Velikého,* věnuje jeho památce vřelý nekrolog a v dopise knížeti Vjazemskému z r. 1839 nazývá ho „milým nepřítelem". Puškinova báseň *Pomlouvačům Ruska* pak nebyla namířena proti Mickiewiczovi, ale především proti francouzskému parlamentu. Téměř pětiletý pobyt A. Mickiewicze v Rusku seznámil ho s pokrokovou ruskou společností a kulturou a značně přispěl k jeho vývoji k realismu, jak se plně projevil v *Panu Tadeáši.* I v Paříži stýkal se A. Mickiewicz s ruskými spisovateli; setkal se s Gogolem, který byl nadšen jeho Panem Tadeášem; Gercen obdivoval jeho přednášky o slovanských literaturách. Četné zmínky o Mickiewiczovi najdeme ve statích Belinského, Černyševského i Dobroljubova; Černyševskij četl Pana Tadeáše v originále a recitoval zpaměti obsáhlé pasáže. To vše svědčí o velké oblibě A. Mickiewicze v Rusku; tyto tradice dnes SSSR rozvíjí. Živov podává ve své studii celkový obraz života i díla A. Mickiewicze, nejpodrobněji propracovává právě tyto problémy.

Práce S. Sovetova *Творческий путь Адама Мицкевича.* Ученые записки Института славяноведения АН СССР 2 (1950) 119—137, podává synthetický, vědecky široce založený pohled na život a dílo největšího polského básníka. Autor dělí Mickiewiczovu tvorbu do čtyř hlavních období. — 1. V prvním období vilenskokovenském (do

konce října 1824) vytváří Mickiewicz po lyrice filaretské a baladách, pevně spjatých s lidovou tvorbou, zárodky nové lyricko-dramatické básně *(Dziady II, IV)* a epické básně s národně historickou thematikou *(Grażyna)*. Sovetov vykládá, jak v mohutném boji klasicistů a romantiků, jehož základ byl třídní, vítězí Mickiewiczova poesie svým ideovým, thematickým i formálním novátorstvím. Poesie A. Mickiewicze utváří se v té době pod vlivem lidové poesie, národní tradice polské poesie od J. Kochanowského k S. Trembeckému a pod silným ideovým vlivem demokrata J. Lelewela. Autor zdůrazňuje i bojovný charakter Mickiewiczova jazyka, jejž básník zdemokratisoval četnými prvky lidové mluvy. 2. V druhém období (listopad 1824 až listopad 1832), jehož podstatnou část tvoří pobyt v Rusku, ukazuje Sovetov Mickiewiczův vývoj pod blahodárným působením ruské literatury, především realismu Puškinova. Z Ruska si Mickiewicz také přivezl heslo „Za vaši i naši svobodu", které se stalo hlavní ideou *III. části Dziadů*. Po *Krymských sonetech*, které nejsou pouze obrazem nádherné jihoruské přírody, ale v prvé řadě hluboce uměleckým výrazem myšlenek básníka-vyhnance, rozvíjí A. Mickiewicz v *Konrádu Wallenrodovi* nový žánr epické básně a vrcholí lyrickodramatickou báseň Dziady III příklonem k realismu. Velké národně osvobozenecké a demokratické ideje, které básník musil v Konrádu Wallenrodovi zamaskovat vnější formou byronského eposu, docházejí plného vyjádření v drážďanských Dziadech. V Dziadech se také prakticky projevují nové estetické názory A. Mickiewicze, které se formovaly pod ruskými vlivy, v silných prvcích realismu. Velká cena Dziadů III neleží v jejich částech mystických, ale v realistickém vylíčení carského despotismu a byrokracie a v boji proti nim. Již Belinskij a Gercen si vysoce vážili Dziadů a zdůrazňovali, že jsou namířeny proti carismu a ne proti ruskému lidu. — 3. Třetí období básníkovy tvorby od prosince 1832 do února 1834 je vrcholem Mickiewiczova básnického tvoření; básník utváří nový žánr — národní epopej *Pana Tadeáše*. Je to široký obraz společnosti, obraz boje starého šlechtického sarmatismu (feudalismu) s novými buržoasně demokratickými názory. Ukazuje nejen starý svět, ale i zárodky nového Polska. Vždyť A. Mickiewicz chtěl v pokračování své epopeje vylíčit syna pana Tadeáše jako účastníka listopadového povstání. — 4. Čtvrté období života A. Mickiewicze od března 1834 do konce života je poznamenáno částečnou odtržeností básníkovou, způsobenou dlouhým pobytem v emigraci. Přesto největší básník zůstal vždy věren ideám demokratismu, humanismu a sbratření národů. Poslední dvě období Mickiewiczova života a díla líčí autor již velmi stručně.

Proto vhodně doplňuje jeho synthesu podrobný rozbor Je. A. Goverdovské *Реализм поэмы Мицкевича «Пан Тадеуш»*, který navazuje na článek Sovetova v Učených zápiscích II, str. 138—152. Autorka stručně načrtává počáteční umělecký vývoj A. Mickiewicze a jeho přechod od romantismu k realismu vysvětluje aktivním poměrem básníka k společenskému životu jeho doby. Tento aktivní poměr k sociálním problémům současnosti vnesl prvky realismu i do jeho prací romantických; básník-bojovník dovedl i historická themata spojit se současností. Pobyt v Rusku a zvláště přátelství s Puškinem bylo pro Mickiewicze „školou realismu". O Mickiewiczově poměru k realismu svědčí jeho nekrolog o Puškinovi; Mickiewicz vysoce cení *Mazepu* a *Cikány*, jak „hluboce jsou spojeny se skutečností" a jejich styl je zbaven veškeré „romantické afektace". Z těchto důvodů potom nejvýše staví *Evžena Oněgina*. Podobně jako Sovetov zdůrazňuje autorka vliv J. Lelewela na tvorbu A. Mickiewicze; hluboký demokratismus Lelewelův zdůrazňoval i Marx a Engels.

Potom již Goverdovskaja přechází přímo k rozboru *Pana Tadeáše*. Realismus tohoto díla je dán 1. „všeobecným charakterem thematiky a ideového obsahu, charakterem sujetu, obrazů a prostředků uměleckého zobrazení" (str. 141), 2. způsobem použití histo-

ricky dobového materiálu (Mickiewicz ukazuje naděje hrdinů spjaté s r. 1812 a podtrhuje národní svébytnost kultury a tradic života Litvy a Polska), 3. častým přímým líčením činů jednajících osob, hlavně Robaka, čímž je nejlépe dosaženo realistického zachycení hrdinů. — Láska k vlasti je hlavním thematem i ideovým obsahem básně. Tato láska je prosta jakéhokoli nacionalismu, jak to krásně dokazuje obraz Žida Jankiela a ruského důstojníka Rykova. Láska k vlasti obsahuje v sobě samozřejmě i lásku k přírodě vlasti, s níž četné jednající osoby (Zoša) mají velmi důvěrné spojení. Láska k vlasti a její kultuře přináší odmítavé stanovisko ke všemu povrchnímu kosmopolitickému nánosu; odtud pramení komické rysy Hraběte a Telimeny.

Sujet Pana Tadeáše je také plně realistický. M. Gor'kij charakterisoval sujet jako vzájemné vztahy lidí, sympatie a antipatie, vývoj jejich charakterů. Místo a čas děje Pana Tadeáše jsou přesně určeny, jsou spojeny s historickými událostmi. Také podtitul „poslední nájezd" říká, že jde o starý obyčej odcházejícího feudálního Polska. Středem autorova zájmu je celá šlechta, sociálně diferencovaná do tří vrstev: magnáti (Stolník, Hrabě, střední šlechta (Sudí, Tadeáš), drobná šlechta (dobrzyňský zaścianek). Mickiewicz správně zachycuje typické sociální vztahy; ukazuje na příkladě Stolníka a Jacka Soplici, jak magnáti využívají ostatní šlechty pro své třídní zájmy, reálně líčí a sociálně motivuje spor Sopliců a Horešků, v osobě klíčníka Gerwazyho líčí typ chudého šlechtice, který plně srostl s dvorem svého pána. Jméno Pana Tadeáše v titulu není v rozporu s tím, že ústředním hrdinou básně je celá šlechta; je tím pouze podtržen jeho ideový význam. — „Důležitým rysem realismu díla je životnost, historická pravdivost, typičnost jeho osob" (str. 146). Typičnosti postav v Panu Tadeáši je dosaženo 1. vystižením jejich sociální diferencovanosti, 2. historicky pravdivým zachycením rysů šlechtické republiky vcelku (Mieckiewicz kriticky líčí nečinnost a svárlivost šlechty, její nezájem o osud sedláka), 3. svěžestí, životností a pravdivostí obrazů, mistrovstvím přesné charakteristiky, 4. konečně tím, že v líčení osob je Mickiewicz dalek všeho nejasného a abstraktního, líčí je na širokém pozadí společnosti i přírody, využívá folkloru. Stopy romantismu jsou v obrazu Jacka Soplici, ale přesto se tento hrdina značně odlišuje od svých romantických předchůdců tím, že je včleněn do určitého sociálního prostředí. — Jistým nedostatkem je určitá idealisace poměru šlechty a rolnictva. Autor neukázal jasně hluboké sociální protiklady mezi těmito třídami. Mickiewicz ví, že sedlák k úplné svobodě musí být vlastníkem půdy, na níž pracuje, ale to ustupuje do pozadí v době národně osvobozeneckého boje. Jako celá šlechtická demokracie té doby staví Mickiewicz na prvé místo všeobecnou ideu národního boje, buduje na jednotné frontě tohoto osvobozeneckého boje a nevidí hluboké protiklady mezi zájmy rolnictva a šlechty.

V závěru svého rozboru obrací Goverdovskaja pozornost k osobitostem Mickiewiczova realistického způsobu vyjadřování. V prvé řadě je to *epičnost*, šířka zachycení skutečnosti se všemi způsoby formálními, jako jsou ustálená epitheta, opakování stejných obrazů při opakujících se příležitostech atd. Potom je to *spojení humoru s lyrismem*, skvělé umělecké využití komična i zachycení lyrické přírodní nálady. Žert proniká i do oblasti vážného; líčení boje šlechty s policejním oddílem místy paroduje Iliadu. — „Bohatý, ohebný, citově zbarvený, obrazný jazyk" dovršuje pak uměleckou cenu básně, která je prvním velkým realistickým plodem polské literatury.

Sovětské práce, věnované životu a dílu A. Mickiewicze, učí správně ideově hodnotit odkaz klasiků, učí věnovat pozornost i novátorství formy a jazyka. Zvláště práce Je. A. Goverdovské ukazuje logický postup při rozboru uměleckého díla, který u nás je dosud stále zanedbáván.

Otakar Bartoš

Adam Mickiewicz a Ukrajinci

V souvislosti s překlady Mickiewiczova díla do ruštiny u příležitosti 150. výročí narození tohoto velkého polského básníka vyšla na začátku tohoto roku ukrajinská studie od H. D. Vervese pod názvem Адам Міцкевич і українська література, ДВУ 1952, o jejímž obsahu se dovídáme zatím jen ze dvou recensí. Širší recensi napsal Olexandr Mazurkevyč do časopisu Dnipro (1952) 7 a menší pochází od Stepana Trofymčuka; vyšla pod názvem *Knyha pro velykoho pol's'koho poeta* v časopise Literaturna hazeta (1952), No. 25.

Oba autoři kladně hodnotí Vervesovu práci, jež nejen shrnuje ohlasy Mickiewiczovy musy v ukrajinské literatuře XIX. a XX. st., nýbrž také vysvětluje v duchu marxisticko-leninské literární vědy otázky, které skreslovali buržoasní polští a ukrajinští literární vědci.

Verves na základě nových archivních materiálů vysvětluje Mickieviczovy vztahy k ruskému revolučně osvobozovacímu hnutí, v první řadě k děkabristům. Rozhodující vliv na utváření politických a estetických názorů velkého polského básníka měl, jak ukazuje Verves, jeho pobyt v Rusku a jeho přátelství s Puškinem.

Mickiewicz poznal také Ukrajinu, o které pravil, že je místem schůzek básníků. Na Ukrajině Mickiewicz poznal lid a jeho tvorbu a několikrát se obracel k ukrajinským lidovým písním v pozdější době. Ukrajinští básníci seznamovali se s dílem Mickieviczovým již od 20. let a v 30. letech setkáváme se již s ukrajinskými překladly některých Mickiewiczových básní. Tyto překlady razily nové cesty pro ukrajinské básnictví po stránce formální a po stránce básnického jazyka.

Osou Vervesovy studie je poměr Ševčenka k Mickiewiczovi. Touto otázkou se již zabývali buržoasní literární badatelé jako Josef Tretiak v Krakově a Olexandr Kolessa ve Lvově, avšak v duchu staré komparatistiky. Verves naopak snaží se vystihnout svébytnost obou velkých básníků a také společné rysy jejich tvorby. To, že jsou básně obou autorů sobě blízké po stránce obsahové, pramení ze společného boje polského a ukrajinského národa proti sociálnímu a národnostnímu útisku. A to, v čem se oba básníci liší, vysvětluje se časovým odstupem, různými podmínkami, ve kterých pracovali. Mickiewicz se přibližoval k děkabristům, kdežto Ševčenko byl již revolučním demokratem, spolubojovníkem ruských ideologů rolnické revoluce Černyševského a Dobroljubova.

Verves se věnoval také zkoumání poměru Ivana Franka k Mickiewiczovi. Ivan Franko již od svého mládí byl překladatelem Mickiewiczových básní a hodnotil Mickiewicze jako největšího polského básníka. Neporozuměl však dobře ideji Mickiewiczova *Konrada Wallenroda*. Uprostřed ostrých politických bojů proti polské šlechtě napsal Franko na stránkách pokrokového vídeňského časopisu Die Zeit r. 1896 článek *Der Dichter des Verrates*, ve kterém pravil, že Mickiewicz považoval zradu za čestnou zbraň v boji proti nepříteli. Tento článek měl ovšem pro Franka neblahé důsledky. Část polské pokrokové mládeže souhlasila s Frankem, ale jen potud, pokud šlo o politický pamflet, kterým Franko bil polskou šlechtu, a její věrolomnost v politice stejně vůči ukrajinskému jako též vůči polskému pracujícímu lidu. Ozval se také český Čas, který psal, že Franko uškodil sobě jako kritikovi, ale jako politik myslil to správně, poněvadž chtěl ranit nepřítele do samého srdce.

Verves vysvětluje Frankův čin velkou láskou ukrajinského básníka k polskému a ukrajinskému lidu a tím, že použil případu Konrada Wallenroda jako ostrého politického pamfletu, poněvadž neměl jiné východisko.

Oba recensenti měli i kritické připomínky k Vervesově studii. S. Trofymčuk

chtěl by nejen výčet překladatelů Mickiewiczových básní do ukrajinského jazyka, nýbrž také hodnocení jejich překladů, poněvadž Verves věnoval po této stránce pozornost jen Rylśkému. O. Mazurkevyč shoduje se v tom s Trofymčukem a dodává, že otázka významu Mickiewiczova pobytu v Rusku a jeho vliv na tvorbu básníka měly by se probírat ještě hlouběji. Mazurkevyč hodnotí kladně to, že Verves probírá tvůrčí vztahy velkého polského básníka a progresivní ukrajinské literatury v organické spojitosti s literaturou ruskou.

Ivan Paňkevič

Časopisy Sovětská věda

Československo-sovětský institut vydává řadu časopisů, které přinášejí překlady významných sovětských studií a recensí, jejichž znalost pomáhá našim vědcům v prohlubování jejich práce a ve správné orientaci. Tak sekce společenských věd vydává časopisy Sovětská věda (SV) — filosofie, SV — historie, SV — pedagogika-psychologie, SV — politická ekonomie, SV — stát a právo, SV — jazykověda; sekce umění publikuje sovětské materiály v časopisech SV — literatura, Sovětská architektura, Sovětské divadlo a Sovětský film. Všimneme si některých těchto časopisů.

SV — filosofie seznamuje s výsledky sovětské vědy poslední doby. Přináší stati známých sovětských filosofů (Alexandrova, Dudela, Kedrova, Ovčinnikova, Stepanjana a j.), kteří rozebírají zvláště otázky poměru mezi nadstavbou a základnou (366), učení o hmotě (229), o přírodních zákonitostech (38) a o vývoji společnosti. V roč. 2 (1952) jsou vybírány takové články, které mohou dobře pomoci našim vědeckým pracovníkům, studujícím uvedené problémy. Těm, kteří, nemají k disposici přímé prameny, jsou určeny překlady vybraných hesel ze *Stručného filosofického slovníku* a z *Velké sovětské encyklopedie*. Jsou to zvl. hesla *Antagonistické a neantagonistické rozpory* (228), *Antimilitarismus* (22), *Atheismus* (164), *Atomistika* (79), *Základna a nadstavba* (374), *Belinskij* (279), *Komenský* (213) a jiná kratší, uveřejňované porůznu v jednotlivých číslech. Překlady těchto hesel dobře napomáhají fixování jednotné marxistické terminologie, které je zapotřeby zvl. při překladatelské praxi. Časopis si také všímá dědictví klasiků marxismu-leninismu a přináší jejich práce v českém překladu (561 a 576). Recensenti uveřejňují referáty o knihách, zabývajících se filosofickým dědictvím ruských revolučních demokratů (56, 88, 319, 540), vývojem současné společnosti (86) a západní filosofií. V oddíle *Referáty* jsou v ročníku 2 (1952) především práce, aplikující Stalinovy práce o marxismu v jazykovědě na jednotlivé vědní obory, na př. na filosofii, ekonomii, právo (210), logiku (210), jazyk a myšlení. V *bibliografii* zabírá loňský ročník sovětské časopisy do poloviny r. 1952 včetně a také literaturu některých speciálních themat (ve 3., 4. a 5. čísle). V oddíle *Vědecký život* je paralelně zachycována sovětská a česká vědecká činnost, jsou hodnoceny diskuse a konference, jako na př. I. ideologická konference vědeckých vysokoškolských pracovníků v Brně (322), zasedání sovětských vědců k 1. výročí vydání Stalinova díla *O marxismu v jazykovědě* (99), páté výročí filosofické diskuse v SSSR se známým vystoupením Ždanovovým (549), přednášky sovětských vědců v ČSR (106, 432) a práce oddělení filosofie Československo-sovětského institutu (219).

1. číslo ročníku 3 (1953) uveřejňuje na str. 1—19 Vostrikovův článek, namířený proti marrovskému pojetí jazyka pod názvem *Klasikové marxismu-leninismu o spojitosti jazyka a myšlení* a dále m. j. podnětný překlad Kuznecovovy studie (diskusního příspěvku) *Proti zmatkům v otázce pojmu hmoty* (70—85), kde autor polemisuje s nesprávným výkladem Leninových výroků o machistickém vysvětlování „přírodovědeckého“ a „filosofického“ chápání hmoty. Proti imperialistické ideologii současné

anglo-americké filosofie jsou namířeny články Jepiskopovův *„Atomová sociologie“ — ideologická zbraň amerického imperialismu* a Pomogajevové *B. Russel — filosofující podněcovatel nové světové války* (52—63, a 64—69), kde autoři zpracovávají materiál z časopisů a studií anglických a amerických z let 1946—1950. Referáty o přednášce prof. Mjasnikova *Některé otázky estetiky socialistického realismu* (104) a o Dni sovětské vědy na Palackého universitě v Olomouci (s. 111) uzavírají 1. číslo, doplňované téměř čtyřstránkovou bibliografií za 3. čtvrtletí 1952. Redakce zůstává táž, jako ve II. ročníku (Slejška — ved. redaktor, Macháček, Machovec, Ollík, Pomazal, Prokop, Strohs, Tlustý, Tondl), jen redakčním tajemníkem se stala místo Dr Prokopa V. Machleidtová a nově byl přibrán Dr Zumr.

SV — historie obsahuje v minulém ročníku 2 (1952) obsáhlý materiál, uvádějící k nám v krátkých překladech výsledky sovětské historické vědy. Obsáhle si všímá přednášek sovětských historiků v ČSR (Treťjakova v 1. a 3. čísle, Klimova v 5. čísle), dále zahájení činnosti Čs. akademie věd (6. číslo), dějin SSSR a KSSS. V každém čísle jsou uveřejňována některá sovětská historická bohemika, značná pozornost je také věnována slovanským dějinám a archeologii (52, 67, 257, 420, 736). Bibliografie, rozdělená věcně, zahrnuje materiál z r. 1951.

1. číslo ročníku (3 (1953) je ve své úvodní části věnováno obsáhlému zhodnocení vědeckého díla Zdeňka Nejedlého (1—33); Říha, Bradáč a Kladivová všímají si zde *Moskevských statí* Nejedlého, které spolu s jeho politickou a organisační prací z let předmnichovské republiky tvoří pevný článek v řetězu česko-sovětských vztahů. Důležitou úlohu zde má také Nejedlého dvoudílná kniha o Leninovi, která byla napsána v době, kdy u nás ještě nebyl k disposici ani *Krátký kurs dějin VKSb)*, ani *Stručný životopis V. I. Lenina*. Oddíl *Články a pojednání* má Chrustovovu stať o knize Stalinově *O Velké vlastenecké válce Sovětského svazu* (33—48). Imperialismu v jeho různých obměnách jsou věnovány studie S. Grigorceviče *Z dejín americkej agresie na Ďalekom Východe* (1920—22) (49—69) dále J. N. Melnikovové *Nastolení diktatury české imperialistické buržoasie na Zakarpatské Ukrajině v letech 1919—1920* (69—94), referát o knize *Documents on British Foreign Policy 1919—1939*, III., London 1950, od sov. historika A. Nekriče (102—106) a referát o práci Herberta von Dirksena *Moskau. Tokio. London. 20 Jahre deutscher Aussenpolitik*, Stuttgart 1950, od sovětského historika L. Kutakova (106n). Kromě toho je zde umístěna obsáhlá zpráva o konferenci Historického ústavu ČSAV (133—138), která se zabývala ve dnech 19. a 20. prosince 1952 otázkou periodisace dějin ČSR a referát o konferenci mladých vědeckých kádrů na fil.-hist. fakultě Karlovy university (143—144). V letošním ročníku začíná i SV-historie uveřejňovat překlady hesel z *Velké sovětské encyklopedie*; jako první byla zařazena hesla *Malá Dohoda* (94—96) a *Edvard Beneš* (96—98).

Redakční rada se proti 2. ročníku dosti změnila. Zatím co v r. 1952 byla v čele redakce skupina O. Vávra (ved. red.), Z. Eis, F. Hejl, L. Holotík, J. Hrozienčik, B. Lehár, Fr. Macek, O. Nahodil, K. Polišenský a tajemník K. Krbec, vedou letos časopis částečně noví lidé. Za Holotíka a Macka nově vstupují do redakce Hánl, Herman, Krandžalov, Mejstřík a Oliva; jinak zůstává vedení a složení redakce stejné.

SV-pedagogika-psychologie věnovala ve své pedagogcké části ročníku 2 (1952) pozornost hlavní otázce výchovy dospívající mládeže (182, 257, 695), státních pracovních záloh (268, 399, 690) a současných pedagogických systémů. Navazuje na sovětskou pedagogiku (Makarenko, 670; Kalinin, 385) a na komunistickou metodu výchovy morálky sovětských pionýrů a komsomolců (182, 257, 385, 647), při čemž se vychází z pavlovovských výzkumů o signálních soustavách.

Pavlovovskému bádání je věnována převážně ta část časopisu, která se zabývá psychologií. Jsou zde články o zkušenostech lékařů (596), o dětské psychologii a jejích aplikacích na výchovu mládeže (187), články, zaměřené proti idealistické kosmopolitní vědě, která úzce souvisí s náboženstvím při zastírání faktů (s. 319, 513). Jako některé stati v SV-filosofii 2. roč. (o Gercenovi, o sociální podstatě umění, o děkabristech, o Černyševském a pod.), tak i jisté studie v SV-ped.psych. jsou vhodné pro literární vědce, kterým se dostalo vlastní tribuny (SV-literatura) až loni, a to ještě jen ve 4 číslech. Takovou užitečnou studií je na př. *Využití krásné literatury v hodinách psychologie* (333) a některé studie o druhé signální soustavě (43). Podrobně se věnuje pozornošt zprávám o sovětských vědeckých úspěších, zvláště v metodice vyučování (90, 372) a v dálkovém studiu (251). Také recense a zprávy mají předmětem hlavně Pavlovovy výzkumy. Velmi užitečnou prací je systematické uveřejňování *Malého slovníčku pavlovovské terminologie* (č. 5, 6), kde se kodifikuje slovník pro překladatele článků o sovětské psychologii. V 1. čísle ročníku 1952 se dokončují zbytky bibliografie pedagogické literatury za rok 1950. Pavlovovská bibliografie je tamtéž. SV — ped.-psych. má v ročníku 2 (1952) nejméně vlastních našich příspěvků (ve srovnání s uvedenými časopisy SV), z čehož je patrno, že zpřístupnění a rozšíření sovětských výsledků práce je velmi záslužné a potřebné právě v tomto oboru.

1. číslo ročníku 3 (1953) je v pedagogické části věnováno především výchově ideové v článcích učitele Dajriho *K otázce o materialistickej výchove žiakov* (8—22), dále článku Chančinové *O výchovné činnosti pionýrských organisací v souvislosti s bojem za pevné a trvalé vědomosti žáků* (23—34) a ve Ščitkově článku *Organizovanie detského kolektívu* (10—47). Autoři zdůrazňují ze své praxe (Dajri a Ščitko) důležitost výchovného zaměření ideového zvl. při protináboženské výchově a hovoří o vlivu dětského kolektivu na utvoření charakteru jednotlivce. V oddíle *Psychologie* píše A. A. Smirnov o *Stavu psychologie a jejím přebudování na základě Pavlovova učení* (48—74), kde zvláště sebekriticky hodnotí dosavadní vykonanou práci na tomto úseku. Závěrům z porady o psychologii, která se konala v Moskvě 30. VI.—5. VII. 1952, a na níž se objasnila shodná a sporná stanoviska sovětských psychologů (74—89), je věnován článek Menčinské, Šemjakina a Sokolova. Sem dobře thematicky zapadá poznámka L. V. Blagonadeždinové *K otázce přebudování psychologie na základě fysiologického učení I. P. Pavlova* (101—110). Zprávy o vědeckém životě v SSSR (111) a recense, většinou se týkající výchovy dětí v rodině, zvl. v raném věku, uzavírají 1. číslo, které je promyšleně sestaveným celkem.

Redakční rada (ved. Váňa, Tardy, Bartušková, Cipro, Hruškovic, Chmelař, Kopecký, Popelová-Otáhalová, Skalka, Uher, Lomová a red. tajemnice H. Čápová) zůstala nezměněna z minulého roku, jen Skalka byl zaměněn Mišurcovou.

SV — jazykověda v ročníku 2 (1952) má materiál rozdělený velmi přesně a nejpřehledněji ze všech uvedených časopisů SV. V oddílu *Jazykovědné studie a články* je věnována pozornost především aplikaci Stalinových statí na jednotlivé otázky jazykovědy, tak na př. studie Alexandrovova (243), Černychova (25), Mordvinovova (4), Ožegovova (497), Spirkinova (250) a Šaradzenidzeho (351), uvedeme-li jen nejvýznamnější. Důležitými a praktickými příspěvky jsou pro nás články o teorii a technice překladu (Moravec, Surkov), které výhodně dávají podklad k překladatelským diskusím u nás. Stejnou thematikou se obírají i mnohé recense a dokumenty. Otázce vyučování jazykům, zvláště cizím, s hlediska prací Stalinových a Pavlovových je věnováno více studií (104, 150, 268, 273, 277), které s linguistického stanoviska doplňují některé metodické články v SV — pedagogice-psychologii, zároveň jsou

však v tomto časopise poměrně osamocené, protože jiné časopisy SV nepřihlížejí tolik k metodickým otázkám školské výuky svého předmětu. Snahu SV — jazykovědě nutno tím důrazněji vyzdvihnout. Dokumenty se zabývají nejrůznějšími thematy, mimo jiné i slovanským jazykovým společenstvím (378), úkoly sovětské jazykovědy (373), studiemi historického vývoje jazyků (71, 363, 382) a j. Zprávy komentují československý a sovětský vědecký život, na př. lexikografickou konferenci v Bratislavě (448), výchovu jazykovědných vědeckých kádrů v SSSR (386), ideologickou konferenci v Brně a práci jazykovědného oddělení ČSI. Bibliografie, rozdělená na původní sovětskou a ohlas její ve vlastních českých vědeckých pracích a zprávách, zahrnuje první pololetí 1952. Cenným a vítaným doplňkem 1. a 2. ročníku SV — jazykovědy je jmenný a věcný rejstřík, uveřejněný v 6. čísle 1952. Vyniká také snaha thematicky usměrňovat náplň jednotlivých čísel. Překlady hesel z Velké sovětské encyklopedie nejsou uveřejňovány.

V 1. čísle roč. 3 (1953) jsou uvedeny základní projevy, pronesené na 1. celostátní konferenci o významu ruského jazyka 22.—23. XI. 1952 v Praze. Významný je zvláště publikace překladu stenografického záznamu V i n o g r a d o v o v a projevu, v němž si všímá otázek stylových, historických, a pedagogických, které se naskýtají při studiu ruštiny (17—24); ideologickým významem práce ruštináře-pedagoga a vědce rusisty se zabývali ministr Rais (5—13), rektor MU akad. Trávníček (13—17) a akademik Zd. Nejedlý v závěrečném projevu, kde zvláště zdůraznil blízký poměr Čechů k Rusům, který se utvářel v dějinném vývoji zcela zřetelně. Konkretní zhodnocení diskuse v sekcích, přednesené akademikem Havránkem, vytyčuje další úkoly při výuce ruštiny, zvláště v Lidových kursech ruštiny. Podobně je zaměřena i dokumentace v článku Š k i c k é h o *Výchova zájmu o studium ruského jazyka* (41). Většina čísla je pak věnována překladatelské teorii a praxi (F j o d o r o v, *Základní otázky theorie překladu*, 45; *K novému vydání románu Daleko od Moskvy; Školení překladatelů na Dobříši* 63; *K termínům „plnohodnotnost“ a „plnohodnotný“*, 65) a lexikografii (Š č e r b a, *Výtah z předmluvy k vydání rusko-franc. slovníku*, 41; T y l, *Slovník jazyka Puškinova*, 80; H o r á l e k, *Poučení ze sovětské lexikografie* — k novým vydáním T r á v n í č k o v a a O ž e g o v o v a slovníku, 81). Z článků je patrno, jakou důležitost mají pro nás sovětské studie o překládání, kde se zdůrazňuje ideově správný výklad překládaného díla, správný výběr jazykových prostředků, pravdivost překladu a tlumočení systému stylistických zvláštností (F. Fedorov). Zprávy o životě čsl. linguistů a pozdrav k šedesátinám akademika H a v r á n k a uzavírají 1. číslo. Red. rada (K. Horálek — vedoucí, J. Bauer, J. Trost, Š. Peciar, V. Sgall, M. Vágner) byla v roce 1953 rozšířena o další spolupracovníky Jar. Morávce, Večerku a Poráka.

SV — literatura se ve svém ročníku 1 (1952) věnuje především problémům nadstavbovosti literatury (4, 16, 40, 136 a j.), socialistického realismu (4, 16, 162, 240), národnosti a lidovosti literatury (24, 118, 225, 388) a uměleckého mistrovství (192, 195, 198, 288) ve stejnojmenném oddílu. Západoevropskou a sovětskou literaturu v boji za mír vystihují tři stati v 1. čísle. Jména obecně známých sovětských literárních vědců (Blagoj, Demenťjev, Jegolin, Jermilov, Nikoľskij, Tarasenkov a j.) zaručují sama důsažnost překládaných studií. Pomáhají také významně naší literární vědě, která, jsouc dostatečně fundována pracemi našich literárních vědců let nedávných i současných, obohacuje svůj obzor a osvětluje takto blíže některá nová hlediska. To se týká hlavně sovětských bohemik, kterým by se u nás měla věnovat větší pozornost, hlavně v recensích. Sovětská bohemika jsou, jak jsme již uvedli, uveřejňována hlavně v časopise SV — historie (na př. i N i k o ľ s k é h o studie *Dva romány o českém dělnickém hnutí* je otištěna v SV-historii 2, 1952, č. 5, 644 n.). Dobrou pomůckou v SV-literatuře jsou také přeložené *Dokumenty*,

uveřejňované v jednotlivých číslech a přinášející materiály, svědčící o hluboké pozornosti KSSS k práci spisovatelů. Recense sovětských novinek (oddíl *Recense*, umístěný v každém čísle) publikuje na př. i posudky učebnic; jako v jiných časopisech SV i zde se tedy projevuje snaha pomoci vyučujícímu, zatím jenom upozorněním a sporadickým rozborem novinek. Důležitá je též studie Dolanského *Zdeněk Nejedlý a ruská literautra* (89). Zprávy o západní kapitalistické literatuře charakterisují její nynější hlavní rysy — boj proti lidové nespokojenosti a proti mírovému hnutí.

První číslo roč. 2 (1953) má úvodem — jako jediný z letošních právě popsaných časopisů — redakční plán na letošní ročník. Číslo je uvedeno obsáhlým článkem Dolanského *Zdeněk Nejedlý, průkopník nové literární vědy a kritiky u nás* (3), kde je osvětlena činnost Zd. Nejedlého při spolupráci na budování pokrokové české vědecké tradice. Dolanský sleduje Nejedlého vztah k literární vědě, jeho přínos k dějinám literatury, boj o novou kritiku, která by pomáhala autorovi, boj o realismus a o Jiráska, prostě celý myšlenkový vývojový proud, jehož je Zdeněk Nejedlý významným činitelem. Záměrnou paralelu k tomuto článku tvoří překlad úvodníku časopisu Kommunist *Naléhavé úkoly sovětské literatury* a Golovčenkova studie *V. I. Lenin a otázky literárního dědictví* (29 a 39). Úvodník bojuje proti opožďování literatury za životem, proti malému používání kritiky a sebekritiky sovětskými spisovateli a uvádí příklady ze sovětských klasiků. Dědictvím klasické ruské literatury se pak zabývá Golovčenko, uváděje celkem známý materiál o Leninově vztahu k dílu L. N. Tolstého. Článek Rjurikovův *Staré chyby v nové podobě* (49) se zabývá vystoupením G. Tichomirova proti tomu, že sovětská literární věda prý odmítá evropské vlivy ve vývoji ruské literatury, což se podle Rjurikova nezakládá na pravdě. Podle něho je vliv „spojení daného spisovatele s kulturní zkušeností minulosti, využití kulturního dědictví Ruska a Západu..." (53). Uměleckým mistrovstvím se zabývá článek Jefimovův *O některých zvláštnostech jazyka uměleckých děl* (64), rozebírající jistá frazeologická spojení a užívání sociálních žargonů v díle Saltykova-Ščedrina a uvádějící Gor'kého hodnocení jazyka začínajících spisovatelů. M. I. Fetiscv ve studii *Problémy literární vědy ve světle prací J. V. Stalina o jazykovědě* (89) podává recensní přehled článků z poslední doby o tomto thematu. Mnohé z nich byly přeloženy v min. roč. SV — literatury. Číslo je uzavřeno zprávami o pokrocích literární vědy v zemích lidové demokracie (Polsko, Bulharsko, Čína) a diskusním terminologickým koutkem. Redakční rada (prof. Dr Julius Dolanský — ved. red., Dr Radko Parolek, Dr Vladimír Brett, Dr Miroslav Drozda, Dr Mojmír Grygar, Dr Jaromír Lang, J. Kopaničák, Dr Zdeněk Urban a externí spolupracovníci prof. Dr Mik. Bakoš, M. Filip, doc. Dr Charvát, J. Kadlec, Dr Karol Rosenbaum a tajemník Dr Šetka) je proti loňskému ročníku rozšířena právě jen o doc. Dr Charváta.

Bohuslav Beneš

Celostátní konference o srovnávací slovanské jazykovědě v Olomouci.[1])

Ve dnech 5.—7. března 1953 uspořádal Slovanský ústav Československé akademie věd na filosofické fakultě Palackého university v Olomouci celostátní konferenci o srovnávací slovanské jazykovědě. Byla to již druhá naše slavistická konference (první byla uspořádána v Brně v listopadu 1951 — v. o ní zde roč. XXI, 105—108[2]) — a kromě ní

[1]) Všechny referáty přednesené na konferenci a diskusní příspěvky budou souhrnně otištěny v Slavii 22 (1953), seš. 2—3, proto zde přinášíme jen stručnou zprávu.

[2]) Srov. též Sovětská věda - jazykověda 2 (1952) 74—80.

se konala ještě speciální celostátní konference lexikografická, připravená akademickými ústavy, Ústavem pro jazyk český, Ústavem pro jazyk slovenský, Slovanským ústavem a jazykovědným oddělením Československo-sovětského institutu.[3])

Československá slavistika tedy po sovětské jazykovědné diskusi a geniálních pracích Stalinových o jazykovědě pohotově přikročila k pořádání konferencí, na nichž řeší své odborné problémy, zvláště ty, které jsou jejím nejnaléhavějším úkolem, aby si ujasnila a konkretně plánovala svou další práci. Každá konference je zároveň kritickým zhodnocením vykonané práce a splnění uložených úkolů. Přes poměrně krátkou dobu, která uplynula od uspořádání první konference v Brně, nabyly tyto slavistické konference již svou dobrou tradici i značný vědecký význam, neboť jsou to vlastně domácí vědecké kongresy, pořádané ovšem v menším měřítku, než bývaly kongresy mezinárodní.

Olomoucká celostátní konference o srovnávací slovanské jazykovědě měla kromě toho ještě význam mimořádný, a to z několika příčin. Konala se v jubilejním roce narozenin zakladatele slavistiky Josefa Dobrovského, v městě, v němž Dobrovský sám na čas působil a kde napsal některé své význačné práce. Slavnostní ráz měla konference dále proto, že se jí zúčastnil po celou dobu jejího trvání sovětský host, děkan Gercenova pedagogického institutu v Leningradě, prof. A. G. Rudnev, teoretik a vynikající znalec ruského jazyka. Konečně je to sama vědecká thematika, představující jádro všeho bádání v oboru současné slovanské srovnávací jazykovědy, která dodala konferenci zvláštního vědeckého významu.

Již v první den konference došly smutné zprávy o těžkém onemocnění generalissima J. V. Stalina a potom zprávy o jeho smrti. Konference proto probíhala neustále pod dojmem těchto smutných zpráv, které se jí dotýkaly tím citelněji, že právě J. V. Stalin svými zásadními statěmi o marxismu v jazykovědě ukončil nevědeckou éru marrismu a nastolil nové cesty jazykovědnému bádání, které znamenají také renesanci srovnávací jazykovědy slovanské. Po dojití zprávy o úmrtí J. V. Stalina konference uctila jeho památku v závěrečný den a odeslala soustrastný telegram sovětskému velvyslanectví v Praze.

Konferenci, na niž se sjeli skoro všichni představitelé slovanské srovnávací jazykovědy a oborů příbuzných z Prahy, Bratislavy, Brna a Olomouce, zahájil olomoucký bohemista prof. dr J. Bělič. Za universitu pozdravila hosty rektorka Palackého university v Olomouci, prof. dr J. Otáhalová-Popelová, za sovětskou jazykovědu pozdravil konferenci prof. A. G. Rudnev.

V čele pořadu konference byla slavnostní přednáška akademika Františka Trávníčka o zakladateli slavistiky Jos. Dobrovském, jehož dvousté výročí narozenin si letos připomínáme. V přednášce akademik Trávníček ukázal, proč se současná slavistika hlásí k velkému kulturnímu odkazu a slavistické práci Josefa Dobrovského.

Vlastní pracovní program konference zahájil hlavní představitel naší srovnávací slovanské jazykovědy, akademik Bohuslav Havránek. Podal nejdříve podrobnou zprávu a zhodnocení toho, co bylo v naší slovanské jazykovědě vykonáno od konference první a do jaké míry byly splněny jednotlivé konkretní úkoly, které byly naší slavistické vědě na této první konferenci uloženy. Z devíti hlavních úkolů, které byly naší slavistice uloženy na brněnské konferenci,[4]) byly některé splněny velmi uspokojivě (srovnávací studium staroslověnštiny, slovanských jazyků a jejich mluvnické stavby, otázky vývoje

---

[3]) Srov. M. Helcl, *Za novými cestami československé lexikografie,* Sl. a sl. 13 (1952) 179—191; E. Jóna, *Lexikografická konferencia v Bratislave,* Sovětská věda - jazykověda 2 (1952) 448—453.

[4]) Srov. Slavia XXI (1952) 108 a Sovětská věda - jazykověda II (1952) 80.

spisovných jazyků slovanských a poměru celonárodního, národního a spisovného jazyka, úkoly plynoucí z teoretického srovnávacího studia pro jazykovědnou praxi, jakož i práce lexikografické, které byly prodiskutovány na konferenci lexikografické). Naproti tomu nebyly splněny zcela ty úkoly, kde se jeví ještě nedostatek vědeckých pracovníků (srovnávací studium indoevropských jazyků, etymologický slovník slovanských jazyků a srovnávací studium baltských a slovanských jazyků).

Pracovní program konference byl rozdělen do pěti thematických okruhů.

1. *Vývoj slovanských jazyků se zřetelem ke vzniku jazyků národních.* K tomuto thematu přednesl prof. dr J. B ě l i č základní referát *Národní jazyk, jeho pojetí a studium;* ukázal nejdříve na nutnost terminologického vymezení pojmu *národní jazyk,* dále na vývoj slovanských jazyků v jazyky národní v konkretních historických podmínkách (své these dokumentoval zvláště na vývoji jazyka slovenského, polského, ruského a ukrajinského). — Referát o konkretní a speciální otázce vývoje jazyka české a slovenské menšiny v Bulharsku přednesl doc. dr V. B l a n á r z Bratislavy; na konkretním materiálu znovu prokázal, že nejmenší odolnost v cizím jazykovém prostředí má slovník, dále hlásková stavba a v tomto případě také původní deklinace, která se dostala do styku se zvlášť odchylným deklinačním systémem. O obou referátech se rozpředla živá diskuse, do níž zasáhli věd. asp. dr J. Bauer, doc. dr Ant. Dostál, dr J. Damborský, doc dr J. Štolc, doc. dr J. Ružička, dr Št. Peciar, věd. asp. dr V. Lamprecht, dr Chloupek, dr M. Komárek, dr K. Oliva a prof. dr L. Novák.

2. Problematikou *slohu* se zabýval referát akademika Františka T r á v n í č k a, jenž ukázal jednak na metodické cesty v bádání o slohu a stav prací o těchto otázkách, jednak osvětlil některé základní otázky stylistiky. Do diskuse zasáhli dr J. V. Bečka, prof. dr Al. Jedlička, doc. dr Fr. Konečný, věd. asp. dr K. Hausenblas, osvětlující zvláště některé zásadní otázky této thematiky, a prof. dr Fr. Svěrák.

3. Třetí thematický okruh tvořilo thema *Studium gramatické stavby slovanských jazyků a jejího vývoje.* Základní referát proslovil akademik Bohuslav H a v r á n e k. Ukázal na dnešní stav bádání o těchto otázkách v slovanské jazykovědě a velký význam nových sovětských prací o otázkách gramatické stavby jazyka. V otázce metody vědecké práce v tomto úseku jazykovědného bádání naznačil obecně i na konkretních případech (na otázce kondicionálu, vývoje praeterit, souvislostí ve vývoji gramatických kategorií vidu a času a j.) cesty další jazykovědné práce. Zvláště zdůraznil také význam otázek o tvoření slov, které velmi těsně souvisí s vývojem gramatické stavby jazyka. Se zřetelem k těmto všem souvislostem bude možno dojít k hlubšímu poznání vývoje gramatické stavby slovanských jazyků a vnitřních zákonů tohoto vývoje.

Prof. dr A. V. I s a č e n k o se zabýval v svém referátu otázkou vývoje slovanské *deklinace.* Zdůraznil potřebu studia gramatických kategorií a zvláště na kategorii životnosti, na stavu této kategorie v staroslověnštině i v jiných jazycích ilustroval, jak metodicky správně postupovat.

K tomuto thematickému okruhu pronesl svůj obsáhlý referát představitel sovětské jazykovědy na konferenci, prof. A. G. R u d n e v, a to o kategorii *slovesného rodu.* Nejdříve ukázal na pojetí této kategorie u ruských a sovětských jazykovědců a podal cenné a kritické poznámky k dosavadnímu řešení této otázky. Za zvláště důležitý v kategorii slovesného rodu pokládá prof. R. G. Rudnev vztah děje k jeho východisku a objektu a jejich vzájemného působení. Kategorií slovesného rodu rozumí tedy prof. Rudnev vztah děje nebo stavu jednak ke zdroji, z něhož vychází, jednak k tomu, k čemu směřuje.

Doc. dr Ant. D o s t á l se zabýval otázkou vývoje slovanské *konjugace.* V svém referátu ukázal, že je třeba sledovat morfologické zjevy slovanského slovesa vždy s šir-

šího hlediska. Na konkretních zjevech ve vývoji slovanské konjugace poukázal na větší homogennost slovesné morfologie, na silné zdůraznění vyjádření kategorie osoby, dále na přesuny ve vývoji a produktivnosti slovotvorných slovesných typů a na proces konstituování kategorie slovesného vidu.

Dr. Št. P e c i a r se zabýval otázkou speciální, a to problémem morfologického *členění slovanského slovesa*, kde jednak přehlédl dosavadní způsoby třídění slovanských sloves, zvláště českého a slovenského, jednak probíral otázku slovesných kmenů a principů klasifikace sloves.

Do diskuse k otázkám vývoje a studia gramatické stavby slovanských jazyků zasáhli prof. dr Ľ. Novák, dr J. Bauer, prof. dr A. V. Isačenko, prof. dr I. Poldauf, doc. dr Fr. Kopečný, prof. dr E. Pauliny, dr M. Dokulil, dr J. Popela, doc. dr J. Ružička a prof. dr J. Kurz.

4. L e x i k o g r a f i c k é   p r o b l é m y byly na této konferenci zastoupeny referáty o otázkách slovníku staroslověnského jazyka a etymologického slovníku slovanských jazyků. Obě tyto lexikografické otázky byly zařazeny do thematiky této konference proto, že jednak velmi úzce souvisí s otázkami vývoje gramatické stavby slovanských jazyků, jednak na lexikografické konferenci v Bratislavě, kde šlo o problematiku jednojazyčných nebo dvoujazyčných slovníků živých slovanských jazyků, tyto úseky probírány nebyly.

Otázkou *staroslověnského slovníku* se zabýval referát prof dr Jos. K u r z e; vyložil důležitost vydání nového staroslověnského slovníku a jeho problematiku (otázka materiálu a textového vymezení, určení významu slova a postup tohoto určování významu, otázky poměru staroslověnských textů k řeckým originálům, význam textových variant a pod.), dále podal stručnou zprávu o stavu prací na chystaném slovníku i některé otázky, které se týkají úpravy hesel ve slovníku. Do diskuse k tomuto referátu přispěli dr F. V. Mareš, dr Vl. Kyas, doc. dr A. Dostál, prof. dr K. Horálek a akademik Bohuslav Havránek.

Referát o pracích a problematice *slovanského etymologického slovníku* přednesl prof. dr Václav M a c h e k, jenž ukázal na těžkosti jak zásadní, tak pracovní a nastínil, jak bude třeba postupovat, aby se etymologické bádání zbavilo těch omylů, kterých se dopouštělo v minulosti. K diskusi přispěli prof. dr K. J a n á č e k (na několika konkretních etymologiích ukázal, jak starší bádání zacházelo na scestí proto, že příliš zdůrazňovalo hláskoslovnou stránku zkoumaných slov a podceňovalo stránku významovou), dr. A. V a š e k, doc. dr Fr. K o p e č n ý, zdůrazňující podobně jako prof. dr V. Machek potřebu sepětí hláskové i významové stránky slova při řešení jeho etymologie, dále doc. dr P. T r o s t, jenž se zabýval zásadní možností stanovení sémantických vývojových zákonů. Akademik Bohuslav H a v r á n e k zdůraznil, že při etymologickém bádání je třeba pozorně sledovat *otázky tvoření slov*, čímž se lze vyhnout omylům, plynoucím z isolování jednotlivých slov, jednak etymologické bádání nabude zkloubenějšího obrazu.

5. Posledním thematickým okruhem zdůraznila konference velký *význam srovnávacího bádání o slovanských jazycích pro vyučování* jazyku mateřskému a jiným slovanským jazykům, zvláště ruštině. Základní referát pronesl prof. dr Karel H o r á l e k, jenž ukázal na složitost otázky, jak využít teoretického bádání komparatistického pro praktické vyučování a zdůraznil potřebu opření o jazyk mateřský při vyučování slovanským jazykům, jakož i potřebu paralelního postupu také v jazyce mateřském. Podrobně ukázal na otázky odlišnosti hláskové stavby a závažnost takových odchylek s hlediska významového, možnosti uplatnění historické látky při vyučování i na některé omyly, kterých se tu často praktické vyučování dopouštělo. K diskusi přispěli prof. dr A. V. Isačenko, dr Ant. Hofman, doc. dr B. Ilek, kteří přinesli cenné poznámky konkretní, dále dr M. Zatovkaňuk, věd. asp. dr L. Ďurovič, V. Girtelschmidová, věd. asp.

dr Vl. Barnet, zdůrazňující potřebu podřídit srovnávací hledisko při praktickém vyučování otázce systémovosti jazyka, prof. dr Ľ. Novák, dr K. Oliva, prof. dr Fr. Svěrák, dr. J. Vlček a dr. Sl. Utěšený.

V závěru konference zhodnotil akademik Bohuslav Havránek průběh konference a její konkretní přínosy v jednotlivých úsecích i úkoly, které naši slavistiku očekávají. Zdůraznil velký dosah zásadních statí Stalinových i sovětských jazykovědných diskusí pro další slavistickou práci naši. Dále oznámil *rozdělení dalších konkretních úkolů* (indoevropeistika, problematika národních jazyků, srovnávací studium mluvnické stavby slovanských jazyků, staroslověnský a etymologický slovník a otázky metodicko-didaktické) i jejich konkretní personální zajištění.

Na základě kritického zhodnocení vykonané práce, programových referátů a podrobných diskusí, dospěla konference ke konci svého jednání k těmto závěrům:

„1. V oblasti srovnávacího studia jazyků indoevropských se u nás nyní pracuje poměrně málo. Je proto naléhavým úkolem všech našich universit, aby věnovaly více péče tomuto studiu nezbytnému i pro slavistiku a aspoň jedna z nich aby se zaměřila zvláště též na studium vztahů mezi jazyky baltskými a slovanskými.

2. Ve studiu vzniku a vývoje slovanských jazyků národních v souvislosti s vývojem národností a národů byl sice učiněn jistý pokrok, ale v další etapě bude nutno více a hlouběji propracovat základní pojmy a dobře je aplikovat na naši jazykovou situaci. Základem práce musí být přesná znalost jazykové i historické skutečnosti, ať jde o jednotlivé jazyky a nářečí nebo o jejich vzájemné působení.

3. V oblasti srovnávacího studia mluvnické stavby slovanských jazyků se revidují základní pojmy a konference ukázala cestu, jakým způsobem by se mělo toto studium rozvíjet a historickosrovnávací metodou hledat vnitřní zákony jazykového vývoje. Oprávněný zájem o gramatickou stavbu slovanských jazyků byl dokumentován jak největším počtem referátů z tohoto úseku, tak zprávou o značném počtu nových prací dílčích. Je však třeba věnovat těmto úkolům systematickou péči další a starat se, aby výsledky byly publikovány.

4. Konference s povděkem přijala zprávu o pokročilých přípravách k vydání staroslověnského slovníku a o zahájení přípravných prací k etymologickému slovníku slovanských jazyků. Uložila zpracovat v nejbližších letech staroslověnský slovník středního rozsahu.

5. Konference stanovila naší jazykovědě jako důležitý úkol také studium slohu, které doplní a prohloubí zkoumání gramatické stavby i slovní zásoby jazyka, neboť k důkladnému poznání jazyka dospějeme teprve studiem všech jeho stránek, tedy i všech jevů stylových.

6. Konference se zabývala posléze uplatněním srovnávacího hlediska při vyučování jazyku národnímu a jazykům slovanským. Jazyk národní a ruština nebo jiný slovanský jazyk má při vyučování tvořit vyrovnaný celek. Východiskem tu musí být podrobné teoretické studium jazykových jevů na základě srovnávacím, jakož i teoretické prozkoumání metodického postupu, cílem soustavné uplatňování srovnávacího hlediska v jazykovém vyučování i v učebnicích a mluvnicích. Je proto naléhavým úkolem práce na srovnávací mluvnici ruštiny, jejíž příprava byla pojata do plánu jazykovědného oddělení Československo-sovětského institutu.

Průběh konference znovu ukázal, jakým skvělým metodologickým východiskem a oporou i v oblasti srovnávací jazykovědy jsou Stalinovy stati. Na jejich základě dosáhla naše jazykověda již prvních konkretních výsledků a její další rozvoj závisí především

na důsledném uplatnění marxistické metody. Tak splní naši jazykovědci nejlépe nesmrtelný odkaz Stalinův a jejich práce bude přínosem pro veškerou pokrokovou vědu, pracující pro blaho lidu a bojující za zachování světového míru.“

Z konference byly odeslány pozdravné telegramy presidentu Československé akademie věd, akademiku Zdeňku Nejedlému a ministru vysokých škol prof. Lad. Štollovi.

Konference byla ukončena slavnostním projevem ředitele Slovanského ústavu Československé akademie věd akademika Julia Dolanského.

Antonín Dostál

SLAVIA. Časopis pro slovanskou filologii. — Vydává Slovanský ústav Československé akademie věd v Nakladatelství ČSAV. — Tiskne Knihtisk, n. p., závod 01 v Praze. — Redakční rada: Julius Dolanský (za Slovanský ústav) — Bohuslav Havránek (pro jazykovědu) — Karel Krejčí, vedoucí redakce — Frank Wollman (pro literární vědu a obory příbuzné) — Slavomír Wollman, sekretář redakce. — Redakce: Slovanský ústav, Valentínská 1, Praha I, tel, 656-86 (617-00). Administrace: Nakladatelství Čs. akademie věd, Vodičkova 40, Praha II, — Novinové výplatné povoleno dohlédacím poštovním úřadem Praha 022 pod č. j. 313/530-Ře-53. — Ročník XXII, rok 1953, sešit 1. Rukopis tiskárně 27. II. 1953, imprimatur 20. VIII. 1953, vydáno 30. IX. 1953.
Cena tohoto sešitu Kčs 20,—, cena ročníku Kčs 80,—.
(Kalkulace ceny v nových penězích je prozatímní.)

СЛАВИЯ. Журнал по славянской филологии. — Издает Славянский институт Чехословацкой Академии Наук в Издательстве ЧСАН. — Типография: Книгтиск, н. п., завод 01 в Праге. — Редакционная коллегия: Юлиус Долански (от Славянского института) — Богуслав Гавранек (по языкознании) — Карел Крейчи, заведующий редакцией — Франк Вольман (по литературоведении и сомежным наукам) — Славомир Вольман, секретарь редакции. — Редакция: Славянский институт, Валентинска 1, Прага I. тел. 656-86 (617-00). — Администрация: Издательство Чс. Академии Наук, Водичкова 40, Прага II. — Том XXII, год 1953, выпуск 1. Сдано в набор 27. II. 1953, подписано к печати 20. VIII. 1953, издано 30. IX. 1953. — Цена этого выпуска Кчс 20,—, цена тома Кчс 80,—.

SLAVIA. Revue de philologie slave. — Publiée par l'Institut Slave de l'Academie tchécoslovaque à son Édition. — Imprimée par Knihtisk, n. p., usine 01 à Prague. — Conseil de rédaction: Julius Dolanský (pour l'Institut Slave) — Bohuslav Havránek (linguistique) — Karel Krejčí, chargé de rédaction — Frank Wollman (science littéraire et domaines contigus) — Slavomír Wollman, secrétaire de rédaction. — Rédaction: L'Institut Slave, Valentínská 1, Prague I, tél. 656-86 (617-00). — Administration: Édition de l'Académie tchécoslovaque, Vodičkova 40, Prague II. — Tome XXII, année 1953, fascicule 1. Manuscrit remis à l'imprimerie 27. 2. 1953. imprimatur 20. VIII. 1953 publié 30. IX. 1953.
Prix de ce fascicule Kčs 20,—, abonnement annuel Kčs 80,—.

TABLE DES MATIÈRES

ARTICLES:

MATÉRIAUX:

CRITIQUES ET COMPTES-RENDUS:

CHRONIQUE:

ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD

upozorňuje na časopisy:

Časopis pro moderní filologii

Časopis vychází jako publikace Kabinetu pro moderní filologii při ČSAV. Dosavadní bohemistická a slavistická část Časopisu bude sloučena s příslušnými odbornými časopisy Akademie. Časopis se tak stane tribunou pracovníků ve filologii, literární historii i kritice a jazykové metodice národů, mluvících jazyky germánskými, románskými a jazykem anglickým.

Časopis hodlá i nadále pokračovat v národních a pokrokových tradicích české vědy. V mnohém mu budou vzorem práce velkých linguistů a literárních historiků, jejichž jména se po desetiletí objevovala na stránkách dosavadních ročníků Časopisu. Zároveň však chce Časopis pro moderní filologii řešit nové úkoly. Národy, jejichž jazyky a literatury bude sledovat, obývají nesmírné oblasti zeměkoule: Severní a Jižní Ameriku, západní Evropu, Australii a v našem nejbližším sousedství i Německou demokratickou republiku a lidově demokratické státy Albanie a Rumunska, jakož i Moldavskou sovětskou socialistickou republiku. Zatím co v těchto demokratických zemích, v nichž vládne lid, bojují národy o vybudování socialistického zítřka, v zemích kapitalismu a v jejich koloniích se rozvíjí nesmírný zápas mezi silami nového života a silami ničení a smrti. Pracovníci našich oborů mnoho zanedbali při seznamování s tímto bojem v oblasti kulturní. Vědecký časopis nemůže závodit s jinými publikacemi při zachycování rychlého spádu světových událostí. Jeho úkolem je však analysovat trvalé tendence znehodnocování a zneužívání vědy a kultury v kapitalistických zemích a naopak oceňovat průkopnické a neohrožené dílo bojovníků za mír a pokrok, kteří přes všechen teror a útisk se nepodrobují imperialistickému panství. Pro naše linguisty bude podnětem a příkladem práce sovětských jazykovědců a geniální přínos jednoho z největších vědců světa — J. V. Stalina. Také důležitým otázkám metodiky jazykového vyučování a překladatelské problematiky se dostane v našem časopisu místa.

Obracíme se na naše odběratele, odborné zájemce i širší veřejnost s prosbou a výzvou, aby objednávali Časopis pro moderní filologii pro veřejné i soukromé knihovny a aby pro nás získávali další čtenáře a odběratele. Časopis pro moderní filologii vychází i nadále 4krát ročně. Cena jednoho čísla je 6 Kčs. Časopis obdržíte ve všech prodejnách anebo přímo v prodejně Nakladatelství ČSAV, Václavské nám. 34, Praha 2.

Československá ethnografie

Čtvrtletník vydávaný Kabinetem pro národopis, Kabinetem pro lidovou píseň Československé akademie věd a Kabinetem pro národopis Slovenské akademie věd. První číslo tohoto časopisu zahajuje také první ročník.

Časopis bude uveřejňovat články z oblasti theorie ethnografie a folkloristiky, české a slovenské ethnografie a folkloru, články z oblasti slovanské a cizokrajné ethnografie, stati z dějin ethnografie a folkloristiky, methodické studie, diskusní příspěvky, zprávy o výzkumných pracích, informace o ethnografické a folkloristické práci na území celého státu, kritiku a bibliografii.

Každé číslo má 96 stran textu a 12 stran příloh na křídovém papíře, z toho 4 strany barevných příloh. Cena jednoho čísla je 17 Kčs, roční předplatné 68 Kčs. Obdržíte jej ve všech prodejnách anebo přímo v prodejně Nakladatelství ČSAV, Václavské nám. 34, Praha 2.